

# СЕНЯВИН



Ю. Давыдов



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ

*Серия биографий*

ОСНОВАНА  
В 1933 ГОДУ  
М. ГОРЬКИМ

Ю. Давыдов

СЕНЯВИН

ВЫПУСК 6  
(513)

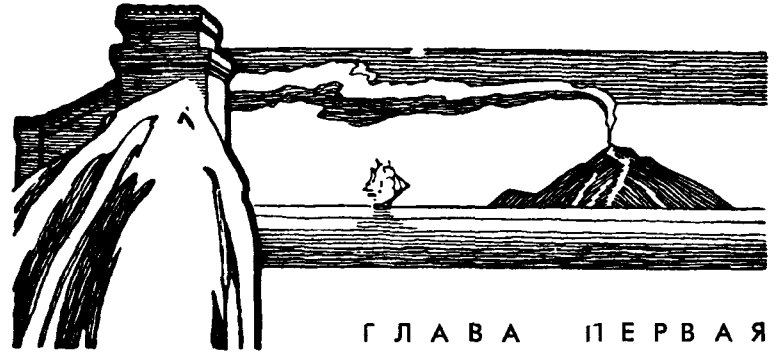


МОСКВА  
1972

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЦК ВЛКСМ  
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»



Орловский



## Г Л А В А П Е Р В А Я

### 1

**Жан Бар**, отчаянная голо-  
вуха, был однажды принят Людовиком XIV. Король  
объявил:

— Я назначил вас командиром эскадры.

Моряк, чуждый этикету, простодушно брякнул:

— Сир, вы хорошо сделали!

Когда вице-адмирала Сенявина назначили главно-  
командующим на Средиземном море, многие моряки мог-  
ли бы сказать Александру I:

— Государь, вы хорошо сделали!

Существует упоминание о том, что царь посылал за  
советом к знаменитому Ушакову: давать или не давать  
Сенявину столь высокую должность.

— Я не люблю, не терплю Сенявина, — ответил фло-  
товодец, — но если б зависело от меня, то избрал бы к  
тому одного его.

Не думаю, чтобы царь советовался с Ушаковым:  
Александр не ценил человека, равного Суворову. Убеди-  
тельнее, по-моему, звучит замечание о том, что Ушаков  
вообще не раз повторял: «Я не люблю, не терплю Сеня-  
вина; но он отличный офицер и во всех обстоятельствах  
может с честью быть моим преемником в предводитель-  
ствовании флотом».

Об ушаковской нелюбви к Дмитрию Николаевичу  
скажем после. Сейчас важно другое: признание Ушако-  
вым выдающихся достоинств того, кто был ему, мягко  
выражаясь, мало симпатичен.

Экспедицию, порученную Сенявину, готовил Чичагов,  
фактический глава морского ведомства. В частном пись-

ме в Лондон Чичагов предлагал: пусть союзники-англичане контролируют западную часть Средиземного моря, а русские — восточную; обоюдную выгоду такого разделения труда, замечал он, «невозможно исчислить». Чичагов сообщал далее про флотскую жажду участвовать в походе и разделял раздражение капитанов, остающихся в Кронштадте или в Ревеле.

А начиналось это доверительное письмо так: «Вице-адмирал, который командует ею (эскадрой. — Ю. Д.) заслужил репутацию хорошего моряка, кроме того, он русский и из хорошей семьи, а это все, что необходимо, чтобы получить подобное назначение».

Нет, не все необходимое указал Чичагов! О главном-то и умолчал. Суть была в том, что Сенявин прекрасно знал район будущих боевых действий: для него это был район минувших боевых подвигов. И противника он знал: ему уже доводилось сражаться с французами.

Дмитрию Николаевичу едва минуло сорок. Вряд ли кто-либо другой в этом возрасте получал «подобное назначение». Он, конечно, радовался и, конечно, гордился. Но и грустил, покидая семью, покидая детей мал мала меньше. Кто предскажет срок возвращения? Да и вернешься ли?.. Впрочем, гадать было некогда. Забот хватало с избытком, снаряжая в путь линейные корабли и фрегат.

Еще по дороге к месту базирования подстерегала опасность. Опасность, которую сознавали не только моряки. Один старый дипломат, выражая общую тревогу, писал: не подвергнутся ли сенявинские корабли «опасности быть встреченными и взятыми соединенными флотами Франции и Испании», ибо «невозможно, чтобы во Франции не проведали об этой отправке»... И верно, лазутчики Наполеона не дремали; как раз в то лето, лето 1805 года, русские власти перехватили шифрованную переписку некоего наполеоновского соглядатая.

Ах, эта легкость пера на гладкой бумаге: эскадра была готова сняться с якоря... Но до чего ж нелегко отлепиться душой от заветной черты, за которой исчезнет родина, от черты, которую как-то и не замечаешь в обыденности, да вдруг на расстании ощутишь — больно, пронзительно, знобко. Это уж после песней забудешься, песней и помянешь. А теперь... И они молча глядят на синеющий вдали лес, эти тысячи мужиков, тысячи «добрых матрозов», отслуживших более пяти лет, и «новіки»

из недавнего рекрутского набора, — все эти марсовые, канониры, морские пехотинцы, все, кто отныне зовется сенявинцами. И корабли тоже будто вздыхают, тяжело поводя бортами. А вахтенные офицеры, расхаживая по пшканцам, насвистывают сквозь зубы: так, согласно старинному поверью, «приманивают ветер».

10 сентября 1805 года, в день воскресный, праздничный, эскадра вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина ушла из Кронштадта.

Эскадра держала стройный походный порядок: никого не приходилось ждать, никому не приходилось догонять. Говорят, нет ничего хуже, как ждать или догонять. А для парусных ходяков, покорных воле ветра, в особенности.

Описывая подвиги адмиралов, морские сражения или дальние плавания, подчас забывают тех, кто, в них не участвуя, к ним причастен. Архангельские, питерские, кронштадтские мастеровые создали сенявинские корабли. Корабли давно успокоились на корабельных кладбищах, но их имена остались. Мастеровые давно упокоились на Охтинском или Соломбальском кладбищах, но имена «мастеровой доброй пропорции», тех, кто всем вершил на верфях, тоже остались.

Сенявинские корабли были детищами Сарычева, Амосова, Курочкина. Василий Сарычев, тогда уж человек опытный, в офицерском чине, управлял петербургским Главным адмиралтейством; Иван Амосов, выходец из семьи поморов, представитель династии создателей боевых судов, был произведен в корабельные мастера 28-летним, чего еще ни с кем не случалось. Курочкин век свой свековал под стук топоров и тоже занял почетное место в истории нашего кораблестроения.

Вот этим-то людям, их помощникам и артельщикам с натруженными ладонями и наметанным глазом, и должны были теперь низко кланяться Дмитрий Николаевич, его офицеры, его матросы...

Эскадра миновала Балтику, миновала проливы и вышла в Северное море. Северное море поздней осенью поры — картина мрачная, достойная «старого джентльмена», как англичане величают дьявола. Но за полночь, пишет один из сенявинских спутников, «вода издавала блеск, подобный золоту». Свечение волн было великолепным; за каждым кораблем будто извивался «огненный змей».

Ветер дул ровно и сильно. Падали дожди, подкошен-

ные ветром. Тучи летели длинные, низкие, без разрывов. На рейде Даунса — между берегом Англии и долгой мелью Гудвин-Сандс — качалась большая эскадра. «Весь в Даунсе флот», — поется в английской песенке; «Весь в Даунсе флот», — говорят английские моряки, подразумеваемая близость бури: дескать, барометр падает, и самое лучшее — так это отстояться в Даунсе. Но, черт подери, как распогодилось! И Сенявин проскочил белесые скалы Дувра. Ла-Маншем шли ночью, под чистыми звездами.

9 октября 1805 года показался остров Уайт, потом — рейд Спитхед. И — «пошел все на реи»: убирай паруса! Вот он, Портсмут...

Как догадаться, что Портсмут окажется тюрьмой? Впрочем, не теперь, нет, годы спусти. А сейчас спешит к «Ярославу» шлюпка: портсмутский старший морской начальник шлет русскому адмиралу поздравления с благополучным прибытием к берегам дружественной державы.

## 2

Севастьяныч жил в Петербурге, в домишке со светелкой. Он считался провидцем, к нему хаживали многие. Любопытства ради заглянул однажды и человек не то чтобы вельможный, но и не малого чина. Вот Севастьяныч его и спрашивает:

— А что, Алексаша уехал?

Гость не понял, о ком речь. Старик усмехнулся:

— Ну, государь-то уехал?

Гость кивнул.

— Эхе-хе-хе, — покачал головой Севастьяныч. — А намедни на этом самом месте стоял, где ты, а я умолял его не ездить и войны с проклятым французом не начинать. «Не пришла, — говорю, — твоя пора. Побьет тебя и твое войско, погоди, — говорю, — да укрепись, час твой придет...»

Человек, посетивший Севастьяныча, уверяет: «Ни одного слова тут нет моего», — все, мол, правда. Так или не так, но действительно в первых числах сентября 1805 года «Алексаша уехал». В свите молодого царя находились лица, очень ему близкие, которых называли «молодыми друзьями» и которые составляли «Негласный комитет».

Александр Павлович и Сенявин пустились в путь чуть не в одночасье: император — из Петербурга, адми-

рал — из Кронштадта. Первый двигался сухопутьем, второй шел в морях.

История сложнее геометрии, будь то геометрия дедушки Эвклида или геометрия Лобачевского. Бесчисленные исторические силы, перекрещиваясь и сталкиваясь, определяют облик времени и облик современников. Отыскивая смысл событий, берешь документы. Отыскивая документы, берешь события, влиявшие на судьбу твоего героя, хотя бы они происходили на суше, а твой герой находился в морях...

В пору, о которой идет речь, темно-русый и голубоглазый корсиканец, любящий запах алоэ и не терпящий запаха табака, короновался дважды: в декабре восьмьсот четвертого года под сводами Нотр-Дам — императором французов; в мае восьмьсот пятого в Миланском соборе — королем Италии.

Осенью 1805-го сложилась антинаполеоновская коалиция, союз империй Российской и Австрийской, королевств Английского, Шведского, Неаполитанского.

А долговязый Фридрих-Вильгельм III еще не определил, с кем ему миловаться — то ли с Наполеоном, то ли с коалицией.

Между тем австрийцы, нарушив союзную стратегию, вторглись в Баварию. С барабанным боем вошли они в притихший Мюнхен и встали аккуратным лагерем под Ульмом, где вскоре грянул бой отнюдь не барабанный.

Наполеон ринулся навстречу неприятелю. Когорты императора французов следовали через территорию Пруссии, ничуть не смущаясь нейтралитетом Фридриха-Вильгельма.

Делать было нечего, и Гогенцоллерн встретился с Романовым. Скучный Берлин огласился салютной пальбой. Бюргеры, подбрасывая шляпы, кричали: «Es lebe hoch!» \* Дождь мочил гирлянды и флаги. Король обнял царя, царь поцеловал ручки королевы, женщины, судя по портретам, обворожительной.

Фридрих-Вильгельм сказал «да», он готов был к соглашению с коалицией. Все бы славно, когда б не злоешие известия из Баварии. Александр велит укладывать чемоданы. Последний ужин в Потсдаме. А под занавес — словно бы сцена из времен рыцарских: император и королевская чета спускаются в склеп и, ощущая холод мра-

\* Да здравствует! (нем.).

морной гробницы Фридриха Великого, пылко клянутся в «вечной дружбе».

А в этот самый день на Верхнем Дунае почти уж не было ульмского лагеря, а было то, что вошло в историю под названием «ульмского позора».

Фюрер, издыхая в рейхсканцелярии, педил: «Немцы недостойны своего вождя». Наполеон после Ульма продиктовал: «Можно в нескольких словах выразить похвалу армии — она достойна своего вождя».

Разгромив австрийцев в Баварии, французы пошли громить их в Австрии. Колонны наращивали марш правым берегом Дуная. В середине ноября 1805 года смятенная Вена услышала дружный цокот копыт — входила конница Мюрата.

Армия Наполеона катилась по Европе, как пылающая головня. Свидетельства современников иллюстрируют известное положение о том, что наполеоновские войны были захватническими, грабительскими.

«В настоящей войне, — писал один парижанин, — французы особенно обнаружили чрезвычайное сребролюбие. Сверх того, их обнадеживают, будто Бонапарт даст земли тем, кто пожелает поселиться в богатых и изобильных странах. Французская армия состоит по большей части из людей, готовых на все, чтобы скопить себе что-нибудь; и, к несчастью, они подчинены предводителю, который может внушить им известное доверие в этом смысле».

А вот картинка, нарисованная придворной дамой г-жой де Ремюза: «По окончании этой войны (1805 года. — Ю. Д.) жена маршала N рассказывала нам, смеясь, что муж, зная ее любовь к музыке, прислал ей громадную коллекцию, найденную у какого-то немецкого принца; она говорила нам с той же наивностью, что он послал ей такое количество ящичков, наполненных юстрами и венским хрусталем, собранным отовсюду, что она не знала, куда их девать...»

«Ульмский позор» и падение Вены почти сокрушили коалицию. Оставались русские. Наполеон уже получил некоторое представление об этом противнике. Первая встреча с ним так выглядит под пером француза-историка: «Сначала русские опрокинули несколько французских кавалерийских эскадронов, необдуманно выдвинутых в лес. Кавалеристам Мюрата и гренадерам Удино пришлось несколько раз повторить упорные атаки, преж-

де чем они справились с отчаянно храбростью русских солдат. Раненые, безоружные, поверженные на землю, русские продолжали нападать и сдавались только под ударами штыка или ружейного приклада».

Михаил Илларионович Кутузов знал о численном превосходстве неприятеля. И действовал так, как действовал семь лет спустя: уступал версты и не уступал желанию врага навязать генеральное сражение. Кутузов совершал стратегический марш-маневр, знаменитый в военной истории нового времени.

Осторожный, уравновешенный, многоопытный, он оттягивал решительное столкновение до того дня, когда сам сочтет выгодным контрнаступление. И тут уж Наполеон, который, казалось, мог сделать все, ничего поделывать не мог, хотя и очень гневался на Кутузова. Не мог и не смог бы, если бы не... Александр, который уже скакал из Потсдама к «своей армии».

Государь был слишком благовоспитан, чтобы миновать Веймар. Он провел там три дня. Не подумайте, бога ради, что Александр беседовал с Гёте или наклонял кудри над могилой Шиллера. Нет, в Веймаре жила его младшая сестрица. И, лишь отдав дань родственным чувствам, царь пустился дальше.

Ехал он на Прагу, но до Праги не доехал: сказали, что вокруг Пильзена гарцуют французские разъезды. Александр со свитой свернул на Бреславль, оттуда попал в Ольмюц. И вот наконец русские полки.

Разутые, изможденные, оборванные, они встретили царя угрюмым молчанием. Раздраженный, он лучше выдумать не мог, как ответить войскам тем же.

Из царской свиты, кажется, один князь Чарторижский советовал государю оставить армию и тем развязать руки Кутузову. Чарторижский в этом случае (впрочем, не единственном) обнаружил достаточно ума; а господа свитские, как и сам Александр, сочли, что князь обнаружил недостаток почтительности. Свитские уверяли императора, что лишь он, только он спасет положение. Александру было приятно слушать и приятно верить.

Кутузов с той тонкой осмотрительностью, которую одни принимали за робость, а другие за лукавство, уговаривал отходить, изматывая чужие силы, отходить, исподволь концентрируя свои силы. Увы, Кутузова оттеснили. Приблизили австрийского генерала Вейройтера, хотя Кутузов номинально оставался главнокомандующим.

Если Кутузов хотел и мог отступить, то Наполеон не хотел и не мог наступать. Он слишком отдалился от Франции и слишком приблизился к Пруссии, еще не потерявшей ни одного пехотинца. Вот почему Наполеон чуть попятился, искусно разжигая петушиный задор Александра. Вот почему, беседуя с его уполномоченным, Бонапарт прикинулся грустным, даже унылым. И добился того, чего добивался: решительное сражение стало делом ближайших дней, ноябрьских дней 1805 года.

Моравия — край гористый. Где горы, там и плоскогорья, там и долины. В Моравии они плодородны — пашни, виноградники, луга... Праценское плоскогорье раскинулось западнее деревни Аустерлиц.

Еще не встало солнце, но уже гасли бивачные огни. И уже готовились в бой полки, хотя многие высшие офицеры так и не постигли высокоумную диспозицию Вейротера.

В предутренний туманный час Александр и Кутузов объезжали войска.

— Ну что, — улыбнулся император, — как вы полагаете, хорошо пойдет?

Кутузов ответил как заученное:

— Кто может сомневаться в победе под предводительством вашего величества!

Александр улыбнулся еще лучезарнее:

— Нет, вы командуете здесь, а я только зритель, — и тронул коня.

Кутузов помедлил. Потом произнес, не то размышляя вслух, не то обращаясь к бригадному генералу, находившемуся рядом: «Вот прекрасно! Я должен здесь командовать, когда я не распорядился этою атакой, да и не хотел вовсе предпринимать ее».

И еще один характерный диалог запомнился очевидцам.

Царь: Михайло Ларионыч! Почему вы не идете вперед?

Кутузов: Я поджидаю, чтоб все войска колонны собралась.

Царь: Ведь мы не на Царицыном лугу, где не начинают парада, пока не придут все полки.

Кутузов: Государь! Потому-то я и не начинаю, что мы не на Царицыном лугу... Впрочем, если прикажете...

Кутузов, как мог, насколько мог, тормозил отправку колонн с Праценской позиции. Михаил Илларионович

будто подслушал слова Наполеона: если русские покинут высоты, они погибли бесповоротно.

А колонны — согласно Вейротеру — уходили одна за другой. Кутузов, как мог, насколько мог, цеплялся за холмы. Лишь после двухчасового сражения солнце Аустерлица озарило Наполеона. Утвердившись на высотах, он бросился на оба неприятельских фланга.

Вдали от боя, изнемогая от страха и стыда, Александр свалился с лошади и зарыдал. Ночевал он в какой-то деревушке, на соломе. Спал худо: извините прозаизм — его мучил понос.

Аустерлиц прикончил кампанию 1805 года.

Австрийский император Франц безмолвно подписал все условия, выставленные Наполеоном. Российский император Александр убрался в Северную Пальмиру.

В Петербурге просили «его величество возложить на себя знаки ордена святого Георгия». Император ответил, что «награждают за распоряжения начальственные», а он, мол, «не командовал». Уклоняясь от награды, царь уклонился от ответственности.

Один из тогдашних военных отметил в своих записках: «Аустерлицкая баталия сделала великое влияние над характером Александра, и ее можно назвать эпохой в его правлении. До того он был кроток, доверчив, ласков, а тогда сделался подозрителен, строг до безмерности и не терпел уже, чтобы ему говорили правду; к одному графу Аракчееву имел полную доверенность».

«Кроток», «доверчив», «ласков» — отнесем на счет повального дворянского умиления началом «дней Александровых». (После Павла-то Петровича не мудрено было парить серафимом.) А вот «подозрителен», «неприступен» и т. п. — это уж вернее верного.

Выяснить некоторые особенности Александра, особенности отношений царя с Кутузовым понадобилось не ради бойкости изложения. Из дальнейшего увидим, как эти свойства царя оттикнулись на судьбе нашего главного героя.

3

«В потере корабля легко можно утешиться, но потеря храброго офицера есть потеря национальная».

Человек, высказавший эту истину, получил однажды в подарок... гроб. Да, гроб, сделанный из грот-мачты фран-



пузского судна. Подарок был от чистого, хоть и мрачного, сердца. Адмирал, ярый враг Франции, принял гроб с благодарностью: лучшей усыпальницы он не хотел.

Теперь, в октябре 1805 года, мертвый флотоводец лежал в гробу, сделанном из грот-мачты. А мачты его кораблей-победителей показались на хмуром горизонте.

Их видели Сенявин, сенявинские офицеры и матросы.

Стоянка русской эскадры в Англии совпала с днями великого торжества и великой печали англичан. Восторг и горе определялись словами: «Трафальгар», «Нельсон».

Огромное морское сражение при мысе Трафальгар, что на юге Испании, близ Кадиса, поныне занимает внимание историков, военных и невоенных. Нельсоновскому изничтожению франко-испанского флота посвящены сотни страниц. Изю всех оценок приведу лишь две — французского моряка и русского моряка.

Адмирал де ла Гравьер: «Нельсон не выдумал новую тактику, но скорее пограл все мудрые расчеты старой; поэтому недостаточное содействие со стороны капитанов, нерешительность или боязливость в движениях были бы пагубны для его славы... Нельсон говаривал, что в морском сражении всегда нужно оставлять частичку случаю; но, несмотря на то, перед делом он был расчетлив, почти мелочен».

Адмирал Нахимов: «Вы помните Трафальгарское сражение? Какой там был маневр, вздор-с, весь маневр Нельсона заключался в том, что он знал слабость своего неприятеля и свою силу и не терял времени, вступая в бой. Слава Нельсона заключается в том, что он постиг дух народной гордости своих подчиненных и одним простым сигналом возбудил запальчивый энтузиазм в простолыдинах, которые были воспитаны им и его предшественниками».

Побеждая на суше, Наполеон оказался побежденным на море. Даже после Аустерлица, даже после того, как он накрыл своей треуголкой половину континента, даже после феерической январской (1806 года) встречи в Париже, император французов не переносил самого звука — «Трафальгар».

Современница говорит: «Напрасно моряки и военные, отличившиеся в этот ужасный день, старались добиться какого-нибудь вознаграждения за перенесенную опасность; им было почти запрещено когда бы то ни было вспоминать это роковое событие».

Однако придворная дама сильно ошибалась, заявляя, что Трафальгар навсегда отбил у Наполеона интерес и внимание к флоту. Нет, мысль о реванше долго не угасала в его сознании; годы спустя он добивался от Сенявина неужоснительного послушания все ради того же морского возмездия проклятым англичанам в синих мундирах и в куртках гернсейской шерсти.

Госпожа де Ремюза не ошибалась в другом: «Император очень любил казаться занятым одновременно различными делами, любил показать, что он может повсюду одновременно бросать свой орлиный взор».

Иронизируя, мемуаристка оттенила (сдается, мимовольно) черту многих из тех, кого возносил исторический вал: они мнили себя не только гениями, но гениями-универсалами.

Поводя «орлиным взором», Наполеон всерьез утверждал: «Я прекрасно понимаю толк на нарядах». Ну что ж, стало быть, еще до бегства из Москвы он был готов перефразировать Мармонтеля: от великого до смешного один шаг. Однако среди прочих претензий, частью смешных, а частью грозных, он имел и такую, которая близка нашей теме: «орлиный взор» Бонапарта останавливался на военном-морском искусстве.

Может быть, император французов и впрямь удивил каких-то английских капитанов рассуждениями о корабельной оснастке и корабельных канатах. Но, думается, прежде чем удивлять, он полистал соответствующую книжку, подsunутую личным библиотекарем.

Нет, прав был де ла Гравьер: «Только одной вещи не доставало победителю под Аустерлицем — точного понимания трудностей морского дела»\*.

Победитель на суше и побежденный на море, он возмечивает полководца и уничтожает флотоводца:

- воевать на суше опаснее, нежели на море;
- моряк терпит меньше лишений, чем солдат;
- полководцем рождаются, флотоводцем делаются;
- победы на суше — высокое искусство;
- победы на море — банальная понаторелость;
- полководцу досаждают заботы о снабжении войска;
- флотоводец все свое носит с собою;
- полководец должен изучать местность;

\* Этого в еще большей степени не доставало и побежденному под Аустерлицем Александру I.

— флотоводцу безразлично — Индийский океан или Атлантика.

Опровергать не стоит труда: это плод «универсального гения». Ибо там, где Наполеон исходит из собственного опыта, действительно богатого, блестящего, поражающего воображение, там мысль его быстра, остра, значительна. А «постулаты», приведенные выше, рожденные уязвленным самолюбием, трафальгарской обидой, которую Наполеон не избыл до смертного часа в долине Лонгвуд...

Между тем в стране, одна из гаваней которой дружески приняла сенявинскую эскадру, в стране этой, при всем ее ликовании по случаю Трафальгара, крылья многих лидеров сожжены «солнцем Аустерлица».

Особенно страдает Вильям Питт, вдохновитель и кредитор рухнувшей коалиции. Он будто предугадывает решимость Наполеона: «Я завоюю море на суше». Да, господство на морях необходимо, очевидно, лишь ради господства на побережьях. А какой прок в морских трассах, если они ведут в порты, где реют знамена императора французов?

Вильям Питт угасал, снедаемый тревогой, тоской, разочарованием, его скорбный взор один из друзей назвал «аустерлицким взглядом». Чьи руки возьмут государственный штурвал? Кто заменит Питта? Фокс, глава оппозиции? Тогда неизбежны пагубные перемены внешней политики, тогда Наполеон может рассчитывать на мир с Британией.

Вице-адмирал Сенявин приглядывается и прислушивается к тому, что происходит в английских «сферах». Интерес отнюдь не пустой. Ведь надо идти в Средиземное. Как поведет себя британский союзник? Опорой ли будет или всего-навсего сторонним наблюдателем? Конечно, Трафальгар значительно снизил шансы встречи с вражескими эскадрами. И все же она возможна, эта встреча, еще до того, как он, Сенявин, соединится с русскими, базирующимися на Ионических островах.

4

В октябре и ноябре 1805 года эскадра еще в Портсмуте. Сенявин принимает «новичков»: в Англии куплены брига «Аргус» и «Феникс». Этих быстроходных разведчиков и курьеров надо не просто принять, но изготовить к плаванию.

И еще забота: замки. Нехитрая, кажется, штука, однако морской опытный глаз тотчас оценивает важность ее.

Сенявинский офицер пишет: «Мы не были праздны: по-новому изобретению в Англии приделывали замки к пушкам... Замок к пушкам есть выдумка превосходная, особенно для начальной пальбы: стоит только дернуть веревочку — курок спускается на полку — и выстрел. Для неопытных, никогда не бывших в сражении, не всегда можно надеяться, что фитилем попадет прямо в затравку, а тут и не совсем храбрый человек может дернуть шнурком. Недостаток может быть один: испортится замок и во время дела некогда его починивать; тогда обратимся опять к фитилю, который всегда есть при пушке во время сражения».

«Мы не были праздны...» — это не об одних лишь оружейных замках. Морскому офицеру стоянка в Англии — как художнику поездка по Италии. Есть что посмотреть, есть чему поучиться.

Да, надо отдать должное, английские капитаны «далече превосходят по опытности» французских и испанских. Но вот что примечательно: ни сам Дмитрий Николаевич, ни его подчиненные не падают ниц. Увольте, если при Екатерине англичан принимали в русскую службу «без строгого разбора», то «отняли только дорогу лучшим нашим офицерам. Ну, а выучка экипажей? Э, держи-ка голову выше! Команды русских кораблей ни на дюйм не уступают английским «в порядке, проворстве и в искусстве управления кораблем».

Уж был декабрь, когда Сенявин отсалютовал Портсмуту.

Могучий ветер налегает в корму — чего же лучше? Ставь все паруса, мчи альбатросом! Когда ощущаешь эту крылатость, эту слитность своего «я» с кораблем, овладевает тобою необыкновенное чувство полноты жизни.

Мысом Лизард, отрубистым и мрачным, кончилась Англия. Бурунной пеною у мыса Лизард началась Атлантика.

Глубокий, вечный хор валов,  
Хвалебный гимн отцу миров...

Четверть века истаяло, как Сенявин впервые увидел океан.

Выдержал экзамен в корпусе, по числу баллов оказался из лучших (хотя поначалу, резвым кадетиком, познаниями не блистал) и в мае 1780-го шагнул на борт

«Князя Владимира». Никифор Палибин, капитан бригадирского ранга, водил корабли из Кронштадта в Португалию, и семнадцатилетний мичман увидел Атлантику. Потом сияли ему иные небеса, иные волны, но океан не забывался. Почему? Кругло и точно не определишь.

Впрочем, и теперь, четверть века спустя, уже вице-адмиралом, Дмитрий Николаевич не искал определений: его самого искали в океане.

Выше цитировались предсказания старого дипломата: «невозможно, чтобы во Франции не провели...» И точно, «провели»! То ли еще из России просочились сведения, то ли уже из Англии, и теперь на перехват сенявинскому отряду помчалась семерка французских линейных кораблей, да еще и фрегаты в придачу.

Что было делать Сенявину? Двадцать с гаком лет назад, пылким мичманом, он, конечно, пожелал бы завязать бой. Но храбрость командующего отличается от храбрости командира корабля, не говоря уж о мичмане. У Дмитрия Николаевича была капитальная задача — дойти до Корфу, действовать в морях Адриатическом и Ионическом.

Нет, Сенявин драться не стал. Он уклонялся от боя на воде, как Кутузов уклонялся от боя на суше: оба ждали «своего часа».

Но к бою Сенявин приказал изготавиться. И прибавил: огней не зажигать; в восемь пополудни, то есть уже в темноте, не дожидаясь никаких сигналов, поворотить на восток; в полночь опять изменить курс и спускаться к югу.

«Искусное распоряжение адмирала,— писал участник похода,— обмануло неприятеля, темная ночь скрыла наши движения, и он упустил нас из рук». А вскоре уже корабли были в Средиземном море...

Задолго до Сенявина и сенявинцев, направляясь «ко святым местам Востока», в Средиземном море очутился Василий Григорович-Барский. Пилигриму пришлось тяжело: «И бист страх велий, но не всем, наипаче мне, первый раз существу на море. Возмутися же ми сердце и завратися глава, яко едва не одурех, не можах бо ни внутрь, ни верху корабля сидети, одмлевающе и (прости ми, разумный читателю) не могий стерпети, блевах пятерицею до зелени тако, не имий чим, едину некую зелень, аки желчь, испущах».

И на сенявинских кораблях кое-кто маялся морской болезнью. Но «страха велия» уж не испытывали, ибо не первый день шли морем. К тому же, восхищался спутник

Сенявина, «солнце позлатило светлую лазурь неба, ни одно облако не помрачало ясного свода его».

Адмирал не позволил морякам млеть в ничегонеделанье: на кораблях происходили регулярные ученья — артиллерийские и ружейные. Кроме того, Сенявин принял гигиенические меры: ежедневное проветривание трюмов, ежедневное окуривание пороховым дымом и мытье укссом помещений и отсеков. Он настроил запретил матросам спать в волглом белье. Он пользовался всякой возможностью освежить запасы пресной воды и провизии.

Судовая скученность, бочки цветущей воды, мясо, тронутое гнилью, недостаток витаминов и избыток насекомых и крыс — все это губило экипажи на тогдашних флотах; мор был хуже сражений. На эскадре Дмитрия Николаевича ничего подобного не случилось. Современник отметил, что ни на одном корабле во все время кампании не возникло никаких заразных болезней «благодаря крайнему старанию главнокомандующего».

Следуя к цели, Сенявин дважды становился на якорь.

В сардинском городе Кальярия, смердящем и нищем, адмирал встретил восьмьсот шестой год. Как и все накануне новолетья, Дмитрий Николаевич призадумался о грядущем. Он предвидел тревоги и злоключения, но вряд ли предполагал, что очутится в чрезвычайно запутанных обстоятельствах, которые потребуют от него не только умения водить корабли и не только выигрывать сражения.

На пути к Мессине, в январский день, когда судовые попы возносили молитву в честь преподобного Павла Комельского, моряки заметили Стромбали. «Вулкан открылся нам, — рассказывает сенявинский офицер, — как превеликий горн, раздуваемый мехами и сыплющий вверх искрами... Пламя, постепенно увеличиваясь, составляло огромный огненный столб, который, расширяясь, производил грохот, подобный приближающемуся грому или треску падающего здания. Блеск вулкана, озаряя облака, изображал на них разноцветные радуги; червлень, яркий пурпур, лазурь с тончайшими оттенками, коими украшалось небо, представляло нам корабли и близлежащие острова горящими».

Мессинский пролив соединял море Тирренское с Ионическим. Первое уже сомкнулось за ахтерштевнями русских кораблей; второе еще ожидало, когда его взрежут форштевни. А пока был Мессинский пролив: беспорядоч-

ные течения, сумятица волн, неправильные приливы и отливы.

Шесть лет назад Сенявин едва не погиб в здешних водах. Дмитрий Николаевич, тогда капитан 1-го ранга, командовал в ушаковском заграничном походе линейным кораблем. Корабль был испытан в штормах Черноморья. Но близ Сицилии и «Св. Петру», и экипажу, и самому командиру досталось так солоно, как никогда прежде не доставалось. Буря повредила «Св. Петра», и он, уже «раненый», был брошен на мель. Открылась течь. Матросы у помп выбивались из сил, а вода все поступала и поступала в трюм, клопоча и пенясь. Экипаж ожидал приказа срубить мачты и спустить шлюпки. Тут, к счастью, ветер словно бы выдохся. А потом вежливо переменял направление, и «Св. Петр», кряхтя, стянулся с мели. Происшествие это долго и прочно помнили сенявинцы, подробно рассказывали молодым. (Впоследствии на страницах кронштадтской газеты один из таких слушателей описал приключение «Св. Петра», подчеркнув, что Сенявин, по словам очевидцев, «был тверд, нисколько не таялся».)

Покорный общему закону, Дмитрий Николаевич переменялся с возрастом, но по-прежнему, как и обер-офицером, любил ходить на больших скоростях. И вот теперь он приближался к порту Мессине не робким зигзагом — летел, блистая тугой парусиной. И в этом шибком, точно рассчитанном движении была та особенная лихость, красота и щегольство, какими отличались парусные ходоки, когда ими правили люди с горячим сердцем и холодным рассудком. Прибавьте бравурную музыку корабельного оркестра, бодрюю череду салютных выстрелов, мгновенную уборку парусов — и вот вам росчерк на картине прибытия в сицилийский порт.

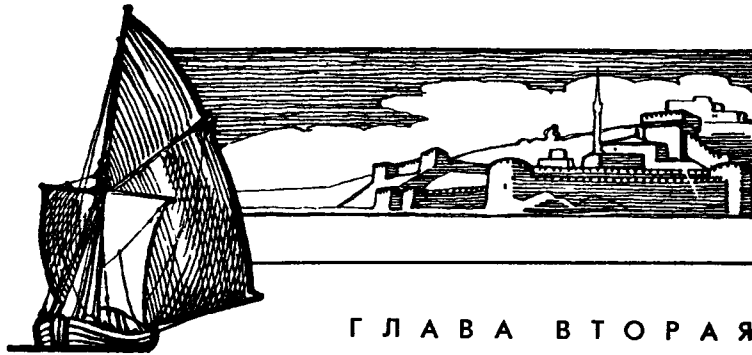
Еще в Портсмуте офицер Броневский, летописец сенявинского похода, обратил внимание на то, как матросы быстро сходились с чужеземцами-«простолюдинами». Английские матросы вопреки традиционной замкнутости отвечали русским открытой сердечностью. Теперь, в Мессине, Броневский отмечал расположение итальянской «черни» к русским «нижним чинам». Кстати сказать, эта симпатичная черта рядового русского моряка явственно проявлялась не только в европейских портах, но и среди «дикарей» Океании; свидетельством тому — многочисленные отчеты командиров кругосветных походов.

Броневский объясняет: «Француз, англичанин если не обижают, то, по крайней мере, хотят казаться существом, гораздо его благороднейшим. Русский не ищет сего преимуществ и желает быть ему равным».

В середине января 1806 года эскадра оставила тысячулетнюю Мессину. Под острыми волнами караулили мореходов отмели и рифы пролива. Сенявин обманул их, как в океане обманул французов. В какой уж раз командующий дал подчиненным доказательство своей мореходной непогрешимости.

Мессинским проливом прошли ночью. Прошли, не убавляя парусов, сквозь потемки. И два дня спустя, опять в полуночное время, отдали якоря у Корфу, отдали умело и спокойно, словно на кронштадтском родном рейде.

Утренняя заря, широкая и чистая, разлилась над островами и городом, которые Сенявин впервые увидел с кораблей своей молодости. Но тогда они пришли не с запада, а с востока, не из Балтики, а из Черного моря.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Два имени в ряд. История давно определила им место в истории: замечательные флотоводцы и дипломаты. Ушаков был старше Сенявина. Ушаков начал, Сенявин продолжил. И тот и другой трудились над «устройством» Черноморского флота. И тот и другой закладывали Севастополь. Увы, случается так, что два человека, преданные одному делу, схожие в главном, определяющем, два таких человека не в ладах.

Как-то не по сердцу наводить увеличительное стекло на ссоры и раздоры тех, к кому питаешь высокое уважение. Но, всматриваясь в отношения Ушакова и его младшего коллеги, видишь черты раннего Сенявина, которые помогают представить жизнь, а не житие.

2

Ушаков встретил Сенявина в самом начале своей карьеры. Только встретил он сперва не Дмитрия Сенявина, а Алексея Наумовича Сенявина.

Необходимо взглянуть на родословное древо. Не из порожного любопытства к дворянской генеалогии, а потому, что это древо дало «флотские побеги» задолго до того, как наш герой слизнул с губы морскую соль.

Не станем забираться в «Польский гербовник» и обнаруживать пращуров Сенявина, или Сенявских, как они прозывались издревле. Нет, вот колыбельная пора русских регулярных военно-морских сил. Вот первенцы «гнезда Петрова» — флотские офицеры. И среди них братья Сенявины — Иван, старшой, и Наум, меньшей.

Ивана ласкал царь-мореход. Иван боцманом служил, капитаном, директором Адмиралтейской конторы, дослужился до контр-адмирала. Наум громче прославился. Он был из тех преображенцев, кто шагнул на корабль матросом. Повышаясь в чинах, не оставлял палубы, брал Нарву и Шлиссельбург, получил нелегкое ранение, когда атаковали Выборг; расколотил шведа близ острова Эзель, и Петр назвал эту победу «добрым почином Российского флота». Вице-адмиралом (первый из «природных россиян» вице-адмирал), кавалером ордена Александра Невского он командовал Днепровской флотилией. Уходя с флота, оставил флоту сына. Того самого Алексея Наумовича Сенявина, который впоследствии принял под свою руку лейтенанта Ушакова, а еще позже определил в корабельщину и племянничка Дмитрия.

Алексей Наумович не ронял фамильной чести. Блистал он дарованием и деятельностью: налаживал донское судостроение, начальствовал Азовской военной флотилией. А помогал ему другой Сенявин — Николай Федорович.

Однажды оба Сенявина — адмирал и его генеральс-адъютант — ехали из Таганрога в Санкт-Петербург. Ненадолго остановились в Москве. В белокаменной тогда зимовала жена Николая Федоровича с малолетним сыном Дмитрием. Вообще-то жили они в калужской деревне Комлево, а тут оказались в Москве.

Резвый племянник приглянулся дядюшке. Адмирал был скор на решения: усадил десятилетнего мальчика в кибитку, умчал к неским берегам, а там быстро пристроил его в Морской кадетский корпус, где пробыл Дмитрий несколько лет до производства в офицеры флота.

А на юг Дмитрий Николаевич Сенявин прибыл летом 1782-го. Было ему от роду девятнадцать. Вот там-то, на юге, и привелось Ушакову дать уроки боевой службы племяннику своего бывшего учителя. Да, именно Федор Федорович сделался военным наставником Дмитрия Николаевича. Однако не сразу. И нелегко.

Поначалу зеленого мичмана определили на Азовское море, в Керчь. Потом он попал в Ахтиарскую бухту, где возникал Севастополь.

До конца дней помнилась Сенявину черноморская пора, помнилась светло и благодарно, отчетливо и живо. Существуют записки Дмитрия Николаевича. Они прелестны: выразительные, энергичные, немножко ушесливые. Нет охоты пересказывать их — охота цитировать.

Итак:

«...По именному повелению командировали с эскадры (Балтийской. — Ю. Д.) в Таганрог 15 старших мичманов, в числе которых я был сверху 4-й. Приехав в Петербург, явился я к дяде Алексею Наумовичу. Он удивился, увидев меня, и, между прочим, спросил, хочу ли я здесь остаться или ехать в Таганрог. Я отвечал, что батюшка приказал мне служить и мне все равно, там или здесь. Дядюшка обнял меня обеими руками, поцеловал и сказал: «Ступай, друг, с богом, там служат также хорошие офицеры».

В Петербурге дали мне партию — одного квартирмейстера и 12 матросов — и отправили на почтовых, равно как и прочих моих товарищей. Я пустился прямо в Москву, потом на Боровск и в Комлево увидеться тут с матушкой. В Комлеве я пробыл два дня, а на третий выехал.

За прощальным обедом было у нас много гостей, собравшихся посмотреть на приехавшего из Петербурга, побывавшего за морями и опять едущего бог знает куда. Матушка рассказывала гостям, что я буду непременно в больших чинах, гости желали знать примечания матушки на то, и она им рассказывала, что я обе ночи спал на полу, близко кровати ее, и она всегда видела меня спящего раскидавшись и обе руки были закинута за голову. Тут некоторые гости верили, некоторые удивлялись, а некоторые из молодых усмехались. К этому и я пристал и вместе (виноват) посмеялись. Священник комлевский отец Козьма, который учил меня грамоте, был со мной все это время почти неразлучен...

В Таганрог я приехал в первых числах июля (1782 года. — Ю. Д.), на другой день сдал мою партию, а на третий — посадили меня с товарищами моими на галиот и отправили в Керчь для распределения по судам Азовского флота. Я был определен на корабль «Хотин»...

По взятии Крыма до учреждения карантинных, года с два, чума весьма часто вызывалась в нашем крае от сообщения с татарами и судами турецкими, приходящими в наши порты. Мы наконец-то к ней привыкли, что нисколько не страшилась ее и считали как будто это обыкновенная болезнь. Доктор Меллард, будучи мне хороший приятель, советовал для предохранения себя от заразы непременно курить табак, я ему повиновался, хотя имел великое отвращение; к тому же, обращаясь часто с татара-

ми, у которых трубки есть в первом и неприменном употреблении, я привык скоро и сделался на всю жизнь неразлучен с сею низкою, кучерскою, а паче еще вредною для здоровья и зубов забавою...

1783 год. Перед обедом, когда командиры все собрались, адмирал при объявлении им приказа главного командующего\* говорил: «Господа, здесь (в Ахтиарской бухте. — Ю. Д.) мы будем зимовать, старайтесь каждый для себя что-нибудь выстроить, я буду помогать вам лесом, сколько можно будет уделить, прочее все, как сами знаете, так и делайте; более ничего; пойдете кушать». Капитаны ему поклонились и смекнули, что речь говорится на кратко, ясно и обстоятельно. Сели за стол, обедали хорошо; встали веселы, а ввечеру допили, на шканцах танцевали.

На другой день командиры судов принялись за дело. Сперва каждый назначил себе место, куда поставить свое судно на зимовку, там и начал делать пристань и строить прежде всего баню... Потом начали строить для себя домики и казармы для людей; все эти строения делали из плетня, обмазывали глиной, белили известью, крыли камышом на манер малороссийских хат...

Назначив места под строения, доставив туда надобное количество всякого рода вещей и материала, адмирал заложил 3-го числа июня четыре здания. Первое, часовню во имя Николая Чудотворца, на том самом месте, где и ныне церковь морская существует. Другой дом для себя; третье, пристань очень хорошую против дома своего; четвертое, кузницу в адмиралтействе.

Здания эти все каменные, приведены к концу весьма скоро и почти невероятно. Часовня освящена 6 августа, кузница была готова в три недели, пристань сделана с небольшим в месяц, а в дом перешел адмирал и дал бал на новоселии 1 ноября.

Вот откуда начало города Севастополя.

Между тем сделаны два хорошие тротуара, один от пристани до крыльца дома адмиральского, а другой — от дома до часовни, и обсажены в четыре ряда фруктовыми деревьями. Выстроено 6 красных лавок с жилыми на-

\* Адмирал Макензи — основатель севастопольского порта; главнокомандующий — адмирал Клокачев.

верху покоями, один изрядный трактир, несколько лавок маркитантских, 3 капитанских дома, несколько магазинов (складов. — Ю. Д.) и шлюпочный сарай в адмиралтействе; все сии строения каменные или дощатые. Бухта Херсонская отделена для карантина. Инженеры и артиллеристы устроили батарею на мысах при входе в гавань.

Итак, город Севастополь весною 1784 г. довольно уже образовался, все строения општукатурены, выбелены, хорошо покрашены палевой или серой краской, крыши все черепичные, и все это вместе на покатоности берега делало вид очень хороший. Самый лучший взгляд на Севастополь есть с северной стороны».

### 3

Сенявину повезло. Он очутился в гуще тяжкого, но бодрого и огромного предприятия: если деда рубили окно в Европу, то внуки крепили южный порог державы. Во главе стоял светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический.

Екатерина называла его гениальным; Пушкин — странным; Бальзак — редкостно умным; Герцен — человеком, который «при всех своих недостатках далеко не лишен известной широты взглядов». Мемуаристы насобирали о Потемкине короб анекдотов. Историки, расходясь в оценке его личности, сходятся в одном: богатая натура.

Сенявин был у Потемкина в фаворе, или, как тогда говорили, «в случае», и взлетел выше, чем некогда родной батюшка. Тот был генеральс-адъютантом у двоюродного братца, всего лишь адмирала. Сынок сподобился той же должности, но при особе, о которой поэт Апухтин так заставил сказать императрицу Екатерину:

Когда Тавриды князь, наскучив пылом страсти,  
Надменно отошел от сердца моего,  
Не пошатнула я его могучей власти,  
Гигантских замыслов его.

Аксельбант на правом плече (знак генеральс-адъютанта), близость к вельможе, даже прачки которого не уступали дорогу полковникам, кружили молодую голову. Да к тому же имя, известное флоту: Се-ня-вин!

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно», — утверждал дворянин А. С. Пушкин. Поэт А. С. Пушкин прибавил: «Конечно, есть достоинство выше знатного рода, а именно: достоинство личное...»

Достоинства личные у Сенявина, несомненно, имелись. Но блеск аксельбанта и фамильный блеск тоже, несомненно, сказывались. Особенно в отношениях с Ушаковым, прямым начальником Сенявина, ибо последний, хоть и генеральс-адъютантом, не смешивался с толпой княжеских клевретов, а продолжал палубную службу капитаном 2-го ранга.

Сказывалась и разница душевного склада. Неубродивший гонор у младшего; чрезвычайная вспыльчивость и вечная заноза своего «лапотного дворянства» у старшего. Бойкая насмешливость первого и то, что теперь называли бы ранимостью, второго. Младший еще кипит, еще весел, лих, строптив; старший суров, замкнут, одинок, застенчив с женщинами... И еще было нечто похожее на отношения людей совсем иной эпохи и совсем иной «области»: Леонардо да Винчи и Микеланджело; безмолвной иронической улыбкой Леонардо доводил до бешенства угрюмого, легко воспламеняющегося Буонарроти. Не настаивая на аналогии, должно признать, что Сенявин не ограничивался улыбками.

В одной ушаковской бумаге глухо помянуто, что неприязнь к нему у Сенявина давняя. Там же Федор Федорович намекает, что виноват Херсон, то есть штаб-квартира адмирала Мордвинова. А Мординов и впрямь не цитал нежности к удачливому флотоводцу.

Намеки можно было б и отбросить, если б Сенявин от разговоров не ударился в проступки. Но проступки подчиненного понудили начальника к поступкам.

В открытую все началось в девяносто первом году.

Новые корабли нуждались в личном составе. Ушаков по опыту знал, как трудно сколачивать команду, и потребовал матросов «лучших и в своем знании исправных, здоровых и способных к исправлению должностей». Отобранных матросов он велел прислать к нему, Ушакову, на смотр.

Конечно, любому командиру жаль отдавать добрых служителей, как, скажем, школьному учителю жаль отдавать в другой класс прилежных школяров. Но командиры кораблей подчинились, сознавая, что Ушаков хлопочет о боеспособности всего флота.

Не то Сенявин. Он списал со своей «Навархии» не лучших, а худших. Это было вызовом. Ушаков стерпел. Внешне невозмутимо приказал выставить других. Увы, на повторный смотр приковыляли все те же «болезные».

Это уж было «бесстыдством», как выразился Федор Федорович. Заметьте, спор шел лишь о трех служителях. Значит, Сенявин перечил, так сказать, из принципа.

Что было делать адмиралу? Не глотать же, черт дери, пилюлю, поднесенную капитаном 2-го ранга! И Ушаков отдает письменный приказ: с горечью отмечает непослушание командира «Навархии» и опять требует у Сенявина «добрых матросов».

Кажется, яснее ясного. Но Сенявин закусил удила. Избалованный похвалами (правда, незрешными) прежних начальников, Макензи и Войновича, лелеемый светлейшим князем, он оправляет свой аксельбант и хватается за перо:

«Во отданном от его превосходительства контр-адмирала и кавалера Ф. Ф. Ушакова на весь флот генеральном приказе назван я ослушником, неисполнителем, упрямым и причиняющим его превосходительству прискорбие от неохотного моего повиновения к службе ее императорского величества. Вашу светлость всенижайше прошу учинить сему следствие, и, ежели есть таков, подвергаю себя надлежащему наказанию».

Почему ж Сенявин посмел принять позу обиженного, когда и невооруженным глазом видать было, что он, только он, кругом виноват? Да потому, что генеральс-адъютант мыслил совершенно в духе фаворитизма екатерининского царствования. Он и дознание-то просил учинить, явно гадая надвое: либо до этого не дойдет, а если и дойдет, то кончится для него добром, а для Ушакова срамом.

Мало того. Одновременно с челобитной Потемкину капитан 2-го ранга подал рапорт по команде. Можно подумать: каков молодец — прет напролом. Но можно подумать иное: Сенявин стращает Ушакова — посмотрим-де, чья возьмет, господин адмирал.

И точно, Федор Федорович очень и очень растревожился. Ушаков не первый день жил на свете и ничуть не хуже Сенявина понимал, что такое фаворитизм. И не хуже Сенявина знал, как причудлив норов светлейшего князя Таврического, для которого закон не писан. К тому же ведь было и прямое повеление Потемкина благоприятствовать Сенявину.

В быстрых пушкинских заметках по русской истории брошена мысль о том, что и сама Екатерина, и ее альковные удалцы унизили дух дворянства. Зависимость от своеволия выскочек, подчас дикого, от их прихотей,

подчас сумасбродных, гнула хребет даже твердым натурам. Ушаковские обращения к Потемкину в связи с делом Сенявина подтверждают мысль Пушкина.

Трижды в один день адмирал пишет светлейшему — рапорт, донесение, неофициальное письмо. Уже сама по себе эта троекратность свидетельствует о душевном состоянии Ушакова.

Рапорт излагает суть происшествия. Далее, словно оправдываясь, автор старается внушить адресату: я потому только жалуюсь, что недисциплинированность Сенявина — дурной пример прочим, отчего возможны худые последствия, «особо когда случится быть против неприятеля».

В донесении еще слышнее могов самооправдания: я всегда обходился с Сенявиным учтиво, многое ему спускал, но теперь капитан 2-го ранга оказал неповиновение на людях, в присутствии всех штаб- и обер-офицеров.

А письмо читать обидно. Обидно за Ушакова — такое в письме раболепие: «Осмеливаюсь всепокорнейше просить Вашу Светлость оказать милость и удостоить прочтением моего объяснения и рассмотреть понудившие меня к тому обстоятельства». Но под конец, совсем разволновавшись, весь пылая негодованием на Сенявина (а может, и на самого себя за поправление собственного достоинства), Ушаков объявляет, что готов сдать команду и уехать куда пошлют.

Курьеры (тогда еще не говорили: «фельдъегери») увезли почту. Ушаков и Сенявин стали ждать. Ожидали по-разному: адмирал терзался, капитан 2-го ранга по-прежнему отпускал шуточки, язвившие адмирала. Потом послышался первый раскат грома. Дальний и неотчетливый, он мог быть истолкован и так и эдак: Потемкин вызывал Сенявина в Яссы.

Великолепный князь Тавриды в Тавриде почти не жил. Он жил в молдавском городе. Сенявин, как генеральс-адъютант, навещивался туда не однажды. Город, стекавший по склону холма, Сенявину нравился: там было весело. Севастополь в этом смысле столь же уступал Яссам, как Кронштадт Петербургу.

Потемкина убажжали собственный театр и хор раскольников, украинские музыканты и французские танцовщицы, шуты и ювелиры, лакеи (шестьсот), беложивки (двести), куртизанки (кто их считал?)... У светлейшего играли в карты не на деньги, а на бриллианты; про-



игрываясь, князь не замечал проигрышей. Задавались изысканные пиры, посреди которых Григорий Александрович вдруг требовал себе репы или солдатского артельного кваса; задавались и балы, в разгар которых светлейший, случалось, мрачнел и гнал всех прочь. Из Ясс летали нарочные в Москву — за кислой капустой, в Варшаву — за карточными колодами, в Париж — за театральными костюмами.

Но в Яссах не только кутили. Яссы были тем распорядительным центром, откуда Потемкин управлял обширным краем с прилегающим к нему Черным морем. Управлял напористо, крушил валки чиновников и одолевал турецкое сопротивление, заколачивал в гроб мастеровых и не слишком-то считался с потрохами служивых, хотя и повторял: «Деньги — сор, люди — все!»

Один современник говорил о Потемкине: «Стремясь к предположенной цели, пренебрегал он всеми принятыми системами, методами и порядками, поступал во всем самовластно, не придерживаясь ни правил, ни законов... Он был горд и с презрением обращался с подчиненными ему, но со всем тем был неустраним, великодушен, не мстителен... Словом, он был добрый тиран».

Другой современник, иностранец, в записках, наверное, и теперь хранимых Парижским архивом, так оценивал Потемкина: «Он был чрезвычайно способным. Ничему не учившись, он имел познания. Он творил чудеса; он занял Крым, покорил татар, положил начало городам Херсону, Николаеву, Севастополю, построил везде верфи, основал флот, который разбил турок; он был виновником господства России в Черном море и открыл новые источники богатства для России. Все это заслуживает признательности».

Да, что ни толкуй, Потемкину не откажешь ни во взрывчатой воле, ни в практическом уме, ни в богатырской способности к работе, ни в привычке не сбиваться с главного курса.

Держась близ нашего героя, следует оттенить роль Потемкина в черноморском «устроении».

Он однажды сам о себе сказал:

— Святой Георгий как-то прибыл в один город, где застал не более семи христиан; когда он покинул этот город, в нем оставалось лишь семь язычников. Что ж касается меня, то в то время, когда я приехал, во всем Черноморском флоте было не более четырех фрегатов, тогда как

там было десять турецких судов. Ныне же я располагаю восемнадцатью русскими судами и желаю, чтобы турецких не оставалось более четырех фрегатов.

Дьявольская гордыня: «я располагаю», «я желаю»... Будто не существовало никаких Ушаковых или Сенявиных, сотен моряков и умельцев, сотворивших флот на том море, о котором еще летопись толковала, что оно «словет Русское». И уж конечно, князь Григорий вовсе не брал в расчет мужиков-пахарей, тех, кто и в глаза не видывал кораблей, а только (!) платил за них нищетою и голодухой.

(О мужиках помянуто не для красного словца, довольно-таки привычного. Загляните хоть в роспись государственных расходов на 1787 год, увидите, откуда и сколько рубликов выхватывалось для Черноморского флота. Смоленская, например, губерния уплатила восемьдесят тысяч, Воронежская — двести тысяч, Калужская, родина Сенявина, добавила тридцать пять... И это в пору, когда крестьяне именно этих коренных губерний терпели, как писал князь Щербатов, «непомерный голод», поедая солому, мякину, лебеду.)

Внеся весомую поправку в рассуждения князя Таврического, обратимся к его переписке. И тут уж действительно заметно, как много и охотно занимался он флотом и моряками; всем, кажется, занимался: и рекрутами, и лесом, и порохом, и даже екатеринославской фабрикой, где «могут делать лучше других мест флагдух», то есть шерстяную ткань для флагов

Многие черноморские офицеры душевно льнули к своему заступнику и радетелю, а капитан 2-го ранга Сенявину — особенно. И вот он спешит, спешит в Яссы. Сияет румянцем, кум королю, сват министру. Чем черт не шутит, возьмет светлейший да и опять нарядит курьером в Санкт-Петербург, и опять блеснет ему, Дмитрию Сенявину, милостивая улыбка государыни. А по дороге в Петербург не грех отдать якорек в белокаменной или закатиться в родовое именье, что в двух шагах от милого, тихого Боровска. А то ведь и так может обернуться: дозволит князь своему генеральс-адъютанту погулять в развеселых Яссах.

Некое превосходительство, которое мы еще будем иметь честь встретить, «подбросило» штришки к сенявинскому портрету. Сенявин, мол, тем только и взял, что «хорошо певал русские десни в аванзалах» Потемкина; а

сверх того был «всегда из первых дебоширов, т. е. страстен к пуншу и буйству»\*.

Заметим в скобках: перо генерала дышало мстостью — писало много лет спустя, не в Яссах и не в Севастополе, а на Корфу, писало после того, как вице-адмирал Сенявин отстранил пишущего от боевого дела. Но какая-то приблизительная доля правды все ж просвечивает в ядовитых строчках. Ведь и адмирал Мордвинов, большой благожелатель нашего героя, говаривал, что Сенявин перебродит и будет «хорошее пиво». Значит, «бродил»-таки в молодости Дмитрий Николаевич. Что ж, быть молодцу не в укор...

Но вот и Яссы, город на холме, где Сенявин впоследствии найдет свою любовь, разделенную и пронесенную до гроба. Однако теперь разделенной любви Сенявин не нашел: глаз светлейшего яростным сверлом уперся в рослого, молодцеватого, бравого генеральс-адъютанта, и тот мгновенно сник.

Потемкин, что называется, поставил вопрос ребром — либо публичная мольба о прощении у адмирала, либо долой офицерский мундир, а взамен — матросское платье. Потемкин отобрал у Сенявина шпагу и бросил его в кутузку.

Ушаков мог бы злорадно потирать руки. Но из письма Потемкина к Ушакову осенью того же 1791 года узнаем следующее:

«Дерзость и невежество флота капитана Сенявина, нарушающая порядок и долг службы, подвергли его тяжкому наказанию. Я приказал его арестовать и готов был показать над ним примерную строгость законов, но ваше о нем ходатайство и за уважение к заслугам вашим удовлетворяю я великодушно (хорош смысл: он, Потемкин, великодушен, а не Ушаков! — Ю. Д.) вашу о нем просьбу; я препровождаю здесь снятую с него шпагу, которую можете ему возвратить, когда заблагорассудите. Но подтверждаю притом на поступки его иметь прилежное внимание, строго взыскивать прилежное исполнение должности и, в случае какого-либо упущения, непременно представить ко мне так, как о человеке, замеченном уже

\* Отдел письменных источников Государственного исторического музея (далее: ОПИ ГИМ), фонд 257, д. 1, л. 66 (об.). Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (далее: ОР ГБЛ), фонд 178, д. 9850, л. 17.

в незнании и неисполнении своего долга. О сем имеете дать знать во флот и черноморское правление».

Дело было не только в великодушии Ушакова, хотя и разительном, но и в том еще, что Федор Федорович сберегал лично ему неприятного человека для флота, для военной силы державы.

Между прочим, Потемкин, подобно Федору Федоровичу, глядел на отставленного адъютанта как на ушаковского наследника и продолжателя. И потому обрадовался прощению и примирению. В частном письме, похвалив Ушакова за снисходительность, Потемкин пророчит, что этот Сенявин «будет со временем отличный адмирал и даже, может быть, превзойдет самого тебя!».

Вот бы и точка. Да боюсь, читателю памятно ушаковское восклицание: «Не терплю Сенявина!» Значит, примирение было фальшивое? Нет, Ушаков тут ни при чем. Тут «при чем» Сенявин. На сердце у него остались обида, раздражение, неудовольствие. Несправедливые, но остались, и баста.

Малый срок минул, несколько месяцев, а Сенявин опять «попался». На сей раз сыр-бор загорелся из-за такеджанского мастера капитан-лейтенанта Василия Аржевитинова: «без всякой скромности» он разглашал «неприятные и соблазнительные новости». Источником таких «новостей» оказались два флотских капитана — Федор Поскочин и все тот же Дмитрий Сенявин.

Георгий Шторм, автор книги «Страницы морской славы», утверждает: разговор шел о сочинении Радищева, о российских «высоких особах», о Французской революции. Однако Г. Шторм, щедро снабдивший свою содержательную книгу ссылками на литературу и неопубликованные материалы, в этом случае не дает их.

Мы располагаем лишь одним документом — приказом Ушакова по севастопольскому порту. Из приказа явствует: «язвительные» и «дерзкие» слова касались «правления черноморского». Далее сказано, что «беспокойные» и «вредные» люди разглашали «лживые новости», искажавшие положение на флоте. А замыкает адмирал так: о случившемся не преминет он «представить вышнему начальству».

Посулив громогласно, не мог, конечно, не представить. Вообразите, что поднялось бы, случись Сенявину со товарищи одобрительно беседовать о крамольном путешественнике из Петербурга в Москву! Да, ей-богу, и Сеня-

вин, и Поскочин, и Аржевитинов совершили бы путешествие из Севастополя в Петербург — к крутому и подозрительному генерал-прокурору, в Тайную канцелярию. Ничего столь ужасного с ними не приключилось.

Но если не о Радищеве, тогда, может быть, толковали молодые господа офицеры о Французской революции? Очень может быть. Кто ж в ту пору не судачил о ней? «Прелести французского переворота, — писал современник, — до глубины самой Сибири простирали свое влияние на молодые умы». Нам в Сибирь ходить незачем, сподручнее в Яссы заглянуть, где Сенявин бывал не раз. Так вот, в Яссах (очевидно, в походной типографии Потемкина) русские офицеры легально издавали еженедельный «Вестник Молдавии», помещавший сообщения о событиях во Франции. Дворянские молодые умы поначалу захмелели: наступает, мол, эра «добродетели», «равенства чувств» и т. п.; якобинский террор отрезвил их.

Коварная штука — обнаруживать оппозиционность там, где она и не ночевала. «Дерзость» и «язвительность» Сенявина не имели никакого отношения к «царствующей особе». Ни в молодости, ни в преклонных летах не замечалось в нем даже отдаленного противника монархии.

Что же до Ушакова, то он в этом случае поступал как адмирал Джервис, начальник и учитель Нельсона; первый писал последнему: «Я не опасаясь неповиновения матросов, но боюсь неосмотрительных разговоров между офицерами, их привычки обсуждать полученные приказания. Вот где находится истинная опасность и кроется начало всех беспорядков».

И уж если «возвышать» Сенявина над личными счетами с Ушаковым, то один к тому рычаг: предположить, что дела административные хотелось вести Дмитрию Николаевичу не так или не совсем так, как вел Федор Федорович.

#### 4

Сенявин и до черноморской службы знал военно-морскую службу.

Кадетом бороздил Финский залив, этот садок будущих «Летучих голландцев»; гардемарин ходил в Ледовитый океан, из снежных зарядов которого встал пред ним, как морок, угрюмый мыс Нордкап; мичманом плавал в Атлантике...

Но до черноморской службы Сенявин не знал боевой службы.

Впрочем, и первые его черноморские годы отошли в тишине, разве что погромыхивали учебные стрельбы да топоры стучали на склонах Южной бухты, где обживались первые севастопольцы.

Те годы были лейтенантскими, в лейтенантах Сенявин числился с января 1783-го до мая 1787-го. На фрегатах «Крым» и «Скорый», на 66-пушечном корабле «Слава Екатерины», на двухмачтовом острокильном галиоте «Темерник» он крейсировал у северных берегов Черного моря.

Видел не только волны. Видел древнее и новое.

Древнее пахло теплыми херсонесскими водами, где плавню колыхались бурые водоросли, пахло балаклавской ставридой, горячим камнем крепостных феодосийских руин. Отзвуки эллинского, отзвуки генуэзского замирали в слитном рокоте прибрежной таврической гальки.

Новизна была степной. От нее пахло полынью, подступавшей к землянкам и халупам Николаева, канатами и дегтем молодых верфей, болотами, гнавшими на юный Херсон жестокою лихорадку... Новизна была торопкой и потной. Люди домились под колючим скифским солнцем. По слову медика-современника, все двигалось «вперед с изумительной быстротою», «лес и другие строительные материалы доставлялись в изобилии на казенный счет и продавались весьма дешево», «каждый строивший обязан был строго сообразоваться с планом».

В канун второй войны с Турцией Сенявин увидел столицу Турции. На пакетботе лейтенант возил пакеты, играя двоякую роль — командира суденышка и «дипкурьера». Дешени доставлял он русскому посланнику при Блистательной Порте\*. Этот важный пост занимал Яков Иванович Булгаков, дипломат проницательный, настойчивый, искусный.

Яков Иванович не посвящал лейтенанта в тонкие тайны своей сложной и опасной негоциации, как тогда

\* Блистательной (или Высокой) Портой в русской дипломатической переписке именовалось правительство Турции, Османской империи. Предполагают, что название возникло от названия дворца с высокой дверью (или вратами) — резиденции правительства, дивана. Термины «Блистательная Порта», «Высокая Порта» употреблялись еще в начале нашего века.

называли дипломатию. Но он и не держал Сенявина на дальней дистанции — таков уж был характер, живой и общительный. А лейтенанту страсть хотелось потолковать с человеком, осведомленным в вопросах, которые весьма занимали черноморцев.

Конечно, Сенявин, его друзья-офицеры, дымя трубами и опрокидывая чарку, немало рассуждали о вероятности войны с «великим турком», как европейцы иногда величали султана. В Константинополе, в роскошном дворце русского посла, разрыв между двумя империями представлялся не только вероятным, но очень и очень близким. Покорение Крыма было победой весомой. Турцией она расценивалась как утрата дверей к собственному дому. А какой дом в безопасности, если дверьми завладел сосед, да еще сосед сильный и решительный?..

В 1787 году Екатерина поехала в «полуденные края». Державные правители иногда вояжировали; они якобы жаждали очного общения с народом. На поверку все сводилось к триумфальным аркам и брызгам шампанского, выдаче наград и приему адресов. Народонаселение, принаряженное и припомаженное, оставалось задником театральной сцены. Так же было и при Екатерине. Ее путешествие описано многократно и подробно. А в памяти поколений осталась лишь фальшь «потемкинских деревень».

Впрочем, парадная поездка явилась и своего рода военно-политической демонстрацией. Скопление сухопутных войск, снаряженный к походу флот, иностранные послы и даже сам император Австрии, сопровождавшие государыню, — все это показывало, что Россия не только не намерена отдавать Крым и Северное Причерноморье, а, напротив, намерена и дальше расширяться и укрепляться.

Сенявин в то лето был уж не благородием, а высокоблагородием, не обер-офицером, а штаб-офицером: его произвели в капитан-лейтенанты. И ему не пришлось «седлать» свой пакетбот «Карабут», чтобы везти депеши из Севастополя в Константинополь. Не пришлось, во-первых, потому, что он поехал в Кременчуг, навстречу императрице и Потемкину, дабы доложить о готовности черноморцев к встрече августейшей особы; во-вторых, еще и оттого, что сам Яков Иванович Булгаков поспешил в Россию, дабы получить от монархини и Потемкина

(давнего, еще гимназического приятеля) новые инструкции.

Получил и воротился в стамбульскую резиденцию. Увы, вскоре Булгакова заставили променять посольский дом на Семибашенный замок, что близ Мраморного моря: посол, изволите знать, отказался пересматривать уже подписанные и утвержденные обоими дворами трактаты. То было, в сущности, объявлением войны. Забегая вперед, скажем, что и в темнице Яков Иванович «находил средства» получать и переправлять Потемкину ценную информацию, подчас сверхсекретную, как, например, планы вражеского флота\*.

Стратегия врага была такой: у крепости Очаков, запирающей Днепровский лиман, сосредоточить эскадру и не допустить соединения основных русских морских сил, базирующихся на Херсон и Севастополь; разбить «неверных» по частям; высадить десант в Крыму. Задумано было очень неглупо. Да и поручено не дураку: имя — Эски-Гассан, должность — капудан-паша, то есть командующий флотом; прозвище — «Крокодил морских сражений».

5

В середине августа 1787 года боевые действия открылись в Днепровском лимане. Если Очаков (северный берег лимана) держали турки, то на Кинбурнском носу, на голой узкой «клетше» южного берега, сидел не кто иной, как Александр Васильевич Суворов, человек, который долго на одном месте не засиживался.

Едва мутноватые волны всколыхнули турецкие галеры и быстроходные парусные кирлангичи, как потемкин-

---

\* Выдающийся дипломат обладал и литературным даром. Юношей сотрудничал в одном из журналов Московского университета; в молодости об руку с другом своим Д. И. Фонвизным затевал издание лексикона; человеком зрелым перевел рыцарскую поэму «Влюбленный Роланд» итальянца Боярдо. Известны и другие работы Я. И. Булгакова. В Семибашенном замке он томился два с лишним года. Там убивал тоску, переводя тома «Всеобщей истории путешествий» — обширный труд, начатый англичанином Джоном Грином, продолженный и законченный французом Антуаном Прево, знаменитым автором «Манон Леско». Годы спустя Сенявин встретился с одним из сыновей Булгакова, тоже дипломатом, но уже прикомандированным к Дмитрию Николаевичу, как тот в свое время был прикомандирован к Якову Ивановичу.

ский гонец, не щадя лошадей, помчался в Севастополь. Князь наказывал тамошнему адмиралу «собрать все корабли и фрегаты и стараться произвести дело, ожидаемое от храбрости и мужества вашего и ваших подчиненных».

Севастополь только еще перевел дух после фейерверков, иллюминации и разных «излишеств», вызванных нашествием гостей голубой крови. Город и флот улаживали матушку-царицу в той же мере, в какой опечалили некоторых иностранцев. Например, француза польского ранга и графского титула. Сияя на людях, его сиятельство наедине хмурился. Еще бы! Да ведь отсюда до Стамбула часов сорок хода под парусами; каково бедному султану жить в ожидании, когда «эти молодцы беспрепятственно придут и громом своих пушек разобьют окна его дворца»?

С получением предписания Потемкина домики Южной бухты и Корабельной стороны грустно затихли, а на рейде началось то поспешное и деятельное движение шлюпок и баркасов, которое предвещало уход эскадры в море.

И она ушла, эта эскадра — три линейных корабля и семь фрегатов. На головном был Сенявин, правая рука контр-адмирала Войновича, его флаг-капитан; авангард вел капитан бригадирского ранга Ушаков.

Не победоносным, а бедоносным оказался поход. Если под Кинбурном от врага яростно отбились (Суворова дважды ранило), то у мыса Калиакрия отбиться не было никакой возможности чуть ли не целую неделю. Нет, не от турок — от жесточайшего шторма. Громом пушек не разнесло окон султанского дворца, зато едва ли не к султанскому дворцу занесло беспомощную 64-пушечную «Марию Магдалину», а 66-пушечный «Крым» пропал без вести.

Пропасть бы и флагманский корабль «Преображение господне»: вода в трюме прибывала, корабль уже «при-тонул», матросы натягивали чистое исподнее, чтобы на тот свет явиться в лучшем виде. Надо было обрубить ванты, на которых провисала, раскачиваясь, сломанная мачта. Сенявин схватил топор и в одиночку ринулся вверх. Матросы, ободренные его примером, стали карабкаться следом. Управившись с мачтой, Сенявин кинулся в трюм. Одни помпы не справлялись с забортной водой, другие испортились. Мокрый, грязный, с изодранными

в кровь руками, Сенявин хватал обрезы, кадки, ведра. Он велел «отливаться» чем ни попадя. Тем временем исправили помпы... Трехчасовая каторжная, ломовая работа — и «Преображение» преобразилось.

Израженная эскадра кое-как, словно б на брюхе, поползла восвояси. Докладывая в Черноморское правление о страшном бедствии, командующий почти восторженно отозвался о своем флаг-капитане: «Офицер испытанный и такой, каких я мало видал; его служба во время несчастья была отменная».

В Севастополе Сенявин, едва переведя дух, собрался в дорогу. Войнович горестно писал Потемкину: «Посылаю нарочно капитан-лейтенанта Сенявина, находящегося при мне флаг-капитаном, дабы оный мог подробно обо всем вашей светлости донести».

— Бог бьет, а не турки, — ужаснулся Потемкин.

Все для него окрасилось в черное. Автор «потемкинских деревень» увидел вокруг одних соавторов. Он сделался угрюм, вял, капризен. «Уйми ипохондрию», «не унывай», — взывала Екатерина. А он в ответ предлагал... оставить Крым.

— Что же будет и куда девать флот Севастопольский? — воскликнула Екатерина. — Ты нетерпелив, как пятилетний ребенок. — И она явила большую, нежели фельдмаршал, выдержку и сообразительность. — Проклятое оборонительное состояние, я его не люблю, старайся поскорее оборотить в наступательное; тогда тебе, да и всем легче будет.

«Бог бьет, а не турки» — с этим согласились бы и севастопольцы. Однако в отличие от светлейшего не увязли в «ипохондрии». За семь лет перебедали семьдесят семь бед. А теперь что ж? «Очистить Крым»? Эдакое тому легкой пушинкой, рассуждали моряки, кому пот глаза не ел, кто не дрожал в лихоманке, не обиживался на пустошах и не обживался на кораблях. «Турка зол и силен! — говорили они. — А ты, брат, упорствуй, мужествуй, пробьет час, турнешь турку».

Севастопольские артели, экипажи, команды не вяли в унынье, а поднимались спозаранку — дождь ли со снегом, ведро ли, ветер иль затишье — да и брались за свою привычную работу, давно набившую твердые, чуть не в пятак, мозоли.

В кампанию восемьдесят восьмого года эскадрой по-прежнему командовал Марко Иванович, граф Войно-

вич, авангардом — опять Ушаков Федор Федорович, а Дмитрий Николаевич Сенявин, как и в прошлый несчастливый год, — правой рукой командующего, флаг-капитаном.

Приспел срок. Помолитесь: «Ослаби, остави, прости, боже, прегрешения наша, вольная и невольная... Яже в мори управи. С путешествующими спутьшествуй». И пошли, пошли, пошли в кильватере друг за другом.

Искать пошли турецкий флот. Победу искать или смерть, славу или бесславие. Искали и обнаружили: сперва, как всегда бывает, означились, словно бы грядя кучевых облаков, паруса, полные ветром; затем, ближе, расчертили горизонт мачты; и вот уж все обрисовалось ясно в полуденной ясности. И с обеих сторон, на обеих эскадрах шевелят губами, торопливо загибая пальцы.

Что ж насчитали? Наши не радовались: одних линейных кораблей у врага семнадцать, а у них — два. Селтанская эскадра превосходила Севастопольскую на тринадцать боевых единиц, а числом орудий — втрое.

Эскадры лавировали, отыскивая удобную позицию, прикидывая, как бы сподручнее загубить врага, хотя, казалось бы, при таком соотношении сил турецкий флагман мог и не выгадывать. Но, очевидно, и он полагал за лучшее оплачивать лавры малой кровью.

И вот эскадры очутились близ крохотного — меньше квадратной версты — островка Фидониси (Змеинный), куда, по преданию, безутешная гречанка привезла некогда тело своего сына Ахилла, героя битв с троянцами.

Но командующему, графу Войновичу, не до мифов сейчас было; его реальность ужасала, он всплескивал руками: велик вражина, достанется нам на орехи. И молил командира авангардного отряда Федора Федоровича Ушакова: «Сожги, батюшка, проклятого».

Войнович, славянин из Триеста, восемнадцатый год состоял на русской службе. Марко Иванович, бесспорно, обладал личной отвагой, доказанной на эскадре, учинившей туркам знатный чесменский погром. Но есть храбрость исполнителя и храбрость приказывающего. Войнович не умел и не хотел брать на себя ответственность. А ведь по должности-то обязан был и уметь и хотеть.

Третьего июля 1788 года за полдень неприятель поймал наивыгодную позицию. Он был на ветре, то есть на той стороне, куда дул ветер. А наши были под ветром, то есть в стороне, противоположной той, в которую дул ветер. И турецкий флагман начал горячую игру. Вот ее хроника:

14 час. 00 мин. Двумя колоннами противник спускается к эскадре Войновича.

14 час. 05 мин. Первая колонна атакует русский авангард. Вторая — сковывает русский центр и аррьергард.

Не дожидаясь приказа флага, Ушаков посылает передовые фрегаты своего отряда навстречу неприятелю.

14 час. 45 мин. Отражение атаки противника на русский авангард. Всеми силами своего отряда Ушаков переходит в контратаку. Корабли неприятельского авангарда отходят. Ушаковский линейный корабль «Св. Павел» вступает в бой с «Капуданией», флагманским кораблем турецкой эскадры, нанося ему тяжелые повреждения корпуса и рангоута.

16 час. 55 мин. «Капудания» прекращает бой и уходит на юг, увлекая за собою всю турецкую эскадру.

Итак, «Крокодил морских сражений» бежал. Правда, неприятельский флот не был пущен ко дну. Зато не был допущен ни к Очакову, осада которого началась как раз в те июльские дни, ни к Севастополю, где опасались высадки десанта. И в этом «недопущении» состоял успех баталии близ острова Фидониси.

Хроника, приведенная выше, непреложно свидетельствует: победителем был Ушаков; Войнович остался непобежденным по милости Ушакова. Граф лишь отвечал противнику, а не задавал ему вопросы, защищался, а не нападал. Поздравляя младшего флагмана, старший воскликнул: «Мне все было видно!» То-то и оно: видно... Видел, как Ушаков дрался, но не подоспел на помощь, не ввязался в драку. И замахал кулаками лишь после драки: в донесениях Потемкину умалил заслугу Ушакова\*.

\* Впрочем, это не выручило Марко Ивановича. Разиня граф навлек на себя праведный гнев светлейшего. В 1790 году Ушаков, произведенный в контр-адмиралы, был назначен командующим Севастопольским корабельным флотом.

Но если Войновича не осенили крылья славы, то все же «де-

Заслуга не была мимолетной. Она надолго определила фарватер и уровень русского военно-морского искусства. Она отвергала старое и утверждала новое. Отметались замшелые каноны формальной линейной тактики; провозглашались принципы маневра, инициативы, сокращения врага по частям, нанесения удара по адмиральскому кораблю, сближения с противником на дистанцию картечного выстрела, то есть почти вплотную, включения фрегатов в боевую линию...

Войновичу «все было видно». Его флаг-капитану Сенявину тоже. Но видели они по-разному. Один — ничего не понимая и не принимая. Другой — памяливо, цепко, смекалисто, попросту говоря, наматывая на ус.

## 6

Какие бы тучи ни заволакивали отношения Ушакова и Сенявина, но в море, под огнем, на палубах первый был учителем, второй — учеником. И уже осенью Сенявин показал себя учеником, достойным учителя.

Впрочем, до осеннего рейда совершил он летний рейс, ничуть не опасный, напротив, лестный самолюбию и выгодный для карьеры. После Фидониси он отправился вестником победы к Потемкину, в главную квартиру близ Очакова (там, в главной квартире, очевидно, встречал Суворова); от Потемкина полетел курьером в Санкт-Петербург и «удостоился высочайшей аудиенции». На флот воротился уже капитаном 2-го ранга. И спустя несколько недель, в сентябре, ушел в крейсерство к берегам Турции.

Рапортуя о сражении при Фидониси, Войнович хвалил своего флаг-капитана: «отменно храбр и неустрашим». Не сомневаясь в доблести Сенявина, признаемся втихомолку, что в бою у Фидониси Дмитрий Николаевич находился очень близко от Войновича и очень далеко от Ушакова. Стало быть, жаром настоящего сражения его не опалило.

Зато теперь, в сентябре — октябре 1788 года, командуя четырьмя судами, свободный от рохли Войновича, вольный распоряжаться сам, Сенявин, что

нег и чинов» он «спокойно, в очередь добился» и мирно почил полным адмиралом в 1807-м, в тот год, когда его бывший флаг-капитан одерживал громкие победы.

называется, развернулся во всю ширь своей удалой натуры.

Операция была набеговая, диверсионная, первая такая операция в еще недолгой истории нашего Черноморского флота. Поход требовал качеств, свойственных молодости. Сенявин решил задачу с блеском, присущим не столько молодости, сколько таланту. Боевая сенявинская слава началась там, где нахимовская достигла зрелости, — у Синопа.

Сенявин ворвался в синопские воды, очевидно пользуясь картой, заблаговременно составленной лейтенантом Плещеевым. Ворвался, с ходу напал на пятерку вражеских судов. «Турки, — говорилось в современном документе, — отбивались от наших со всею горячностью». Одно их судно сломя голову наскочило на риф; «тогда слышно было большой жалостный крик тошнившегося народу»; другое попало в плен. Береговая артиллерия, опомнившись, стала палить тяжелыми ядрами. Сенявин поворотил и был таков.

Держась анатолийских берегов, похожих на таврические, капитан 2-го ранга шел к «местечку Вонна». Но слухам, там готовились транспорты с войсками. Слух оказался «непроверенным»: транспорты не обнаружались. Обнаружились пехотинцы и кавалеристы; посудины, груженные пенькой и лесом; провиантский склад и береговая батарея. Груженные посудины Сенявин утопил, а батарею подавил; склад поджег, а сухопутного недруга осыпал картечью. Также «гульнул» он близ «большого города Гересинда» (на нынешних картах — Керасунда). Там были четыре транспорта и войска. «Множество народу турецкого жестоко защищали суда». Сенявин не менее жестоко бомбардировал их. Суда затонули. «По окончании сего знатного дела при попутном ветре снялся с якоря из-под города Гересинды и направил плавание к таврическим берегам».

Посылая Сенявина к южному побережью Турции, Потемкин сказал:

— Бог да сохранит тебя, Дмитрий, в предстоящих тебе опасностях; исполняй долг свой, а мы не оставим о тебе молиться.

Сенявин исполнил долг свой. Потемкин тоже: капитан 2-го ранга получил Георгия. Впрочем, «неподкованного». А вот Мордвинов, Николай Семенович, испрашивая такую же боевую награду для одного храбреца

офицера, прибавил, что коня-де хорошо бы и «подковать»: на орденских знаках Георгий изображался всадником; предлагая «подковы», Мордвинов пояснял: «тощ он и не сытен», то есть офицер, мол, нуждается еще и в денежном пособии.

О своем генеральс-адъютанте Потемкин, должно быть, эдак не думал, хотя, правду сказать, Сенявин не был богат.

7

Ноябрьской порой Севастопольскую эскадру валяло с борта на борт у длинной Тендровской косы. Эскадра караулила турецкий флот — чтоб не прорвался к осажденному Очакову.

На эскадре мокли матросы, грызли ржаные сухари и думали, что на всем божьем свете не осталось ни пяди сухой, теплой. А там, за песчаной косою, за бурым лиманом, русские солдаты пробавлялись прогорклой кашпцей и яростно щелкали «купчиху» — злую вошь.

Осада Очакова затягивалась.

Штормило по-зимнему, упорно, круто, беспросветно. Неприятель не показывался. Русская эскадра ушла в севастопольские бухты.

В декабре разнеслась весть: Очаков взят. Говорили: знамена ее императорского величества полощут над павшей твердыней. Об ужасных потерях не говорили.

В 1789-м армия явила смелость, которая города берет. Победа при Фокшанах, победа при Рымнике — Суворовская слава. Победа при Гаджибее, где потом возникла Одесса, — честь генералу Гудовичу.

А моряки как воды в рот набрали. Корабельных сражений не приключилось: турки, не принимая боя, ускользали, увертывались, исчезали за горизонтом.

Сенявину в тот год довелось совершить «ледовый переход». Потемкин поручил ему провести корабль «Св. Владимир» под носом турецких батарей, имея под корабельным носом льды лимана. «Надобно было обладать сердцами своих подчиненных, — замечает литератор, знавший Сенявина, — чтобы совершить сие отважное предприятие». И еще, добавим, надо было обладать искусством изощренного навигатора.

Переход на «Св. Владимире» принес Сенявину орден св. Владимира. Один современник серьезно уверял, что

орден учредили «по случаю» многотрудного подвига Сенявина и его матросов. Чудная ошибка! Ведь на Владимирском кресте четкая дата: 1782. Не ради капитана 2-го ранга пополнили российскую орденскую колотку, а в честь двадцатилетия царствования Екатерины Алексеевны. Но что верно, то верно: Сенявин получил право носить свой темно-красный эмалевый крест, «как отличившимся при Очакове повелено, с бантом».

Набеговая операция, крейсерство на коммуникациях противника, проводка кораблей — все это было не только школой морской и военно-морской, но и практикой мужества.

Душа не развивается в бездействии; оцепенелая, она дряхлеет прежде тела. Нет ничего постыдного в чувстве страха. Постыдно другое: отсутствие стремления выйти из этого состояния. Ушинский прав: не привычка переносить страх, а привычка одолевать страх увеличивает смелость.

Высший, академический курс морской науки побеждать, а равно и высший курс воспитания и испытания чувств Сенявин, как и многие черноморцы, прошел в две летние кампании.

Фидониси было дебютом. Ярким и впечатляющим, но дебютом. Приняв от Войновича флот, Ушаков распрямил плечи. В девяностом году он дважды нанес неприятелю поражения стратегического размаха: в Керченском проливе (июль), у острова Тендра (август), а летом следующего года сокрушил врага у мыса Калиакрия.

Биограф Ушакова обязан был бы подробно воспроизвести эти классические операции, совершенные вопреки классическим шаблонам. Здесь важнее означить капитальные черты черноморских баталий — они запечатлелись в душе и сознании Сенявина.

Согласно каноническим правилам маневр всегда и везде жестко подчинялся линейному построению эскадры, ведущей бой. Ушаков линейное построение подчинил маневру. В сущности, все его победы — это маневр в сочетании с огнем, маневр и еще раз маневр в сочетании с огнем.

Он охватывал фланги, разрубал строй противника. Первым применил тактический резерв. Любезный ему прием заключался в ударе «по голове» — выведет из игры флагмана, и у противника, непривычного к само-



стоятельности, переполох, паника. Не довольствуясь отступлением врага, Ушаков, преследуя, изничтожил его... Понятно, что столь «живая» тактика нуждалась в столь же «живых» исполнителях. Отсюда особенности организации службы и учений.

Порывистая храбрость и отчаянная удаля не всегда сопряжены с военным мастерством. Высокое военное мастерство всегда сопряжено с высоким мужеством. Не только оттого, что сам по себе подъем на высоту требует отрицания прежних уровней. Но и потому еще, что проявление этого мастерства невозможно без громадной личной ответственности.

Ушаков брал ее на загорбок с той внешней невозмутимостью, с какой берет пудовые поклажи богатырь-грузчик. Ушаков отвечал за флот перед государством и собственной совестью. Отвечал за корабли, которые были для него существами почти одушевленными. И за людей, которые не были для него бессловесным инвентарем.

Сенявин оказался редкостно удачлив не милостью Потемкина, не ходкостью карьеры, а тем, что судьба свела его с Ушаковым, хотя по иронии той же судьбы оба были недовольны друг другом. Нет, младший не любил старшего... Тут не усмотришь сходства, например, с Нахимовым или Корниловым, которые испытывали к своему наставнику Лазареву чувства задушевные. И не усмотришь сходства, скажем, с Нельсоном, благоговевшим перед суровым Джервисом. Но что бы ни было, а Федор Федорович Ушаков стоял перед Сенявиным как образец флотовождя.

Впрочем, и Ушаков мог счесть себя удачливым: у него был наследник. Строптивый, подчас неприятный и раздражающий, но был. Потому-то Федор Федорович и говаривал: не терплю Сенявина, а флот передал бы, доверил бы только Сенявину.

Падение Очакова полыхнуло туркам грозным знаменем. Известный читателю Яков Иванович Булгаков не без юмора сообщил Потемкину: «Султан, совет, большие бороды — плачут; все желают мира».

Желая мира, «большие бороды» продолжали слать на смерть правозверных, надеясь на помощь Запада. В силу разных обстоятельств подмога мешкала. Между тем суворовские, кутузовские, ушаковские победы гнули Порту все ниже, все ниже и наконец поставили на колени.

**В** рождественские дни 1791 года победители и побежденные заключили мир. Мир подписали в Яссах,

где повелительные грани  
Стамбулу русский указал.

Султан отрекся от притязаний на Крым и Грузию, отдал побережье от устья Днестра до устья Кубани. Россия, как тогда говорили, «показала себя во уважительной осанке».

Выигрыш был не только в увеличении политического веса. Выигрыш был не только для помещиков — они получали новые плодородные земли; не только для купцов — они обретали выход в южные моря. Победа над султаном и турецкими феодалами объективно оказывалась благом для народов, находившихся под игом полумесяца.

Тишина легла на Черное море и причерноморские степи. Легла тишина и на море Балтийское, на гранит Финляндии: русско-шведская война отгремела, как отпылала и русско-турецкая. Но тысячи и тысячи оставались в казармах, оставались на кораблях.

Умерла Екатерина, короновался Павел. Ударили гатчинские барабаны, залились бубенцы фельдъегерских троек. Павел, по слову Карамзина, «благородный воинский дух» старался заменить «духом капральства», «презирал душу, уважал шляпу и воротники».

Как смириться с «капральством» выученику Суворова или Ушакова? Воинский дух купили кровью и порохом подзвернили. Он слишком дорого стоил, чтоб его отдали задешево. Кто отдавал, отрекался от самого себя.

Сенявин не принадлежал к отступникам. Командовал кораблями, участвовал в практических крейсерствах, построил в Херсоне 74-пушечного «Св. Петра», вывел его в море. Тридцати трех лет от роду получил капитана 1-го ранга.

В ту пору познал он чувство, которому покорны все возрасты и все чины.

Какова была Тереза, дочь австрийского генерального консула в Яссах? Вопрос не пустяковый в быстротекущей жизни: одному с женою горе, другому радость. Не пустяковый, выходит, и для биографа. Увы, пишущий эти строки ничего не отыскал для каких-либо суждений о капитанше Сенявиной. И, не отыскав, вынужден поступить на манер тогдашних военных судей — не обнаружив улики,

они выносили резолюцию: «сие обстоятельство предать воле божией, пока впредь само объявится».

Одно можно сказать: женился Сенявин не по расчету — какое приданое урвешь от сравнительно не крупного чиновника дипломатического ведомства? И не скуки ради — в Севастополе и Херсоне матросам девок не доставало, а уж господам-то офицерам отказа не было.

Сенявин женился по любви. Он прожил с Терезой Ивановной до гроба. Шесть раз была она на сносях, принесла трех сыновей и трех дочерей. Первенец Николай родился в 1798 году.

И в тот же год Дмитрий Николаевич ушел в море. Ушел надолго.

## 8

От колыбели первенца унесли Сенявина ветры и течения морей. Однако не только они, но ветры и течения большой европейской политики.

Безопасность обретенного юга, расцвет южнорусской торговли увязывались не с одной лишь турецкой проблемой. За спиной Порты маячила Франция. Там происходили коренные и решительные перемены, но интересы купцов и мануфактуристов не менялись — ни в восточной части моря Средиземного, ни в Архипелаге, ни на Ближнем Востоке. И недаром французский посол, сопровождавший Екатерину, был весьма раздражен и огорчен при виде юного Черноморского флота, готового, как он говорил, громом своих пушек высадить стекла султанского дворца.

А там, в серале, в резиденции султана, французские дипломаты, не жалея сил, подогревали антирусские настроения. В то же время французские военные проектировали, как и когда разрушить и Херсон и Севастополь.

(Наблюдалось, правда, и другое стремление: пользуясь Черным морем, завязать с русскими прямые торговые отношения, потеснив, а может, и устранив английское посредничество. В Херсоне, например, возник торговый дом марсельского купца Антуана. Однако сложные обстоятельства, как политические, так и экономические, помешали этому делу встать на крепкие ноги.)

Русская агентура отмечала наплыв французских офицеров в столицу Османской империи. Они кипели на

верфях и в арсеналах, на береговых батареях и учебных плацах. Генерал Бонапарт добивался командировки в Порту и даже составил «памятную записку» об организации турецкой артиллерии. А пехотный офицер Анри де Раншу — будущий супруг одной из будущих любовниц Наполеона — заведовал в Константинополе офицерской школой.

Надо отдать должное французским штабистам: они мыслили логично — ради полного господства на Черном море северная держава непременно потянется за пределы Черного моря. К тому ж Парижу, вероятно, были ведомы петербургские проекты «открытия пути к самому Царю-граду». В Зимнем, конечно, не могли спокойно дожидаться, когда проливы вспенит французский флот, прущий в Черное море.

А это могло случиться.

И не случилось по вине... самих французов.

Бонапарт час от часу набирал силу, влияние, вес, «широко шагал мальчик». Ему грезилась империя, поглотившая Ближний Восток. Он бросился на Египет, захватил Ионические острова, вторгся в Сирию. И перегнул палку: турки струхнули. Они испугались французов больше, чем русских. Давние друзья обернулись врагами, а давние враги — друзьями. Стамбул решился на союз с Петербургом. Без единого выстрела исполнилась золотая мечта северных дипломатов и стратегов: проливы Босфор и Дарданеллы открыты русскому военному Черноморскому флоту.

В Париже закусили губу. В Лондоне радовались успехам французов, однако не радовались успехам русских. Британский посол в Стамбуле одной рукой поддерживал локоток русского коллеги, другой — хватал коллегу за фалды.

Послом был Спенсер Смит, ему помогал родной брат — Сидней Смит (этого Сиднея, отважного и упрямого, мы еще повстречаем на сенявинских дорожках). Братья трудились не за страх и не за совесть, а «за мошну». Пайщики Левантской компании, владельцы коммерческого судна, они ох как не желали выпускать из английских рук русский экспорт.

Но пока у королевской Англии и у императорской России один генеральный враг — Наполеон. И надо бежать в одной упряжке, при этом, впрочем, недоверчиво косясь друг на друга.

Согласие России и Турции еще только нарождалось, а неподалеку от Босфора уже означилась эскадра Ушака-паши, как в Стамбуле звали Ушакова.

В августе 1798 года капитан 1-го ранга Сенявин, командир линейного корабля «Св. Петр», увидел Константинополь, как видывал его некогда лейтенант Сенявин, командир пакетбота «Карабут». Но если карапуз «Карабут» сиротел на якорной стоянке у враждебного города, то многопушечный «Св. Петр» занимал свое место в походном порядке эскадры, прибытию которой, как доносил Ушаков, «бесподобно обрадовались» в Константинополе.

И вот не для боя, а ради союза сблизилась турецкая и русская эскадры. Первой командовал вице-адмирал Кадир-бей: четыре линейных корабля и шесть фрегатов, четыре корвета и четырнадцать канонерских лодок. Второй командовал вице-адмирал Ушак-паша: шесть линейных кораблей, семь фрегатов и три посыльных судна. Кадир-бей располагал в общей сложности 408 орудиями и 6 тысячами бойцов; Ушаков — 792 пушками и командой в 7400 душ, включая 1700 десантников. (Прибавьте эскадру Горацио Нельсона, рыскавшую в Средиземном море, и, право, не позавидуешь французам.)

Русско-турецкий флот под главным начальством Федора Федоровича Ушакова лег курсом на Ионические острова.

Минуло больше года, как Бонапарт оттяпал владения некогда громкой Венеции, в том числе Ионический архипелаг: острова Корфу, Кефалонию, Св. Мавры, Итаку, Занте, Паксо и другие.

Архипелаг, омытый морем Ионическим и морем Адриатическим, вставал как бастион. Владеть им было столь же выгодно, как и Мальтой. Бонапарт не хуже прочих сознавал значение архипелага. Он захватил эти острова отнюдь не ради воспоминаний о хитроумном Одиссее, как захватил Египет не для того, чтобы витийствовать у подножия пирамид, а для того, чтобы выйти на фланг Османской империи.

Поначалу иониты, как и все греки, возликовали: «Свобода, равенство, братство!» Желтый лев, изображенный на флаге Венеции, долго и крепко держал в когтях ионитов. Венецианцы давили греческую торговлю; венецианцы-католики преследовали греков-православных. Первое било по карману, второе — по сердцу. А тут является бодрый французский генерал, и ему плевать на

любую конкуренцию, кроме карьерной, и на любое молитвословие, кроме осанны Наполеону Бонапарту.

Но очень скоро обнаруживается непреложная истина — оккупация всегда оккупация. Налоги не только сохранены, но и увеличены: что поделаешь, граждане, война! Не только увеличены, но и получают в «довесок» налог на экспорт: что поделаешь, граждане, война должна кормить сама себя! Мало того. Французы точно магнитом притягивают к архипелагу английский флот. Англичане флегматично сосут трубки, жуют ростбиф и лежат как бульдоги на подступах к островам. Ввоза нет, значит, и хлеба нет, на Ионических он не родится. Вывоза нет, значит, виноград-коринка, растительные масла и фрукты не находят сбыта.

Взоры обращаются на восток. Точнее, на северо-восток. Со времен Петра, со времен Екатерины в сознании греков возникла и укрепилась мысль о помощи со стороны единоверной России. Недавние победы русских на суше были известны грекам по рассказам и газетам; о победах на море свидетельствовали очевидцы\*.

В душистой кофейне, у медленной домашней свечи, в церквах, устланных лавровыми листьями, в тесных двориках — везде перешептываются: «русские», «Россия». Доходит и до открытого изъявления симпатий. На острове Занте, там, где длинная гряда гор, с которых виден невысокий берег Пелопоннеса, июльским знойным днем вдруг меняют один трехцветный флаг на другой, с иным расположением полос, меняют, громко восклицая: «Да здравствует Павел Первый!»

Греки привечали Романовых не за то, что они Романовы. У греков, как и у балканских славян, все русские цари были на один лик. Но этот лик олицетворял одну страну — великую державу, откуда чаяли избавителей.

А что ж в Санкт-Петербурге? Что и как раздумывают в Зимнем, в коллегиях иностранной, военной, адмиралтейской?

Представление о лениности и глупости высших сановников не всегда верно. История знает не только честолюбивых, но и трудолюбивых, не только туго думающих, но

\* Участие греков (как волонтеров, так и числившихся на действительной службе) в боевых подвигах Черноморского флота отобразено обильной документацией. И Потемкин, и Ушаков, и Мордвинов неоднократно отмечали их пылкую храбрость, стойкую преданность, навигаторское искусство.

и думающих скоро, не только поддакивающих, но и перечащих. Конечно, проблемы военные и политические эти сановники решали своекорыстно. Однако положение единокровного балканского славянства, положение единовременных греков подчас вызывало в душе нефальшивый, сочувственный отзыв.

Теперь прикинем. Было ль выгодно царизму освободительное движение на Балканах, подвластных Стамбулу? Несомненно. Всякое ослабление султанской Турции усиливало царскую Россию. Были ль на руку порывы греков? Несомненно. Но есть климат и есть погода, есть политика коренная и есть политика текущая. А последняя понуждала к осторожности. Ведь стремительный Бонапарт отшатнул Турцию. Стало быть, петербургская стремительность могла снова бросить ее в объятия Франции. Приходилось считаться и с британцами. Наконец, «местные условия» заставляли оглядываться на Али-пашу, албанского правителя, лишь формального вассала султана.

Обычно Али изображается сторонником западной ориентации. Иногда вспоминают его попытки завязать отношения с Потемкиным и Безбородко (а позже с Сенявиным) и тогда поговаривают о русской ориентации. На деле паша ориентировался на собственную персону. Как всякий феодал, он желал «округлиться»; Ионические острова, в частности, весьма прельщали его.

Четко, как с грот-мачты в ясный полдень, Ушаков представлял «шхерную» разноречивость политического положения. Но покамест все помыслы флотоводца сосредоточены на боевых действиях.

9

В исходе сентября 1798 года два русских фрегата набежали на остров Цериги (Китира). Обстреляли крепость, сбросили десант, выбросили французов из крепости.

Подражая кинематографу, остановим кадр. Он того достоин. Именно в сентябре 98-го, именно эпизодом на островке открывалась громадная долголетняя кровавая эпопея борьбы России с Наполеоном. В Средиземном море вооруженные силы впервые столкнулись с наполеоновскими. Столкнулись и победили... Далеколько еще до падения Парижа. На путях к нему еще горькие поражения, зловеще озаренные московским пожаром.

Это так. Но флотские во все години антинаполеоновских войн поражений не знали. Это тоже так.

Впрочем, и Ушакову, и капитан-лейтенанту Шостаку, взявшему крепость, и французскому коменданту, сдавшему крепость, — никому, ни единой душе на свете не дано видеть «всю ленту». И люди продолжают делать свое дело, не цепenea в тщетных потугах мыслью пронзить завесу будущего.

Ушаков делал свое дело с быстротою, ничуть не похожей на суетливость. Он его делал как-то очень уверенно, словно бы на Ионических островах расположились какие-то бесцеремонные постояльцы, и вот ему, Ушакову, приходится наводить порядок.

Постояльцы съезжать не торопились. Не только не торопились, но и сопротивлялись наводившему порядок. Когда заходит речь о неприятеле, его противодействие чаще всего характеризуют как «отчаянное». Отчаяние предполагает осознание неизбежности поражения. А французы о нем и не думали. Какое там! Молодая яркая слава Бонапарта, гордость многократных победителей, еще не истраченный энтузиазм «детей свободы» — все это бодрило солдат, вскидывало голову офицерам, и они дрались храбро, умело, упорно, жарко.

Ушаковские победы на море не были ни случайными, ни легкими. Не фортуне он прислуживал, а заставлял фортуна прислуживать. И не в очередь остров за островом прибирал Ушаков греческий архипелаг, а рассылал к островам сподвижников. Экспедиция в Средиземное море была экзаменом после академического черноморского курса.

Отряды поручались капитанам первого и второго рангов — людям, искушенным не только в эскадренных, но и в отдельных плаваниях. Обычно этим отрядам придавались и турецкие суда; на первых порах их экипажи обладали достаточным воинским духом.

Сенявинский отряд состоял из двух равных половин: русский линейный корабль и фрегат; турецкий линейный корабль и фрегат. В октябре Дмитрий Николаевич привел свою четверку к острову Св. Мавры (Левкас). Предстояла высадка десанта и осада крепости. Но Сенявин поступил как бог — вначале было слово. А генерал Миоле, начальник гарнизона, поступил как честный солдат — наотрез отверг капитуляцию.

С кораблей свезли десантную партию. Десантники

зацепились за береговую кромку и укрепились на берегу. Начали возводить артиллерийские батареи. Примечательной особенностью осадных работ были не инженерные новшества, а помощь местных жителей. (Следует особо подчеркнуть, что с появлением кораблей Ушакова содействие греков выказалось немедленно и внушительно, хотя островитян не шутя беспокоило присутствие турок, врагов давних и немилосердных.)

Батареи построили. Начался обстрел крепости. Она отвечала контрбатарейной пальбой. Дуэль длилась двое суток. Потом Сенявин вторично прибег к красноречию. Француз, как истый француз, в риторике не уступил русскому. Капитуляция не состоялась. Состоялась вылазка: отряд в триста штыков, грохоча боевыми барабанами, вышел из ворот крепости. Барабаны не заглушили «ура» сенявинцев, и французы «учинили ретираду». В последний день октября подоспел адмирал Ушаков, и в первый день ноября генерал Миоле сдался.

Союзники взяли богатые склады боезапаса и продовольствия; взяли шесть десятков орудий, которые уже не нуждались в боезапасе, и полтысячи пленных, которые еще нуждались в продовольствии.

Ушаков так оценил личного недруга: «...Командовавший отдельным от эскадры отрядом капитан 1-го ранга и кавалер Сенявин при взятии крепости Св. Мавры исполнил повеления мои во всей точности. Во всех случаях принуждая боем оную к сдаче, употребил он все возможные способы и распоряжения, как надлежит усердному, расторопному и исправному офицеру, с отличным искусством и неустрашимую храбростью».

Апофеозом ионической «симфонии» прозвучало овладение главным островом архипелага — островом Корфу.

Вообразите старинную циклопическую крепость, обновленную учениками Монталамбера\*. Ее орудия равнялись числу орудий десятка линейных кораблей, а за ее стенами укрывалось три тысячи отборных бойцов. Французская эскадра и укрепленные скалистые островки защищали морские подступы к цитадели.

Бои оказались тяжкими. И длительными: с октября 1798 года по февраль 1799 года. Длительность объясня-

\* Марк Монталамбер (1714—1800) — французский генерал, военный инженер, автор системы фортификации, широко распространенной с конца XVIII столетия.

дась как материальной мощью крепости, так и моральной немощью турецкого союзника — он с каждым днем терял желание сражаться.

Победа воспламенила даже Суворова, к победам привычного:

— Великий Петр наш жив! Что он, по разбитии в 1714 году шведского флота при Аландских островах, произнес, а именно: природа произвела Россию только одну: она соперниц не имеет, — то и теперь мы видим. Ура Русскому флоту!.. Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя мичманом?

Сенявин при Корфу был капитаном 1-го ранга. Как и на Св. Мавре, явил он «отличное искусство и неустрашимую храбрость». Сенявин участвовал во всех важных предприятиях, где гений Ушакова достиг зенита — подобно хирургу-виртуозу, Федор Федорович применял (то врозь, то оптом) разнообразные «инструменты»: корабельные поединки, блокаду, десанты, обработку противника корабельной и полевой артиллерией, общий штурм бастионов.

Овладение Ионическими островами — первая, но не последняя глава саги об Ушакове и ушаковцах: адмирал повел флот к берегам Италии, оккупированной французами. Его корабли взаимодействовали с тем, кто хотел быть при Корфу «хотя мичманом».

10

Военачальники, даже самые выдающиеся, отнюдь не всегда политики. А политики, даже самые блестящие, редко-редко и военачальники. Феномен Ушакова — в слитности обоих дарований.

Эта особенность важна не одному биографу Ушакова. Она важна и биографу Сенявина. Потемкин предрекал: «Будет со временем отличный адмирал». Ни Потемкин, ни Мордвинов, извинявшие молодому Сенявину «разгульную жизнь», ни Ушаков, которому разгульность претила, не предсказывали, что ученик сравняется с учителем и на дипломатическом поприще.

А он сравнялся. Но об этом позже.

Теперь надо бы приглядеться уже не к боевой, а к политической практике Ушакова. Она оказала влияние на Дмитрия Николаевича Сенявина.

Покойный академик Тарле отметил в Ушакове «про-

ницательность, тонкость ума, понимание окружающих, искусно скрытую, но несомненную недоверчивость не только к врагам, но и к союзникам». Ушаков, продолжает Е. В. Тарле, по существу, самостоятельно вел русскую политику и делал большое русское дело на Средиземном море.

Оставлю за бортом отношения с англичанами. Скажу только, что спокойная независимость русского флотоводца бесила британского флотоводца. «Эти люди», негодовал Нельсон, разумея Ушакова и его капитанов, «заботятся только о том, чтобы приобрести себе порты в Средиземном море...». Ах, какой эгоизм! Можно подумать, что Нельсон и его капитаны были филантропами. Овладение Ионическими островами и вовсе разъярило Нельсона: «Я ненавижу русских...» Однако знаменитый сын Альбиона строил Ушакову любезную мину, как, впрочем, позднее другие, не столь знаменитые сыны «дарили» любезностями Сенявина.

Отношения с турками за бортом не оставишь. Причина двоякая. Во-первых, главным тут был «ключ Адриатики», Ионический архипелаг. Во-вторых, в числе мотивов, которыми руководился Ушаков, усматриваешь не только рациональные, но и эмоциональные. А эти последние владели (когда пришел его час) и Сенявиным, хотя он, как и Ушаков, умел чувства подчинять разуму.

Так вот. Турки, хоть и уваливали от ратной работы, имели юридическое право на вмешательство в послевоенное гражданское устройство ионитов.

Ионические острова не походили на тихоокеанские. В пальмовой Океании путешественника умиляла простота «детей природы»; здесь, в греческих морях, он мог умиляться, лишь перечитывая Гомера. Патриархальности не было. В ушаковских и других документах там и сям встречаешь — «первый класс», «второй класс»... «Первый» — это дворяне; «второй» — буржуа и мужики, хотя слово «мужик» как-то не вяжется с представлением об Элладе.

«Первоклассники» не обнимались с «второклассниками». Приведу характеристику тех и других, нигде, кажется, не приведенную. Ее ценность в ее авторе: он принадлежал к «первому классу»; правда, не греческому, а российскому. Князь Вяземский жил на Корфу, посетил многие Ионические острова, стало быть, не за-

летний вояжер. В его дневнике есть такая выразительная запись: «Чернь честна и благоправна. Дворяне без чести и без характеров, но обожают наружный блеск и богатство»\*.

С подобной аттестацией согласился бы и Ушаков. Немало трудов, усилий, хлопот израсходовал адмирал на то, чтобы как-то примирить враждующих. Ему очень хотелось «тишины и благоденствия».

Отнюдь не демократ в принципе, он на деле подчас брал сторону демократии — «черни», «второго класса». Составляя конституцию Ионических островов, адмирал-монархист расходился с монархами. И Павел I, и Селим III, «повелитель правоверных», соглашались с республиканским образом управления архипелагом: так-ва, увы, местная традиция. Но заморские самодержцы добивались самодержавия ионического дворянства, а Ушаков полагал необходимым допустить в выборный сенат и представителей «второго класса».

Ушаков не только симпатизировал простолюдинам-грекам, сражавшимся бок о бок с моряками и десантниками. Нет, адмирал был и дальновиден: земледельцы и торговцы уповали на протекторат России, а дворяне — на протекторат Турции.

Ушаков слышал не однажды: «Не хотим никого над собою правителем, кроме русских!» И потому писал в Петербург, что народ скорее согласится «быть под французами, нежели под турецким владением». Несколькими годами спустя русский посланник на Корфу специально выяснял настроения ионитов. И выяснил, что «низы» «расположены в пользу России», а вот «верхи»... Посланник, замаявшись, осторожно молвил, что не может того же сказать о «верхах».

«Чернь» отличалась и горячей приверженностью к православию. Не знаю, глубоко ли религиозен был Федор Федорович, но, конечно, он не оставался равнодушным, заслышав «ранний звон колоколов, предтечу утренних трудов». Русские, очутившись среди греков или южных славян, испытывали светлое чувство к единоверцам. Не фанатизм, нет, просто отрадно вдали от «милого севера» чужать привычное с младенчества, такое же, как в отчем доме, как у твоих стариков, как у всех, кто остался там, на родине...

\* ОР ГБЛ, ф. 178, д. 9848, л. 39 (об.).

Вечер восемнадцатого столетия, утро девятнадцатого отмечены переменной скорости Истории. Дело не в том, что люди заторопились жить и заспешили чувствовать, это уж было производным. Суть в том, что вулканические события Французской революции и перерождение ее в режим контрреволюционный, наполеоновский, вытряхнули Историю из скрипучего бабкиного рыдвана, и она полетела как на почтовых. Многие тогда казалось неожиданным.

Очевидно, неожиданным показался морякам Ушакова и отзыв эскадры в Севастополь. Россия выпшла из антифранцузской коалиции, кораблям России надлежало выйти из Средиземного моря. И они покинули его, покинули гавани, порты, острова, где свершилось столько подвигов и пролилось столько крови. Покинули и Корфу. Это случилось в 1800 году.

Однако «ключ Адриатики» не канул в волны Средиземного моря. В апреле того же года, когда Ушакова принудили воротиться, состоялось подписание конвенции о статуте Республики Семи соединенных островов. Она объявлялась сюзереном Турции с обязательством платить вассальные пиастры (семьдесят пять тысяч в трехлетие), а Россия брала на себя гарантию ее территориальной целостности и соблюдения правопорядка.

Но едва удалились русские, как Турция навязала ионитам такие поправки к «ушаковской конституции», которые обеспечивали власть аристократов без маломальского участия «второго класса».

Народ не безмолвствовал. Народ обвинил дворян в предательстве. Народ напал на гарнизоны и выгнал турок.

## 11

Не безмолвствовал и Петербург.

Александр I приказал русскому посланнику: «Вы можете заверить их (ионитов. — Ю. Д.) самым положительным образом, что я не только не позволю дивану\* распространить свою власть на эту республику, но и употреблю все имеющиеся в моем распоряжении средства, чтобы ее независимость была определена без всяких ограничений».

\* Диван — правительство Турции, тайный совет при султанах.

Петербург поступил дельно, вернув русские штыки на Корфу. Проливы еще были открыты для Черноморского флота. Мешкать не приходилось. Ведь Турция опять замирилась с Францией, а Россия опять рассорилась с нею.

Петербург поступил дельно и осмотрительно. Вскоре Бонапарт оккупировал Италию. Уже не за горами было время, когда Наполеон на какие-то возражения «аборигенов» прикажет отвечать кратко: «Император так хочет!»

География и стратегия — сообщающиеся сосуды. Пустяковые сотни миль отделяли Ионические острова от портов Италии; пустяковые сотни миль Ионического моря соединяли архипелаг с итальянским сапогом. Таким образом, Наполеон, обладавший проворством рыси, мог совершить прыжок на Республику Семи соединенных островов.

Француз-роялист, агент русской дипломатической службы, предупреждал: Наполеон постарается восстановить свои позиции в восточной части Средиземноморья; это ему необходимо и для поддержки старинной марсельской торговли, и для пресечения русской черноморской торговли. Наполеон, продолжал информатор, видит в черноморской торговле «новый источник богатства и кредита для той великой державы, которая в силу своего положения, могущества и средств рано или поздно подчинит Европу своему влиянию и сделается решительницею судеб и стражем спокойствия и безопасности».

Понятно, о каком «спокойствии», о какой «безопасности» толковал сторонник белых лилий Бурбонов, но планы Наполеона очертил верно.

В Петербурге понимали это и без подсказок со стороны. И хотя на Корфу расположился весьма крупный гарнизон, решили бросить туда балтийское подкрепление.

Осенью 1804 года капитан-командор Грейг, фамильный герб которого украшал девиз: «Ударяй метко», получил инструкцию:

- следовать с эскадрой к Ионическим островам;
- на Корфинском рейде принять под свою команду черноморские корабли;
- самому встать под команду русского посла графа Моцениго;

— все свои действия увязывать с русским сухопутным командованием.

Инструкция заканчивалась внушением: «Предмет пребывания в Корфу сей дивизии (отряда кораблей. — Ю. Д.) состоит в том, чтобы по всей возможности содействовать безопасности и благу жителей Республики Семи соединенных островов, и на сей конец движения и действия всех судов вообще и порознь должны быть определяемы по усмотрению обстоятельств».

В Корфу капитан-командор Грейг встретился с графом Моцениго. Посол сразу дал понять, что не намерен совать нос в корабельные эскадренные заботы. Таким образом, Моцениго и капитан-командору показался «милым, любезным, умным, учтивым, добрым человеком», каким он казался другому современнику, князю Вяземскому, человеку весьма бранчливого нрава\*.

Одновременно или почти одновременно моряк беседовал и с генерал-майором Анрепом, тогдашним «командующим отрядом войск, расположенных в Ионических островах», как его именуют в официальной переписке.

Анреп не был бездельником. Грейг еще обретался на Балтике, когда генерал рапортовал государю:

«...Рассматривая положения и способы к защите островов Ионической республики, нашел я, что город Корфу и крепость Св. Мавры (та самая, что захватил Сенявин в ушаковском походе. — Ю. Д.) суть одни, которые своими укреплениями в состоянии сопротивляться неприятельскому нападению. Прочие же острова могут не иначе обороняться от неприятеля, как морскими судами, ибо все старинные укрепления, найденные мною на островах Занте, Кефалонии и Цериго, по невыгодности положения своего, не могут учинить никакого сопротивления, быв сверх того от частых и больших землетрясений в крайнем разорении, требуя столь великой починки, что ни время, ни силы наши не позволяют нам к оной приступить... Но как оные острова до такой степени гористы и наполнены дефилями (теснинами, ущельями. — Ю. Д.), что с малым числом

егерей можно сделать упорное сопротивление неприятельскому десанту, то посему счел я за нужное расположить 14-й егерский полк и один батальон Куринского мушкетерского полка на помянутых островах, предписав им всем, чтобы в случае какого-либо десанта отражать неприятеля со всею твердостью... Здесь, в крепости Корфу, на случай такого же десанта или движения в Албании или Морее, пазначил я оставить один батальон Куринского полка, гарнизонный батальон полковника Попандопуло и батальон республиканских войск под начальством генерал-майора Назимова, с препоручением сему последнему комендантской должности в сей крепости»\*.

Анрепа бездельником не сочтешь. Но первая ж беседа с ним насторожила капитан-командора Грейга. Моряк, как многие моряки, был ревнив к флотской независимости. А генерал, как многие генералы, ставил армию превыше всего на свете, стало быть, и превыше флота.

В частном письме из Корфу Грейг резал напрямик: я, дескать, не имею ни малейшего желания превращать эскадру в орудие генеральского честолюбия... Не было б охоты увязываться в личные отношения флотского и армейского командиров, если бы вообще отношения морских и сухопутных офицеров не были б делом важным.

В том же письме Алексей Самуилович тревожно замечает, что Корфу кишит вражеской агентурой и что очень трудно «уберечься от шпионажа и тех критических моментов, которыми французы умеют прекрасно пользоваться».

Нет, капитан-командора не одолевала шпиономания. Среди рукописей библиотеки имени Салтыкова-Щедрина сохранился автограф Талейрана: руководитель французской внешней политики приказывал собирать сведения о численности и дислокации русских вооруженных сил на Ионических островах; Талейран подчеркивал, что эти сведения требует Наполеон. В другом циркуляре Талейран обращался к поверенному в делах в Константинополе: давайте точный перечень тех русских полков, которые прошли Дарданеллы, направляясь

\* Центральный государственный военно-исторический архив Фснд Военно-ученого архива (далее: ЦГВИА, ВУА), д. 3108. лл. 3—8.

\* ОПИ ГИМ, ф. 257, д. I, л. 11. Любопытно, что граф Моцениго (или Мочениго), долгое время подвизавшийся на русской дипломатической службе, происходил из старинной венецианской семьи, которая дала Венеции нескольких дожей.



в Корфу; сообщайте столь же точно о новых войсках, которые появятся в проливе с той же целью.

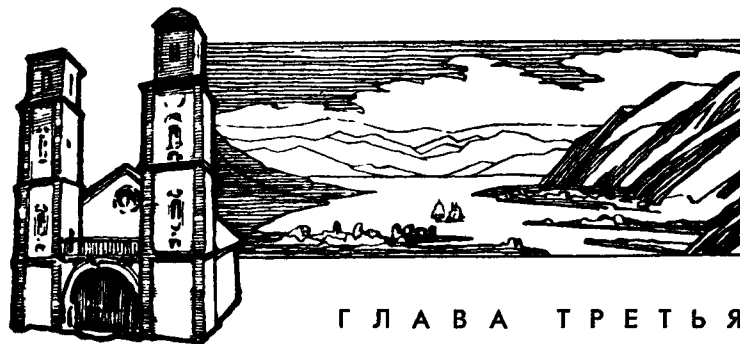
«Критические моменты» уже возникали, ибо император французов уже был и королем Италии. Требовалось не только присутствие в архипелаге внушительного воинского соединения. Требовалось и присутствие внушительного должностного лица, перед весом и властью которого съежилось бы любое честолюбие. Короче, нужен был не командующий, а главнокомандующий.

Может быть, Грейг, человек блестящей карьеры, еще в пленках произведенный в мичманы самой Екатериной, Грейг, может быть, втайне метил в главнокомандующие. Вполне возможно, что и генерал Андрей мечтал принять бразды. Однако в Корфу следовал вице-адмирал Сенявин, о чем читателя известила глава первая, и ничего иного не оставалось, как ждать Дмитрия Николаевича.

И вот в январе 1806 года он здесь, на рейде Корфу, у стен города и крепости, столь ему памятных по ушаковским, в сущности, недавним временам.

И некий сенявинский офицер, предвосхищая события, восторженно записывает в тетрадке шероховатой нелинованной бумаги: «Адриатика получила полного своего повелителя»\*.

\* ОР ГБЛ, ф. 344. И. Кожин, Морской журнал. Часть вторая, или Путешествие 74-пушечного корабля «Святой Петр» в дивизии г. вице-адмирала Сенявина, л. 3.



## Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я

### 1

Один русский паломник видел Корфу в 1725 году. Город, по его словам, был «зело изряден». Русские времен Ушакова и Сенявина держались иного мнения: теснота и неопрятность. А Владимир Давыдов, путешественник 30-х годов прошлого столетия, и вовсе махнул рукой: «выстроен худо»... Нет, не архитектурой радовал Корфу наших моряков и армейцев. Другое им пришлось по душе.

Флотский офицер писал: «Корфу представляет почти русский город: большая часть жителей понимают русский язык, а молодые порядочно уже говорят по-русски. Крепость содержится в отличном порядке; адмиралтейство, находящееся в заливе Гуви, в близком расстоянии от города, может делать пособие поврежденным кораблям. Итак, не приятно ли видеть, что управление русских улучшило состояние жителей и сделало в короткое время из Корфу военный порт».

Армейский офицер, рассказывая о строевых занятиях на городской площади, писал: «Учились очень хорошо, народу (то есть зрителей. — Ю. Д.) было множество, после учения нарочно одетых несколько мальчиков вынесли букеты цветов в вазах и на подносах. Народ кричал *vivat*, женщины бросали вверх свои веера»\*.

Прибавим, что егеря, закончив ученье, возвращались на биваки самой широкой и самой красивой улицей: греки называли ее «Одос Ушаков».

Если городское «устройство» казалось (да оно и вправду таким было) тесным, неудобным, путаным, то

\* ОПИ ГИМ, ф. 257, д. 1, лл. 68(об.), 69.

окрестности, как и весь остров, сравнивались с райскими кущами.

Даже те, кто раньше любовался таврическим полуденным блеском, даже они притаивали дыхание в лимонных и апельсиновых рощах, у гремучих порожистых речек с мостиками старинной каменной кладки, близ тихих часовен, окруженных оливами, на скалах, откуда открывался близкий албанский берег, такой светло-песчаный и ровный, что его именовали Страдо Бьянки — Белая дорога... А ночи Корфу? О, эти звезды величиною с кормовой корабельный фонарь, эти медленные огни рыбацких баркасов, и плеск волн, и зеленое мерцание каких-то бесчисленных мушек, похожих на крохотные метеоры.

Самый северный в Ионическом архипелаге остров Корфу на протяжении шестидесяти пяти километров соседствовал с балканским берегом. Он не очень велик, этот остров, но и не то чтобы карлик: шестьсот тридцать восемь квадратных километров; как-никак, а в два с половиной раза больше Мальты. И если здешней акватории хватало для многих кораблей, то и здешней территории было достаточно для русских воинских частей: мушкетеров, егерей, артиллеристов.

Состав и численность сухопутных войск, подвластных Семянину, определялись историками в общем, без значительных расхождений. Современный нам исследователь\*, тщательно сличив документы, приводит следующую таблицу:

Козловский	мушкетерский	полк	генерал-майора
Макшеева			— 528 человек
Кольванский	мушкетерский	полк	генерал-майора
Жердюка			— 1601 человек
Витебский	мушкетерский	полк	генерал-майора
Мусина-Пушкина			— 1765 человек
Два батальона	Курина	мушкетерского	полка,
гарнизонный батальон	о-ва Корфу	(включая 62 человека	
на других островах)	под командой	генерал-майора	
Назимова			— 1852 человека
13-й егерский	полк	генерал-майора	Вяземского
			— 1149 человек
14-й егерский	полк	генерал-майора	Штегера
			— 1154 человека
Сводный батальон	из морских полков		— 699 человек

\* А. Л. Шапиро, Адмирал Семянин. М., 1958.



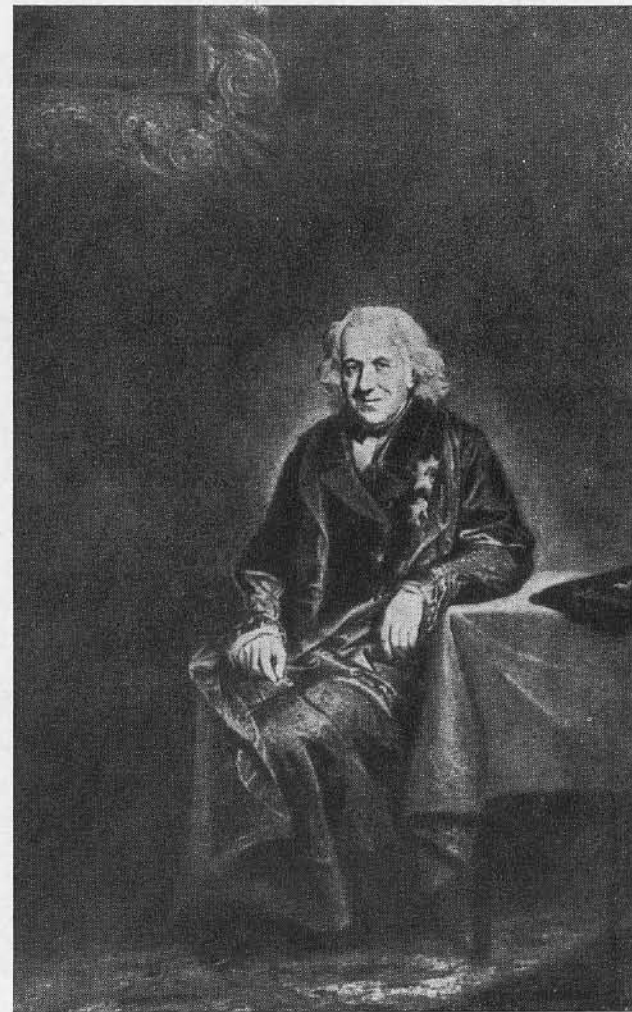
Адмирал Ф. Ф. Ушаков.



Г. А. Потемкин. Портрет работы крепостного художника М. Шибанова.



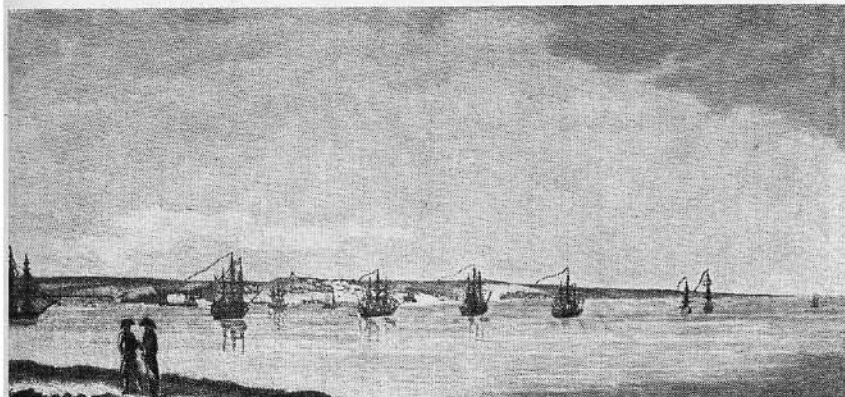
Гвардейские офицеры русской армии второй половины XVIII века.



Адмирал Н. С. Мордвинов.



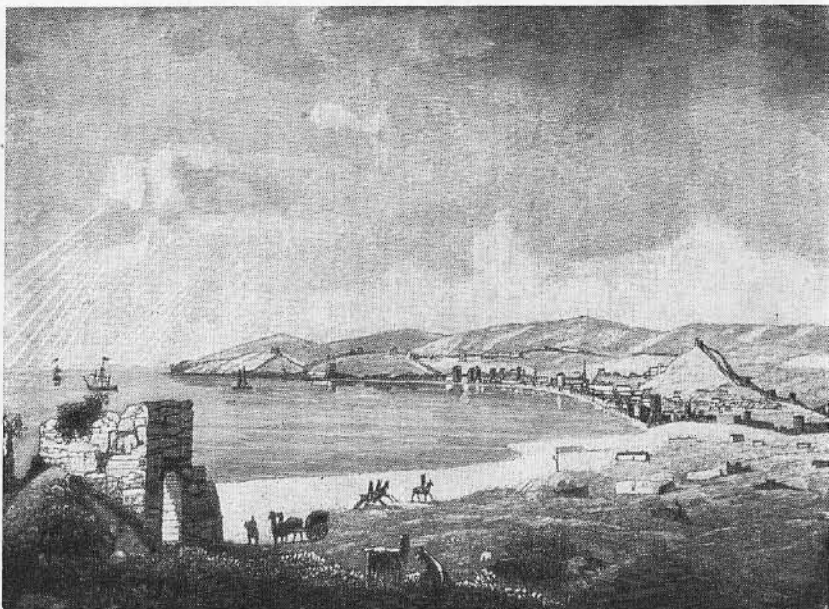
Эскадра Ф. Ф. Ушакова на Босфоре.



Севастопольская бухта. С гравюры XVIII века.

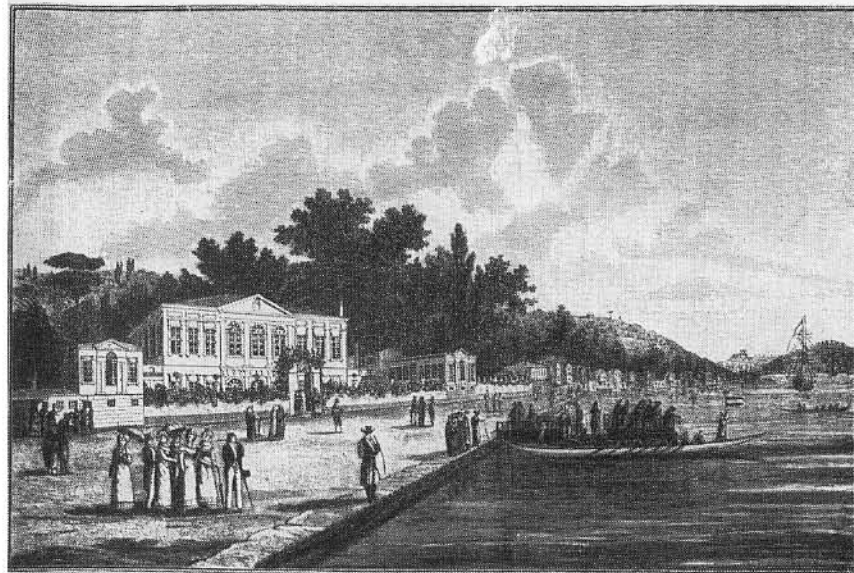
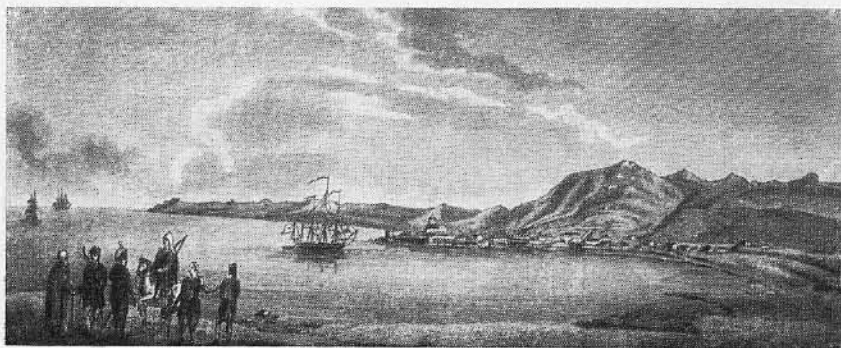


Балаклава. С гравюры XVIII века.



Феодосия. С гравюры XVIII века.

Керчь. С гравюры XVIII века.



Дом русского посольства в Константинополе. С рисунка XIX века.



Костюм турецкого вельможи: капудан-паша.



Взятие Очакова. С гравюры XVIII века.



А. В. Суворов.



Утро Аустерлицкого сражения.



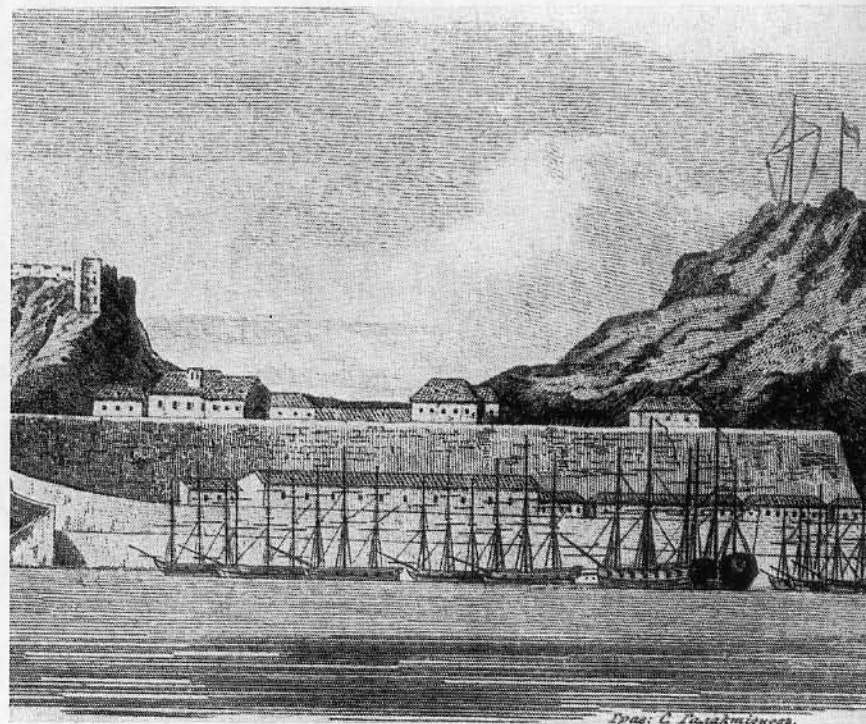
Аустерлицкое сражение.



М. И. Кутузов.

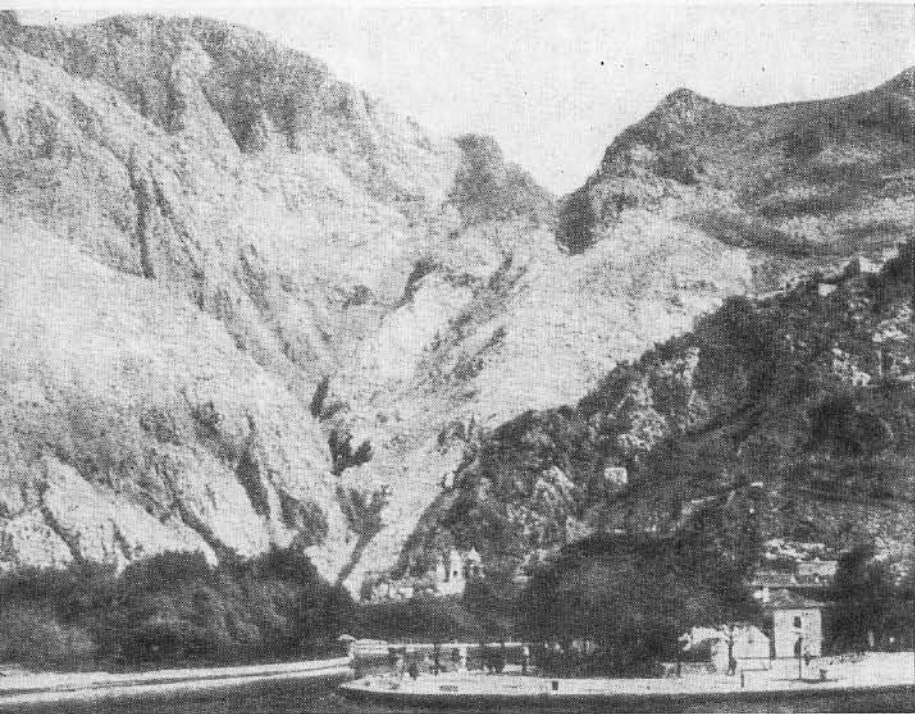


Вице-адмирал Д. Н. Сенявин.



Вид цитадели в Корфу.





Набережная в Которо.



Девушка с острова Корфу. Современная фотография.



Девушка из Которо.



Житель Которо.



Буко Юро — черногорский стрелок.

Артиллерийские роты майора Кулешова — 433 человека  
Легион легких стрелков генерал-майора Попандо-  
пуло — 1964 человека

Итого:

12 145 человек.

Легион, замыкающий таблицу, в документах иногда называется «греческим корпусом». И верно, греков было немало. Не ионических островитян (те составили свое народное ополчение, милицию), а бежавших из-под гнета турок. Но в легион входили и албанцы православной веры, тоже бежавшие от преследований «полу-месяца».

Их деды обращались некогда к императрице Елизавете: предлагали сколотить полк или два полка для совместного с русскими выступления против Турции. Их отцы находились на палубах эскадры Спиридова во времена Екатерины, в годину архипелажской экспедиции. Их старшие братья (а может, и кто-либо из будущих легионеров) нападали на султанские суда в Средиземном море в дни русско-турецкой войны 1787—1791 годов — тогда была создана Добровольческая флотилия. После Ясского мира многие солдаты и матросы флотилии предпочли переселиться на южные берега России, где с ними, несомненно, встречался Сенявин: они жили и в районе Севастополя, и в районе Одессы, и в районе Феодосии.

Генерал Вяземский наблюдал легионеров в самом начале формирования корпуса на Корфу. По его мнению, то был «народ отменно отважный, храбрый, предприимчивый». Легионеры, пишет Вяземский, «обязались везде следовать за российскими войсками и быть врагами всем врагам России»\*. Забегая вперед, скажем, что они — уже при Сенявине — лихо дрались с французами. В делах Военно-морского архива сохранились лестные отзывы русского командования о «легких стрелках».

Сенявинский моряк, видевший легионера-албанца в бою, восхищался его сноровкой: «Когда стреляет из-за камня из своего длинного ружья и уже не успеет снова зарядить свое ружье, то выхватывает пистолет, стреляет из него, потом из другого и с тем вместе уже сабля в

\* ОР ГВЛ, ф. 178, д. 9848, л. 44.

его левой руке защищает голову; перехватив саблю в правую руку, он уже вступает в рукопашное дело, а между тем ружье и два пистолета, которые на шнурах, — закинута назад. Отразя противника, он опять заряжает свое оружие и вдруг опять имеет три выстрела и защитительную саблю свою, висящую почти в горизонтальном положении».

До прибытия Сенявина легионом, или корпусом, командовал полковник Бенкендорф, батюшка, не к ночи будь помянутого николаевского шефа жандармов; при Сенявине — полковник, а потом генерал-майор Попандуло.

Состав и численность сенявинских морских сил выглядели в январе 1806 года так: линейных кораблей — 11, фрегатов — 7; корветов — 4; канонерских лодок — 12; вспомогательных судов — 7.

Не знаю, произвел ли Сенявин смотр армейцам, но «морскую часть» обозрел в первые же дни и благодарил Грейга за отличную распорядительность. Алексею Самуиловичу благодарность пришлось по душе, но еще больше обрадовало производство в контр-адмиралы — указ привез Сенявин.

На какой бы высокий пьедестал ни возводить Сенявина, а без помощников, какие ему достались, Дмитрий Николаевич не совершил бы то, что он совершил.

Ближайшим соратником стал Грейг. Алексей Самуилович был сыном героя Чесмы, сыном человека, о котором говорили, что «он, как чайка, состарился на воде». Уступая Сенявину возрастом, двенадцатью годами, Грейг, пожалуй, не уступал «наплаванными» милями: еще волонтером английского флота ходил в Ост-Индию и Китай. Порох он тоже успел понюхать: мальчиком участвовал в стычке с французским быстроходным вооруженным судном, по-тогдашнему капером, или приватиром; молодым капитаном «Ретвизана» высаживал десант на дюнах Голландии... Он получил лестное письмо от Нельсона, его имя пользовалось известностью не только как боевого моряка, но и как серьезного знатока астрономии\*.

Но всего этого не достало бы, чтобы Дмитрий Николаевич коротко сошелся с Грейгом. Не одними опытом

\* На склоне лет А. С. Грейг возглавлял «Комитет построения и устройства Пулковской обсерватории», открытой в 1839 году.

и познаниями обладал тот, но и душою. Вопреки английской выучке не смотрел он на матроса, как на каторжника. Много-много времени спустя русский моряк, вспоминая Алексея Самуиловича, писал, что «наказание кошками заменялось им почти всегда другими, менее жестокими наказаниями», а «перед наказанием шпицрутенами у осужденного шея, руки и грудь обвязывались ветошью». В эпоху, «освистанную» розгами, такие правила уже были милосердием. И Сенявин, противник изуверства, не мог не ценить сердца своего сподвижника.

Занявшись боевой организацией, Сенявин не уподобился «новой метле». Он давно и хорошо понял, что сплоченность людей и кораблей не возникают в одночасье. И потому так распределил силы эскадры, чтобы кордебатальней, ядром, были корабли, приведенные им из Кронштадта; авангардом — грейговские; арьергардом — черноморские контр-адмирала Александра Андреевича Сорокина.

Последний был из первых флотских командиров. Это ведь он, в начале ушаковского похода чином равный Сенявину, он, как и Дмитрий Николаевич, командовал отдельным отрядом, ходил тогда к берегам Египта, а после включился в то дело, в котором Суворов желал быть «хотя мичманом». И это о нем, об Александре Андреевиче Сорокине, Вяземский, не склонный к похвалам, оставил в своем дневнике такую пометку: «добрый и веселый человек»...

Кстати сказать (может, и не кстати, ну да все равно), добрых и веселых водилось немало среди русских офицеров разных родов войск.

Люди в большинстве молодые, в полном соку, они знали, что со дня на день пойдут навстречу опасностям, навстречу смерти. Стендаль говорил: плох солдат, думающий о госпитале. На Корфу собрались неплохие солдаты. Не о госпитальных, нет, о других койках они помышляли, и разве лишь траченная молью карга каркала б на них за склонность к «уединению вдвоем».

Сенявинские офицеры попали с корабля на бал: ионическая столица кипела в январском карнавале — быть может, единственная отрядная традиция, уцелевшая со времен венецианского господства.

«Мы пришли на обширную площадь, покрытую тысячами красавиц, — возбужденно рассказывает лейте-

нант Николай Коробко. — Четыре оркестра музыки гремели по углам; дома, обращенные на площадь, были освещены... Все было в движении...»

Маски, ряженые, смех, итальянская опера — хорошо, ей-бо у, после долгого скрина мачт и соленого однообразия. И эти горожане-корфиоты в легком винном хмелю, эти люди в фуфайках, похожих на матросские, в широких шароварах, в красных толстых чулках и башмаках с огромными, как тропические бабочки, пряжками и в сбившихся на затылок алых скуфейках.

Но балтиец говорит о них мимолетно, как и о «знакомствах с полковыми и морскими офицерами Черноморского флота». Он об ином, этот лейтенант: «Я потолкался между женщинами...»

Прав был Батюшков-поэт: «Нежные мысли, страстные мечтания и любовь как-то сливаются очень натурально с шумною, мятежною жизнью война».

О чем шептались под кипарисами в сине-лунные часы? Куда крался поздней порою мичман или прапорщик? В каком доме за полночь осторожно отворялась дверь?

Воображайте, воля ваша!  
Я не намерен вам помочь.

Прибавляю только, что, по свидетельству одного донжуана, многие гречанки утирали очи, провожая в поход русские корабли, а среди офицеров чуть не половина была влюблена в гречанок.

Проводы начались в феврале 1806 года. Ровно месяц спустя после прихода Сенявина в Корфу, из Корфу провозжали линейный корабль, фрегат, шхуну. Командовал ими Белли, капитан-командор.

Дмитрий Николаевич знаком был с ним давно и близко, по черноморской службе, по севастопольскому житью. Их общий учитель Ушаков аттестовал Белли человеком «отменной храбрости, искусства, расторопности».

Как сам Сенявин, как Сорокин, так и Белли окончательно выпестовался в ушаковском заграничном походе. Да только Григорий Григорьевич, правду сказать, отличился еще ярче, чем они. Этот командир фрегата «Счастливыи», должно быть, и впрямь родился под счастливой звездой. Высадившись в Южной Италии, оккупированной французами, он дрался так азартно и отважно с противником вдвое, втрое сильнеешим, что имя его гремело в Неаполитанском королевстве. Моряк с головы до ног, он

показал себя великолепным бойцом на суше, командуя отрядом в полтысячи штыков\*.

«Белли думал удивить меня, — хрипло воскликнул Павел, извещенный о взятии Неаполя, — так и я его удивлю!» И хотя Белли, находясь в огне, вовсе не тшился удивлять царя, тот действительно удивил и его и многих, наградив храбреца значительным орденом — святой Анны первой степени. Загорелый дочерна под итальянским солнцем, запорошенный дорожной итальянской пылью штаб-офицер получил ленту через плечо со звездой и так называемое орденское платье — мантию пунцового бархата, этакую длинную, до каблука, мантию с золотым глазетовым воротником и бархатную шляпу с тремя пунцовыми перьями.

Сенявин за ушаковскую кампанию тоже удостоился Анны, ая второй степени, то есть креста на шею, мантии до половины икры, а пунцовых перьев на шляпе, увы, только два.

Теперь, остановив свой выбор на Белли, Дмитрий Николаевич, конечно, совсем не вспоминал ни о длине мантии, ни о шляпных перьях, а думал о том, что капитан-командор самый подходящий человек для выполнения военной и в некотором роде дипломатической задачи, решать которую ему придется и на море и на суше. Правда, не там, где прежде, не на северо-западе от Корфу, а на северо-востоке, не на итальянском берегу, а на балканском.

2

Уходя в море, Белли, конечно, подвергался опасности. Сенявин, оставаясь на берегу, тоже. Но «качество» опасности разнилось.

Начиная самостоятельную средиземноморскую страду, Дмитрий Николаевич начинал ее рискованным шагом.

\* Летом 1818 года на Путиловской верфи в Петрограде достраивался эскадренный миноносец, названный именем ушаковского героя и сенявинского сподвижника, — «Капитан Белли». Командиром нового боевого корабля Балтийского флота был назначен 30-летний Владимир Александрович Белли, правнук Г. Г. Белли. (См.: Н. Бадеев, Высшая устав. М., 1974, стр. 91—92.)

В. А. Белли, контр-адмирал, автор работ по военно-морскому искусству, здравствует поныне.

Рисковал он не столько как военный, сколько как политик.

«Повелителю Адриатики» мало было повелевать Ионическим архиепископом. Его мысленный взор устремлялся на северо-восток от Корфу.

Там, на Балканском полуострове, располагалась Которская область. Она принадлежала Австрийской империи. Империю, как упоминалось в первой главе, победил Наполеон. Император Франц, дрожа поджилками, принял все условия, в том числе и уступку балканских владений австрийского дома.

Захвати французы Балканский плацдарм, и вот уж они и на фланге Турции и в подбрюшье Южной России. Если угроза прорыва неприятельского флота в Черное море пока не возникала, то возникала угроза марша неприятельской армии к Дунаю, к Днестру. А если учесть ужас Турции перед демоническими победами Наполеона, то вырисовывался даже союз султана с тем, кто некогда просидел к нему инспектором артиллерии.

Выходит, обстановка диктовала Сенявину необходимость упредить врага. Но царь колебался.

Аустерлиц сильно подорвал влияние на Александра «молодых друзей», наперсников и советников. Теперь уж не было у них «привилегии являться к столу императора без предварительного приглашения»; теперь лишь изредка сходились они в укромной комнате внутренних покоев Зимнего для доверительных бесед с государем, а коли и сходились, то Александр, уходя, «снова поддавался влиянию старых министров», — сетует в своих мемуарах один из «молодых» и «неразлучных», князь Адам Чарторижский.

И все ж Александр Павлович не устранил вчистую ни пылкого Строганова, ни рассудительного Новосильцова, ни осторожного и «гордо таинственного» Кочубея, ни князя Адама, сдержанного, изящного, серьезного, с выразительным взглядом и несколько выпяченной челюстью.

Еще полгода, до лета восьмьсот шестого, отпущено Чарторижскому на руководство внешней политикой. И князь каждодневно по восемь-десять часов не отрывается от письменного стола. Среди его многочисленных забот и те, что в прямой связи с Сенявиным.

Как раз в январе, то есть именно в том месяце, когда Сенявин добрался до Корфу, из-под пера Чарторижского

выливается записка о политико-стратегических выгодах занятия Которской области и всемерной поддержки сопредельной ей Черногории.

Минуло три месяца, и князю снова приходится убеждать нерешительного царя: Турция поддается чарам Наполеона; ее дружеские ругады «имеют целью лишь усыпить наше внимание»; «следует обратить особое внимание» на Которо, ибо черногорцы «ничего не предпринимали против этой страны», как принадлежавшей австрийскому, союзнику России, но теперь «намереваются овладеть ею для противодействия успехам Бонапарта». Исчерпав доводы реальной политики, Чарторижский воздевает руки: «Можем ли мы оставить без нашей поддержки этих христиан?..»

Чарторижский доказывал на бумаге; Сенявин решился доказывать на деле. Князю несогласье с царем грозило удалением под роскошную сень родовых поместий; адмиралу — суровым военным судом.

В сенявинской решимости виден размах орлиных крыльев. Как боевой, так и политический раздел своей жизненной книги Дмитрий Николаевич писал крупным, ясным почерком.

А это было тяжело. И потому, что приходилось брать на себя, лично на себя громадную ответственность, и потому, что даже профессионалы, съевшие зубы на политических комбинациях, терялись, словно в тумане, и вздрагивали, будто в ночном осеннем лесу.

Неприятное состояние испытывал, например, тот же Чарторижский: «Положение Европы в настоящую минуту до того запутано, поведение различных государств до того загадочно, что не только общественное мнение блуждает в потемках, но даже во многих отношениях и частное суждение кабинетов не имеет достаточных данных, чтобы установиться».

Каково ж было Сенявину? Каково было адмиралу за тысячи миль от петербургского кабинета? И все ж он имел «достаточно данных, чтобы установиться», — его мысль, подобно компасной стрелке, постоянно обращалась к Северу, к родине, интересы которой (так, как он их понимал) были ему путеводными. И еще одним «данным» располагал Сенявин, «данным», независимым ни от царя, ни от «молодых друзей», ни от «старых министров», — прозорливостью. Ее долго не замечали в Петербурге, зато скоро заметили на Средиземном море. Сенявин —

«политик дальновидный», «умный патриот», почтительно молвит флотский офицер Панафидин...

В марте 1806 года, когда князь Адам склонялся над запиской, положения которой здесь приведены, Сенявин уже воочию видел то, что заглазно видел дипломат.

Но прежде расскажем о Белли.

Линейный корабль «Азия», фрегат «Михаил» и шхуна «Экспедицион» быстро достигли которского берега. Он был покрыт рощами и деревеньками, окруженными черешневыми садами, славою здешних мест.

«Отличной красоты вид», — восхитился один из сенявинцев в своих «Дневных морских записках». Другой наблюдатель, посетивший Котор десятилетиями позднее, отметил в журнальном очерке, что этот берег — «наивысший аккорд южнославянской красоты».

В отличие от туриста моряк деловито прибавляет: «Глубины достаточные». Он отметил важное — осадка позволяла войти в которские бухты. Не оговорка: именно бухты.

Они лежали по курсу кораблей Белли; без них «наивысший аккорд», пожалуй, не звучал бы столь полно и сильно. Три обширные бухты, соединенные проливами, составляли поразительную цветовую гамму. Первая, ближайшая к морю, нежно вторила адриатической голубизне; вторая, уже затененная летящими к небу утесами, отливала густой синью; последняя, над которой висели громады, казалась почти аспидной.

А там, дальше и вверх, была страна воинственного, никогда и никем не покоренного народа, страна несравненных удалцов черногорцев.

Русский путешественник писал: «Четыре или пять часов ходьбы належке достаточно черногорцу, чтобы дойти до Которо от монастыря Цетинье. Но трудности или, вернее, непроходимость гор преграждает путь для всякого торговца... Глыба гор, через которую пробираются черногорцы, доступна только им одним. Привычка ходить по скалам и утесам, прыгая, так сказать, с камня на камень, позволяет им посещать Которо»\*.

В начале восьмисот шестого года черногорцы не имели ни малейшего желания гостевать в Которо. Там си-

\* Центральный государственный архив литературы и искусства (далее: ЦГАЛИ), ф. 1337, оп. I, д. 324, лл. 17, 21 (об.). Рукопись не установленного автора «О поездке в Черногорию».

дели австрийцы, там ожидалась французская армия. Ни те, ни другие не «устраивали» черногорцев.

В Цетинье, где суровый монастырь и столь же суровые, похожие на фортеции, нетесаного камня дома, крытые соломой, в Цетинье собрались вислоусые старейшины. Им уж не надо издавать традиционный призывный клич о подмоге: «Гэй, кто витязь?!» — они прослышали о приходе русских в Которский залив. И не затем собрались воины и скотоводы, чтоб гадать о будущем на бараньей лопатке (вариант гадания на кофейной гуще), а затем, чтоб отозваться на призыв русского дипломатического агента — выступить как против французов, так и против австрийцев.

И вот черногорцы, «прыгая, так сказать, с камня на камень», спустились к стенам и готическим башням крепости Каствельново, что возвышалась на правом берегу залива. Их было две тысячи. Их возглавлял тот, кто правил Черногорией, — митрополит Петр Негош, человек редкостной отваги, характера твердого и ума недюжинного.

Черногорцы и русские сошлись.

Слово произнес Петр Негош:

— Самые горячие пожелания исполнились! Наши русские братья соединяются с нами в братской общности. Пусть никогда эта великая минута не исчезнет из вашей памяти! Раньше чем я освящу эти знамена, клянитесь защищать их до последней капли крови!

Капитан-командор Белли тотчас приступил к делу. Памятуя наставления Сенявина, он вежливо предложил маркизу Гизлиери («главному» австрийцу) передать область местной власти. Белли объяснил: срок сдачи Которо французам истек в январе, а нынче — середина февраля; стало быть, Которо уже не австрийская территория, и, следовательно, хорошо бы вернуть область коренному населению.

Логика капитан-командора не вразумила австрийцев. Они пуще всего на свете боялись гнева Наполеона. К тому же маркиз был осведомлен: наполеоновский генерал Молиитор спешит в Которо.

Маркиз медлил. Людям, склонным медлить, необходим толчок — надо им назначить срок, и basta. Белли и назначил. Да еще и очень краткий: на крепости Каствельново убрать флаг через четверть часа, на прочих крепостях — в двадцать четыре часа.

Гизлиери попросил хоть разик пальнуть по кре-

пости. Уж больно хотелось шельме изобразить «павшего героя». Австрийские офицеры, как и офицеры других стран, разделяли мнение адмирала Джервиса: военная честь, подобно женской, однажды утраченная, невосстановима. Но, видимо, уже тогда у австрийских офицеров возникала пагубная «привычка быть битыми», отмеченная Суворовым.

Ну, значит, попросили пальнуть. Капитан-командор отказал, словно бы держась правила, позднее сформулированного Козьмой Прутковым: не для какой-нибудь Анюты из пушек делают салюты. А если серьезно, то Белли (опять-таки памятуя сенявинские наставления) не стрелял потому, что его страна не воевала с Австрией.

Убывая процедуру передачи крепостных ключей которцам, Белли отрядил на берег полторы сотни морских пехотинцев. И подчиненные маркиза Гизлиери, беломундирные господа офицеры, перепоюсанные желтыми с черными полосами шарфами, в касках, похожих на древнеримские, офицеры эти, храня, поелику возможно, деревянную невозмутимость, свернули крепостные флаги и сняли караулы\*.

В марте капитан 2-го ранга Рожнов на своем 74-пушечном «Селафаиле» доставил в Которский залив главнокомандующего. Дмитрий Николаевич счел необходимым появиться там в силу нескольких причин.

Ему были важны, как сказали бы теперь, прямые, личные контакты с южными славянами. Ему было важно, чтобы между которцами (по-другому их именовали еще и бокезцами) и черногорцами не возникало то, что в артиллерии называют «разнобоем орудий», — у пушек, ведущих огонь в одном направлении и при одинаковом прицеле, порою средние траектории ложатся на разных дальностях. Наконец, ему было важно вблизи определить ход событий.

Наверное, Сенявин никогда не читал ни Канта, ни Гегеля, ни Гердера. Дмитрию Николаевичу, полагаю, остались неведомыми беглые замечания кенигсбергского философа о «невыработанном характере» русского и балканского народов; осторожные предположения берлинского диалектика о неприобщенности славянства «к

\* Французский историк А. Рамбо напрасно уверяет, что Гизлиери нарочно капитулировал, «желая насолить французам».

западному разуму»; лестные предсказания публициста и моралиста Иоганна Гердера о том, что славянский мир с его гуманистическими идеалами заменит дряхлеющий, усталый романо-германский мир. Нет, все это Дмитрий Николаевич вряд ли читал, хотя немецкий разумел, а до сочинения математика и философа Вронского о мессианской роли славянства, до трактата «Россия и Запад» Данилевского, как и до статей Константина Леонтьева, клеймившего славянскую интеллигенцию, Сенявин не дождался.

Сенявин видел то, что видел, и слышал то, что слышал.

Он нашел здесь характер, выработанный крепко и цельно, разум, поднявшийся до осознания общности судеб, сердечную признательность освободителям, не покушавшимся на самостоятельность освобожденных.

Он видел, как бокезцы в расшитых куртках обнимают его матросов и солдат и как бокезские женщины, стройные смуглянки, плавно выступая в сандалиях с серебряными бляшками, подносят им вино и цветы.

Он видел, как ликующие черногорцы палят вверх из длинноствольных ружей и, потрясая ружьями, кланутся бить неприятеля плечом к плечу с русскими.

Он вслушивался в говор. К языку которцев и черногорцев, отмечали сенявинские моряки, легко привыкнуть: язык этот близок к церковнославянскому...

Вице-адмирал занялся снабжением черногорских и которских отрядов. Вице-адмирал велел принимать добровольцев на свою эскадру и в свои полки. Он благодарил бокезцев за поддержку русской эскадры тридцатью легкими судами, способными ходить по мелководью. Он усилил отряд Белли еще одним линейным кораблем. И ему уж ясен был план «работ» на адриатических коммуникациях врага, без разрыва которых не защитишь Которскую область.

И еще одна, очень примечательная и постоянная черта Сенявина: главнокомандующий зорко следил за тем, чтоб ни один офицер, ни один матрос или солдат ни на волос не задел местных жителей.

Вот что писал очевидец: «В трое суток Дмитрий Николаевич, можно сказать, очаровал народ. Доступность, ласковость, удивительное снисхождение восхищали каждого. Дом его окружен был толпами людей; черногорцы

нарочно приходили с гор, чтобы удостоиться поцеловать полу его платья, прихожая всегда была полна ими, никому не запрещался вход; казалось, они забыли митрополита, и повеления Сенявина исполняли с ревностью, готовностью удивительной».

В Загребе, в музее, хранилась некогда (может, и поныне хранится?) рукопись католического священника Койвича. Он жил в Которской области, в городке Будве, и оказался свидетелем появления сенявинцев. Свидетель ценный вдвойне: каноника не заподозришь в русофильстве, а «показания» давал он в годину французской оккупации, стало быть, не подлизывался к русским.

«Чего никто из нас, — рассказывает Койвич, имея в виду вообще католиков, — не ожидал — русские вели себя в высшей степени похвально. Хотели быть друзьями каждому. Никому никогда ничего худого не сделали. Чиновники (читай: офицеры. — Ю. Д.) были любезны, воины уттивы, очень снисходительны и нисколько не суровы. Что касается религии, то нам при них было так же свободно, как и под венецианским, черногорским и австрийским правительством. Одним словом, если бы кто-нибудь вздумал сказать что-либо худое о русских, по крайней мере о тех, которые были в Будве, то на того следует смотреть, как на злого человека»\*.

В то самое время, когда Сенявин, не обронив и капли крови, выпроводил австрийцев и освободил которцев, заручился поддержкой южных славян и уже приступал к единоборству на морских дорогах, — в это самое время царь поставил крест на деяниях Сенявина и сенявинцев.

Правда, царское повеление было декабрьское (минувшего, восьмьсот пятого года), а на дворе-то уж кончался март восьмьсот шестого — вот почти-скоророход!; правда, государь, повелевая покинуть Корфу и следовать в Черное море, не знал, да и знать не мог, про Которскую область и русско-черногорско-бокезское со-

\* При Сенявине хозяином города Будвы был комендант Милетич, славянин по происхождению и отставной майор русской службы. Ему приходилось бывать в Петербурге. В одном из докладов князя Чарторижского сказано, что черногорцы «желают препоручить сему майору нескольких молодых людей для обучения европейской дисциплине (то есть, военному делу. — Ю. Д.), доставив им равномерно штыки, коих пользу они начали узнавать».

единение; правда и то, что Александр подписывал директиву, оглушенный аустерлицким громом. Так-то оно так, но повеления с высоты трона обсуждению не подлежат, а тем паче неисполнению.

Вот тут и обнаружилось в Дмитрие Николаевиче нечто совсем необычное, или, точнее, нечто своеобразное.

В молодых летах слыл он строптивцем. Тогда он досаждал Ушакову, хоть и великому военному вождю, но все-таки лишь адмиралу. Теперь Сенявин вроде бы опять оказывался послушником, ибо не только не поспешил в Черное море, но еще и прикинулся, точно бы ни о чем таком ведать не ведает.

Но это уж не было задором и лихостью. Не отделяя интересов царских от интересов России, Сенявин понимал, что торопливость государя зряшная, что дела не так уж из рук вон, что овчинка выделки стоит.

О-о, Дмитрий Николаевич знал, какие молнии призывает на свою голову. Вряд ли он спал спокойно. Легче было уступить, чем устоять.

Он устоял. В своеобразной сенявинской неисполнительности, как и в сенявинской исполнительности, видна натура крупного калибра. Именно эта удивительная, редкостная нравственная устойчивость позволила Владимиру Броневскому, автору «Записок морского офицера», а в сущности, историографу сенявинской эпопеи, справедливо резюмировать: Сенявин «не страшился жертвовать собою пользе и славе Отечества».

Павел Свиньин, коротко узнавший Дмитрия Николаевича лишь в Корфу, на Средиземном море, прибавил, что Сенявин обладал хладнокровием и терпением.

Какое терпение, какое хладнокровие отличало по темкинского генеральс-адъютанта? Смолоду он был молот. Сдержанность, душевная выносливость зрели с годами.

И поспели к сроку, в самую нужную пору.

Бенито Гальдос сравнивал корабли былых времен (как раз времен нашего героя) с готическими соборами. Жалкие эстампы, презрительно усмехался испанец, не дают о тех кораблях никакого представления. И рома-



нист восславил их торжественной «мессой»: они были «настоящими рыцарями, оснащенными как для атаки, так и для защиты и всегда полагались на свою храбрость и ловкость... Самым впечатляющим и грандиозным зрелищем была оснастка корабля: гигантские мачты, гордо вздымаясь в небо, слали вызов морским бурям...».

Парусными странниками поныне восхищаются люди артистические и люди прозаические, малые и старые.

Но самую глубокую, ибо она пожизненна, самую подлинную, ибо она молчалива, самую сильную, ибо она сурова, любовь к парусным рыцарям испытывали моряки. Конечно, моряки не по мундиру, а по сердцу, не по ремеслу, а по дарованию, а ведь только такие и есть моряки подлинные, ибо море не терпит ничего посредственного.

Можно цитировать маринистов, но признания самих моряков полновеснее. Во-первых, они редкость. Во-вторых, лишены риторики.

Одно из таких признаний, негромких, искренних, домашних, принадлежит Долгорукому, старшему современнику Сенявина. Командуя линейным кораблем «Ростислав», сообщает мемуарист, «он большую часть жизни проводил в море, на своем корабле и любил его со страстью, как свое родное детище. Долгорукий говорил о нем с нежностью, иногда со слезами умиления, и постоянно твердил своей племяннице: «Смотри, Еленушка, когда ты будешь большая, и выйдешь замуж, и будет у тебя сын, ты его назови Ростиславом в честь и память моего корабля»\*.

Такая же коренная и такая же неискоренимая привязанность была и в душе Дмитрия Николаевича. Сенявин жил кораблями и корабельщиной. И быть может, в те тревожные, смутные дни, дожидаясь прояснения горизонта (не морского — петербургского), с особой силой ощущал свою слитность с ними. Попробуем восстановить тогдашнюю судовую повседневность. А то ведь после будет некогда...

---

\* Помните мрачную картину Флавицкого «Княжна Тараканова»? Так вот, самозванку из Ливорно в Кронштадт доставили на «Ростиславе». По пути ею пылко увлекся Долгорукий. Моряк даже помышлял о похищении таинственной красавицы. Но любовь к кораблю была постоянной, а к женщине — мимолетной.

Получилось так, что в городке Перасто, что в Которской области, в доме бокезца Мартиновича наши моряки увидели большую картину, писанную маслом и обряженную в золоченую раму. Верхнюю половину картины (а не нижнюю, как ошибочно указывает очевидец-мемуарист) занимала надпись: полный титул царя Московского Петра Алексеевича, государственный герб и перечень фамилий — Куракин, Лобанов, князя Голицыны, Лопухин, Ртищев, Матюшкин... Внизу, у стола с навигационными инструментами и картой, расположились молодые люди в одинаковых шапках, отороченных мехом, в одинаковых долгополых кафтанах: все безбородые и все будто с одинаковыми усиками; это ученики. А наставник-навигатор, темноволосый, с крупным, внушительным лицом, одетый во что-то похожее на черную мантию, сидит в кресле. Наставник Марко Мартинович, должно быть, приходился прадедом владельцу картины; слушатели — земляками сенявинцев. То были дворянские недоросли, отправленные неумолимым Петром за рубеж постигать мореходное искусство. В Перасто для них снарядили судно, и «московиты» крейсировали по Адриатике. Между прочим, Марко Мартинович описал их приключения стихами, не позабыв шутивно изобразить, как некоторые его подопечные страдали морской болезнью.

«Русской, будучи в Перасто, непременно должен посетить дом, принадлежащий Мартиновичу», — признательно замечает сенявинский офицер. Он, его друзья были растроганы. И достопамятной картиной, и мыслями об основателе российского регулярного флота, и мыслями о давней связи русских не только со славянством, но и с моряками-славянами Адриатического, или по-славянски Ядранского, моря. И еще, может быть, мыслью о неправоте тех, кто утверждал, что дети лесов и степей не могут стать братьями океана.

Глядя на молодых людей в долгополых кафтанах, молодые люди в коротких мундирах со шпагами или вицмундирах с кортиками не могли не вспомнить добром и своих учителей, и свое ученье в отечественном Морском корпусе. Помануть не только потому, что кадетские годы уже окутаны розовой дымкой, и не только потому, что кадетские годы заложили «краеугольный камень» знания, но и оттого, что именно в корпусе зажглась «чистая лампада» товарищеской сплоченности.

Сверстник молодых сенявинских офицеров, тогда начинающий чиновник дипломатического ведомства, а позднее литератор, при первом знакомстве с морской средою прямо-таки поразился свойственным ей «торжеством дружбы». Павел Свиньин писал: «Лишенные семейственных наслаждений, родственных пособий, товарищи в себе самих находят родных и протекторов. Подобно рыцарям, они готовы страдать и умереть один за другого; у них общий кошелек, общий труд, общая честь и слава, общие пользы и виды».

Проще простого заподозрить Свиньина в сентиментальном восхищении корпоративным духом. И право, нетрудно отыскать примеры, когда «общие пользы» уступали «пользам» личной карьеры, особенно в случаях перемещения из каюты под шпиль Адмиралтейства. А все-таки в основном прав Свиньин. Особенно если речь о молодых, о тех, кто еще не обременился ни тещей, ни чадами.

Мать «общих видов» — общая опасность. Моряки и опасность — тесные соседи не только в громах войны, но и в мирном затишье. Недаром в старину твердили: с морем нельзя договариваться, прибавляя, что моряков от смерти отделяют лишь дюймы корабельной обшивки. «Чтобы иметь право жить, надо приобрести готовность умереть». В таком случае моряки имели огромное и неоспоримое право на жизнь, на все ее радости.

Сближал и отрыв от родины. Не зимние иль осенние вечера в гарнизонном захолустье, где пробавлялись водкой, не постой в городе, которым «кружком означен не всегда», нет, такой отрыв и такая даль, когда ни звука родной речи, ни ломтя родного хлеба.

Наконец, гвардейские и армейские офицеры воспитывались в разных учебных заведениях, офицеры тогдашнего флота — исключения единичны — все вышли из одной колыбели.

Наблюдения Павла Свиньина подтверждает Владимир Броневский: морские офицеры «с младенческих лет связуются узами дружбы... Друзья, товарищи до глубокой старости пребывают верными. Примеры тому в нашей службе нередки даже и в таких случаях, когда один сделался начальником, а другой подчиненным».

Венецианские дожди обручались с морем; это было как бы порукой господства в морях. На моряков

«обручение» накладывало круговую поруку; это было условием господства над морем. И отсюда то, что ныне называют спайкой.

Армейский офицер почти всегда находил возможность рассеяться в штатском обществе. Офицер флотский — изредка; он чаще и дольше был все в том же обществе, разделяя с ним и будни и праздники. Отсюда то, что ныне называют сживаемостью. «Отними круг нашего товарищества — что бы было с нами?» — не доумевал сенявинский офицер Панафидин.

Броневский, да и другие говорят, что пожилых моряков, которые годами обретались в «челюстях смерти» можно, мол, тотчас определить по угрюмой пасмурности лица. Это дань физиономистике. Ею увлекались на рубеже восемнадцатого и девятнадцатого веков, когда нарасхват шел десятитомник Лафатера «Искусство по знавать людей по физиономии».

Не знаю, как Лафатера, но уж Броневского, во всяком случае, опровергал не кто иной, как почитаемый им адмирал. Впрочем, весьма вероятно, Дмитрий Николаевич и тут выбивался из «закономерности».

Никакой пугающей угрюмости, никакой отчужденной молчаливости, никакой мрачности, наводящей тоску, в нем не замечалось. Высокий и стройный, он «имел прекрасные черты и много приятности в лице, на котором изображалась доброта... Он отличался веселым, скромным и кротким нравом» — вот одна зарисовка. А вот и другая: «Я, признаюсь, полюбил его всею душою с первого взгляду; из двух слов заметно было особенное умение его привязывать к себе подчиненных.. Подчиненные его страшились более всех наказаний утраты улыбки, коею сопровождал он все приказания свои и с коею принимал добесения».

Как гут не вспомнить латинское изречение: «Твердо в деле, мягко в обращении». Изречение, совсем не тождественное пословице: «Мягко стелет, да жестко спат»

«Боязнь утраты улыбки» — самая удивительная особенность отношений главнокомандующего и личного состава, находившегося в его всевластии. Доброжелательностью веяло от Дмитрия Николаевича. А доброжелательность, по мне, самое симпатичное, что встречаешь в человеке; встречаешь, к сожалению, не столь часто, как хотелось бы.

Только военачальник, совершенно уверенный в своем

нравственном влиянии, может быть снисходительным без риска уменьшения собственного служебного веса, может явить то, что Пушкин называл «умной снисходительностью».

История, однако, насчитывает немало полководцев и флотоводцев, обладавших почти неколебимым профессиональным авторитетом. Но очень немногие из них обладали даром соединять с повиновением себе любовь к себе. Лишь редчайшие могли быть добрыми, не опасаясь прослыть добренькими, могли быть человеколюбцами, не опасаясь прослыть слюнтяями.

Силу сенявинского обаяния испытывали греки и славяне. Они видели в нем не только победоносного представителя дружественной страны: в долгой памяти народа запечатлелась личность, достойная поклонения. Сенявин принадлежал к тем, о ком песни певали и легенды слагали. Славянские песни, греческие легенды.

Десятки лет спустя после того, как Сенявин был на Средиземном море, годы и годы спустя после того, как Сенявин уже покоился на далеком кладбище, моряк Суцов очутился на Ионических островах.

«Здесь все знают, помнят и глубоко уважают Дмитрия Николаевича, — писал Суцов в 1843 году, — любивший разговор наших гостей (греков, посещавших русский корабль. — Ю. Д.) был о нем; они не говорили о его воинской славе или морской известности; нет, они рассказывали о нем самом, как о человеке без блеска и титла. Говорили, как он был строг и вместе входил в малейшие нужды жителей, всякого сам утешал, каждому сам помогал, и его любили больше, нежели боялись». И далее: греки «желали знать все подробности об адмирале: когда он умер? где похоронен? какой сделан памятник, остались ли у него дети и т. п.».

Силу сенявинского обаяния испытывали армейцы. Когда Грейг пришел на Корфу, между ним, капитан-командором, и генералом Анрепом тотчас наметилось несогласие. Борьба тщеславий нередко пагубно отзывалась на борьбе с неприятелем, если армейских и флотских не возглавляли такие люди, как Суворов и Ушаков, Раевский и Лазарев, Хрущов и Нахимов...

Броневский заверяет: Сенявин добился «редкого единодушия морских и сухопутных начальников». Не выдавал ли желаемое за действительное автор, влюбленный в адмирала? Нисколько.

И главное тому доказательство — сами по себе сенявинские успехи, порожденные тесным и активным взаимодействием. Но сейчас нас занимает, так сказать, человеческая, а не тактическая сторона дела.

Тут у Броневского неожиданный союзник. Передо мною архивные письма тридцатилетнего генерал-майора князя Вяземского. Союзник неожиданный, потому что генерал этот отнюдь не поклонник Сенявина; у князя были свои счеты с Дмитрием Николаевичем (о них позже), и, однако, даже Вяземский не удержался от похвал.

Сидя на Корфу, генерал жалуется жене на скуку, а ниже пишет: «Сенявин, главнокомандующий наш, всегда занят делом». И в следующем письме опять о Сенявине: «человек очень, очень добрый», «с ним служить очень приятно, и можно быть им довольным всегда»\*.

И еще одно свидетельство. Принадлежит оно и не морскому офицеру и не русскому — итальянцу, принятому «государем в нашу службу». Манфреди, находясь на флоте, тоже, как и Вяземский, писал жене и тоже нередко упоминал имя главнокомандующего. Полковник, в частности, писал, что «мы вполне уповаем на распоряжения нашего храброго и великолепного адмирала, которого обожают все офицеры».

Но раньше других обаяние Сенявина испытывали, конечно, моряки, близкие адмиралу и по воспитанию и по традициям. Пользуясь выражением одного француза, все они составляли как бы звенья кольчуги, и Сенявин, сплывавшая подчиненных, сжимал звенья этой кольчуги, прежде чем принять вражеские удары.

«Звенья сжимали» адмиралы, озабоченные боевой готовностью своих эскадр, своих флотов. «Сжатие» достигалось в первую очередь учениями, учениями и еще раз учениями. Достигалось «изъявлениями» адмиралского удовольствия или неудовольствия. Но не все адмиралы при этом жаждали общения с подчиненными. Общения не сигналами, поднятыми на мачте, не распоряжениями, переданными через флаг-капитана, не отрывистыми командами со шканцев, нет, общения нетороп-

\* ОПИ ГИМ, ф. 257, д. I, лл. 59, 61 (об.). В дальнейшем цитаты из писем и дневников В. В. Вяземского даются без ссылки на источники. Бумаги князя Вяземского, использованные в этой книге, хранятся в Отделе рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина и в Отделе письменных источников Государственного исторического музея.

ливого, внеслужебного, подлинного размена чувств и мыслей.

У Сенявина такая потребность была всегда.

Пожалуй, во всей огромной, разноязычной маринистике нет романа, нет повести без сцен в кают-компании. Да и вправду, кают-компания, ward-room, saloon, занимает важное место в корабельной жизни. Однако общим местом давно уж стало изображать ее говорильней, где моряки, развалясь в креслах, точат лясы, ну, в лучшем случае (это уж когда подчеркивают интеллект персонажей) сражаются в шахматы. Верно: и грелись у камелька, и спиртным грелись, и в шахматы игравали, и в бостон, и трубками дымили, а то и музицировали.

Так бывало и на сенявинских кораблях.

Так никогда не бывало при Сенявине.

Не потому, что он замораживал присутствующих, или запрещал пустить в подволок пробку, или не терпел квартетов. Да нет, просто все эдакое делалось неинтересным. Интересен был сам Сенявин, его беседы и воспоминания, его суждения, не одни лишь профессиональные, но и политические, и о прочитанных книгах (а моряк-мемуарист подчеркивает, что Дмитрий Николаевич читал много), и о «слабостях, страстях и недостатках человеческого сердца».

В обществе ему неравных держался он как равный. Обращение главнокомандующего было «столь просто и благородно, что он, так сказать, вдруг давал доступ к своей славе, — рассказывает все тот же Броневский. — За столом Дмитрий Николаевич, казалось, был окруженным собственным семейством».

Он умел направлять беседы, но так, словно и не был направляющим. Он не вещал, а размышлял вслух, высказывая «свои мнения с такою скромностью, как бы они не были его мысли, а того, с кем он говорил».

Одна тема в особенности вдохновляла Сенявина, вызывая всеобщее внимание: это случалось всякий раз, когда «разговор переходил к России».

Мемуарист констатирует, а подробностей никаких. Правда, Павел Свиньин дает понять, что «коньком» адмирала было то, что историки теперь называют вопросами выхода России к Черному морю, укрепления Юга страны, развития тамошней экономики.

Свиньин сетует: «Как жаль, что от проклятой качки я не мог записывать ежедневно наших разговоров».

И вправду жаль! Разговоры «ежедневные», да к тому ж в течение двадцати ходовых суток, да еще с дипломатом, хоть и юным, не ограничивались, конечно, лишь черноморскими проблемами. Увы, биограф, отрицающий домыслы, не вправе начинать там, где кончается документ...

Офицеры морские и армейские, дипломаты и бокезцы, греки и черногорцы — много граней, однако не все. Было бы непрослительно не подумать об отношениях главнокомандующего с огромной массой простолюдинов, солдат и матросов.

В посланиях генерала Вяземского к княгине, «милый Катеньке», находим весьма выразительную картинку: «Быть на корабле — все каторга, за какой пункт ни хватись, все скверно... Скажем, что ходить морем есть одна приятная минута — та, в которую сойдем на берег, приехав в Корфу. Ну, вообрази, Катя, жара несносная, так что положи яйцо на парусину смоленую, оно в мешочек варится. Вонь от испарения народу, от пищи, вонь морской воды, выкачиваемой из корабля, вонь от воды, которую дают пить... Сверх этого бледно-желтые утомленные лица людей. А там качка, опасность от шторма и грозы... Всю скверную эту жизнь я не в силах описать».

Вяземский со своими егерями следовал в Корфу из Черного моря. У Сенявина на эскадре было сноснее, да и переход пришелся на не столь уж знойное время года. И все равно генерал дал верный очерк судового житья, неживописные подробности которого, зажав носы, обегают сочинители романтических вариаций на тему «Море — моряки».

Бедный Василий Васильевич даже описывать был не в силах. А ведь на корабле расположился генерал в сравнении с «нижними чинами» куда чище, куда вольготнее, не говоря уж про Корфу, где и вовсе обосновался по-барски.

Мужикам в матросском или солдатском платье повсюду и всегда доставалось солонее, нежели господам офицерам. Угрюмую сложили на Руси пословицу: в некрутчину — что в могилу.

Сенявин, конечно, неукоснительно надзирал за тем, чтоб «нижний чин» был сыт, обут, одет. Но у одних высших чинов эта заботливость была следствием холодного расчета: какой, к дьяволу, воин, коли брюхо пусто, а са-

поги каши просят?! У других заботливость была еще и следствием нравственной потребности.

В молодости Сенявин повторял потемкинский афоризм: «Деньги — сор, люди — все!» В старости Сенявин скажет офицерам: радейте не только о хлебе для служивых, «не хлебом единым жив человек», служивому подчас «спасибо дороже всего».

Есть драгоценное свидетельство, мелькнувшее в периферии много лет спустя после смерти Дмитрия Николаевича. Автор статьи, опубликованной «Кронштадтским вестником», указывал на «необыкновенный ум и способности» Сенявина, на его великодушие, равное его неколебимой твердости, на доброту и на то, что он «интриг не терпел». Все это, впрочем, явствует из многих источников. А вот что поистине драгоценное: «Нам случалось, — говорит И. Сойн, старый моряк, — от нижних чинов слышать: они не называли Сенявина иначе как родным отцом».

Дмитрий Николаевич не делил рядовых на любимчиков моряков и постылых армейцев. Матрос ли, солдат ли — было ему безразлично. Главное, все они были ему небезразличны.

Традиционная, жертвенная храбрость «нижних чинов» награждалась и поощрялась Сенявиным, как и прочими военачальниками. Но в самой манере награждать и поощрять Дмитрий Николаевич отступал от официального шаблона в сторону неофициальной душевности. Грубое или пустое «ты» он, не обмолвись, заменял сердечным «ты». Примером тому «военный обед», памятный не одним сенявинцам.

Обед венчал сражение. Пригласили большей частью рядовых. Главнокомандующий был с ними. Подняли тост за здоровье егеря Ивана Ефимова. Пять раз ударили полковые пушки. «Все солдаты, — говорит очевидец, — живо чувствовали сию необыкновенную честь... «Да здравствует Сенявин!» — слова сии повторялись войском и собравшимся во множестве народом сильнее грома пушек».

На обеде «адмирал отклонил от себя все особенные ему предложенные почести». Вот доминанта сенявинской способности «влюблять в себя». Чаровать старались и цари. Такие, скажем, как Александр I или Александр II; в их желании (и умении) «всем нравиться» крылось дамское свойство, родственное кокетству. Сенявин «влюбо-

влял в себя» не ради себя. И уж если Дмитрию Николаевичу нужны были пробужденные им чувства, то, подчеркивает современник, «единственно для общей пользы».

Кажется, никогда не клялся Сенявин в привязанности к русскому народу. Пылкость заверений подчас прикрывает именно недостаток привязанности. Его привязанность была не казовой, а нутряной, не велеречивой, а молчаливой, во многом и безотчетной. И не одну храбрость ценил он в матросах и солдатах. Ему были любы их бойкий ум, лукавство и удаля, склонность к шутке даже в минуту страшной опасности. Ему нравилось слушать, как матросы лихо переиначивают морские термины, как проворство в уборке или постановке парусов называют «на хвостовство», как корвет, нареченный именем римской богини Помоны, зовут «Поморой», а фрегат «Амфитрита» запросто кличут «Афросиньей»...

Для Сенявина корабельная жизнь не ущемалась ни в педантичных записях шканечного журнала, предшественника журнала вахтенного, ни в засургученных пакетах с секретными опознавательными сигналами, ни в маневрах или лавировках. Жизнь эта была для него и в жизни корабельщины с ее горестями, когда и тесно, и сыро, и нечем заменить сухарь, тронутый плесенью, с ее грустью по домашним кровлям, по далекой зазнобе. И с ее радостями, когда можно погулять на берегу или когда корабль вольно идет полным ветром, с ее ощущениями покоя, когда густеет ночь и ярче, ярче разгораются чистые звезды, а на баке негромко (после заката воспрещается шуметь) поют матросы. Ах, честное слово, нигде так хорошо, так стройно не поют, как на флоте...

4

Пожалуй, изо всего окружения Александра один князь Адам Чарторижский был неизменным и упрямым «теоретиком» сенявинской «практики». Чарторижский сразу и очень высоко расценил действия вице-адмирала в Которской области: «Сей предусмотрительный и смелый поступок способствовал поддержанию всеобщего к нам уважения».

Александр после Аустерлица весьма нуждался в «уважении»; ему, конечно, лестно было слышать о победе «своего флота». Но император по-прежнему мучился со-

мнениями. И потому долго не решался обмакнуть перо в чернильницу и подписать рескрипт, одобряющий и ободряющий главнокомандующего русских вооруженных сил на Средиземном море.

А главнокомандующий, сколь бы ни тревожила его позиция Санкт-Петербурга, не мог — да и не хотел! — сидеть сложа руки. Освобождение области было тем произнесенным вслух «а», которое повелительно, по логике военной, требовало произнесения «б». Тем паче что французы вовсе не костенели в ожидании дальнейших шагов «странного русского адмирала».

Французские войска на Балканском плацдарме нуждались в подкреплениях и снаряжении, в продовольствии и фураже. Доставлять все это сушей, где сам черт непременно сломил бы ногу, значило ломать конечности и солдатам и лошадям, а главное, тащить черепахой. Оставались морские дорожки из Италии, через Адриатику.

Которская область просила Сенявина обеспечить ее экспорт и ее импорт; бокезцам, лишенным ввоза и вывоза, хоть помирай, жизненные интересы звали их в порты Греции и Турции, в Триест, принадлежавший Австрии.

Отсюда двоякая задача Сенявина: борьба с противником на морских коммуникациях; поддержка друзей на морских караванных путях.

Второе исполнить было легче, стоило лишь выслать эскорт. Исполнить первое было трудно по причине дробной путаницы островитого далматинского берега и прибрежного мелководья, где французские малые каботажники имели возможность ускользать от русских дозорных.

Тут все зависело не только от бдительности, но и от хитрого расположения курсов и ловкого выбора позиций. Нужно сказать, командиры сенявинских кораблей работали почти без промашки.

Генерал Вяземский, сдается, с тайной завистью подсчитывал «доходы» соратников. Он писал в апреле 1806 года: «Здесь наши морские беспрестанно берут суда в призы<sup>\*</sup>. Белли взял 18 судов, в коих товару на миллион. Снаксарев взял судно с восемнадцатью тысячами червонцев. Капитан... (фамилия неясна. — Ю. Д.) взял

<sup>\*</sup> Приз морской — неприятельская собственность или военная контрабанда, захваченная в морской войне. Командам, захватившим ее, полагались так называемые призовые деньги.

судно с товаром на 80 000 талеров и 400 французов в плен».

Понятно, французам такая «бухгалтерия» совсем не улыбалась. Не совсем улыбалась она и британскому союзнику России.

Английский консул в Корфу, по словам его соотечественника-историка, «непрерывно жаловался на бесполезность сенявинских кораблей и умолял прислать великобританскую эскадру».

«Бесполезность»?.. В том-то и штука, что союзников всерьез беспокоила именно активность Сенявина: англичане исподтишка прицеливались к Балканам; им страсть хотелось прибрать к рукам Адриатику. Потому-то консул и вызывал эскадру.

В июле восьмьсот шестого года адмирал Коллингвуд, преемник покойного Нельсона, получил приказ отрядить фрегаты на север Адриатики. И вскоре корабли его величества замаячили на траверзе Венеции, на траверзе Триеста. Но Сенявин на несколько месяцев упредил союзников...

Наполеон был не в силах смять русских моряков. Зато Наполеон был в силах поднять австрийцев. Император Франц согласился запретить Триест, не пускать туда русские боевые корабли. А Триест служил опорной базой кораблям, дислоцирующимся в северной Адриатике, да еще и «почтовым ящиком»: ближайший порт к Санкт-Петербургу; все депеши и все курьеры от Сенявина и к Сенявину следовали через Триест.

Дмитрий Николаевич сознавал, что при достаточном упорстве австрийцев ему, вице-адмиралу российского флота, не удастся долго оспаривать тех, с кем самодержец всероссийский отношений не пресек. Суть крылась в другом. Бокезские суда ходили под русским флагом. Бокезские суда стояли в Триесте. Губернатор велел им убраться за неделю. Они этого никак, ну, совсем никак не могли под угрозой банкротства. Сенявин не хотел отдать на поток и разорение друзей, вверившихся русским, вверивших русским. Он был не из тех, кто путал нравственный престиж России с династическими отношениями, дворцовая дипломатия — одно, а обязательства друзьям — другое.

И вот «этот» Сенявин поднимает свой флаг на «Селафаиле», берет еще два линейных корабля, берет фрегат да и несет все паруса. И в середине мая, заглянув попут-

но в порт Дубровник, что к северу от Которо, «этот» Сенявин отдаст якоря на дистанции, достижимой для береговых батарей австрийцев.

Прежде командиры-сенявинцы швартовались у набережной, чуть ли не за тосканские колонны городского театра. И разгуливали по улицам, которые «не хуже наших петербургских», вдоль фасадов «большей частью в пять этажей», и сиживали в кофейнях, обмениваясь вежливыми поклонами с австрийскими офицерами.

Сенявин на берег не съезжал, Сенявин на берег взирал. Перед ним был прекрасный город у подножия Карста. Город мраморных кумиров и фонтанов, роскошной аллеи, древних базилик, римского водопровода.

Совсем недавно маркиз Гизлиери просил русских хоть разик стрелнуть, дабы сохранить свое реноме. Нынче фельдмаршал фон Цах просил русских удалиться из сектора обстрела его пушек, дабы тоже сохранить свое реноме. Увы, фельдмаршалу выказали одинаковое с маркизом непослушание.

Фон Цаху было сказано:

— Стреляйте, я увижу, где лягут ваши ядра и где мне должно встать.

Фон Цах пустился в рассуждения: зачем портить отношения императора Франца и императора Александра; дескать, его превосходительство вице-адмирал превышает полномочия, что есть нарушение артикулов, что есть недисциплинированность, что есть плохой солдат; дескать, у стен вверенного ему, фон Цаху, Триеста стоят двадцать тысяч французов, каковые войдут в город, если господин вице-адмирал не покинет рейд.

Фон Цаху ответили:

— Теперь нет времени продолжать бесполезные переговоры. Вам должно избрать одно из двух: или действовать по внушению французских генералов, или держать точного смысла прав нейтралитета. Мой выбор сделан, и вот последнее мое требование: если час спустя не возвращены будут суда, вами задержанные, то силою возьму не только свои, но и ваши, сколько их есть в гавани и в море. Уверяю вас, что и двадцать тысяч французов не защитят Триеста.

Сделав свой выбор, Сенявин понудил фельдмаршала сделать свой. Фон Цах согласился. Он поступил разумно: русским не пришлось открывать огонь, а французы не имели повода затопить город большими батальонами.

Сенявин ушел.

Он ушел не потому, что недалеко от Триеста мерцали штыки. Нет, другие штыки уже блестели в Далмации. Вот отчего он сказал фельдмаршалу: «Теперь нет времени...»

5

Средиземные моря — баловни Атлантики. Они не ведают мужественных страстей океана, им присущи женские капризы и коварство.

Но капризами, но коварством, даже если счесть их свойствами только женскими, не определяются свойства вечной женственности. Есть гармония. Ее зовут небесной, а она земная, и это, право, лучше. Есть живая гармония, мягкость созвучий, плавность линий. Есть то, что постигали поэты; быть может, яснее прочих Торквато Тассо. И Пушкин, думая о Тассо, слышал, как во мгле ночной

Адриатической волной  
Повторены его октавы...

Твердь без вод и воды без тверди не одаряют ощущением завершенности; без завершенности нет совершенства. И потому, наверно, адриатические волны бегут к Далмации, к Хорватскому приморью.

Эти мысы, словно созданные для маяков, и эти гроты, будто органичные мехи для хоралов прибоя. Эти острова, точно изножья храмов, и эти скалы, похожие на их руины. Эти солнечные бухты, приманка паруса, и этот парус, летучий вестник судьбы. Прозрачна лазурь, где игрища тунцов и макрелей, анчоусов и сардинок. Сера твердь, где теснится рослый можжевельник, а на земляничном дереве наливаются оранжевые ягоды; твердь известковых склонов, где вереск вымахивает к небу и неизменно зелен пушистый дуб, где колышутся гибкие ветви испанского дрока и приплюснуты кроны алеппской сосны. А там, в поднебесье, на вершинах Далматинских Альп, — снега, снега, снега. У них звучный и чистый цвет, присущий высокогорному снегу. И они как палитра для косых и длинных лучей заката, когда в таинственном безмолвии дневная ровная блескучность сменяется трепетом оттенков, начиная нежно-розовым и кончая густо-фиолетовым.

Что-то наивное и вместе горестное есть в смешанном чувстве восхищения природой и недоумения пред злой властью людского рока. Чуткие путешественники видели здесь и «блестящий синтез адриатических красот», и край, где нет ни пяди, «которая не была бы обогрета кровью, пролитой славянством в его борьбе с врагами. Каждый камень может служить памятником героических защит и удачных нападений, всякая скала помнит чью-нибудь мученическую смерть», — писал Дмитрий Голицын, посетивший Далмацию позднее Дмитрия Сенявина.

В Триесте, ломая австрийскую гордыню, Сенявин получил черные известия. Сенаторы Дубровника изменили своему слову: они без выстрела отворили ворота города перед французским генералом. И в то же время русская дипломатия, в сущности, затворила эти же ворота перед русским адмиралом...

Дубровник (Новая Рагуза) лежал севернее уже знакомого нам Которо. Он лежал на выдавшейся в море косе, словно протягивая руку Адриатике. Его главная улица Страдоне была коротышкой — три сотни метров, ну, может, чуть больше; другая «магистраль», улица Бочаров, была узенькой — два-три метра.

Однако величина и величие не синонимы.

Величие и не в величине торговых оборотов, в Дубровнике значительных. И не в той увертливости, с какой Дубровник веками обращал чужое господство — то византийцев, то венецианцев, то османских турок — в нечто весьма приблизительное, почти номинальное.

Ремесла и искусства — корни не мнимого величия.

Некогда подле Дубровника широко шумели дубравы. Строго храня тайны мореходных качеств, дубровчане строили отменные суда. Моряк подчас был и мастеровым; он не расставался ни с компасом, ни с отвесом. Слава здешних плотников и конопатчиков далеко разносилась, как, впрочем, и слава оружейников, которые уже в середине четырнадцатого столетия пушки лили. И стекло дубровчане изготавливали, и душистое мыло варили, и золотом шлили, и в виноделии толк знали.

Усидчивые ремесленники и непоседливые плователи, жили они кипуче и бойко, много знали, много видели, принимали гостей и сами гостили в Барселоне и во Флоренции, в Стамбуле и Смирне.

Дубровник прославился и как светоч балканского образования. Прозванный юго-славянскими Афинами, он

манил ученых даже из страны Леонардо. Дубровчанину Илье Чръевичу едва восемнадцать минуло, а его уже «короновали» в Риме королем поэтов.

Сказано: города — яркие цветы средневековья. Дубровник — из самых ярких. За его крепостными стенами, в его улочках отстоялась культура, светившаяся, как полотно Тициана. А у стен Дубровника море мерно мерило время. Оно было и стихией и мыслью, воплощением единства материального и духовного бытия.

Но, «как волны следом за волною, проходят царства и века». И присмирел Дубровник, подобно многим старинным городам, овеванным бризами. Не тот уж, что прежде, был он в сенявинскую пору. Однако все еще удерживал осанку, оставаясь важным портом, весомым стратегическим пунктом, близким соседом Которской области, а не только «поразительно хорошо сохранившимся образцом средневекового города», и потому французы рвались в Дубровник, он был им нужен.

Дубровником заправляли те, кто по-славянски назывался властелями, а по-латыни — нобилиями: откупщики и ростовщики, судовладельцы и купцы. Поначалу вся эта публика была не прочь стакнуться с Сенявиным. Главное-то ведь — свобода мореплавания, а она обеспечивалась не французом, на морях хилым, нет, русским и англичанином, на морях могучими.

Направляясь в Триест, Сенявин поспел заглянуть в Дубровник. Хоровая хвала русским давно докатилась из Которо до Дубровника. Вице-адмирал пришел туда как званный. Его встретили «с великими почестями и торжеством», а он, что называется, с порога сделал хозяе вам приятный сюрприз: прямо в порту захватил французских корсаров.

Сенаторы и главнокомандующий столковались — едва наполеоновские войска приблизятся, как дубровчане ударят в набат, кликнут всех к оружию и примут сенявинских егерей и гренадеров.

Еще в начале года у Сенявина вызрел план действий в районе Дубровника, в Рагузинской области. Колебания царя, непоследовательность дворцовой политики путали замыслы адмирала. Вопреки своим планам он вынужден был медлить. Правда, свиданием с сенаторами положение как будто выпрямилось.

Однако, покамест Дмитрий Николаевич выручал в Триесте божеские суда, к Дубровнику подоспел гене-



рал Лористон. Господа сенаторы мгновенно утратили остатки и без того небольшого мужества, и Лористон взял Дубровник, как наливное яблочко с поникшей ветви.

И хотя Сенявину наконец позволили действовать по «собственному усмотрению», но то уж была ложка не к обеду, а после обеда. Князь Василий Вяземский возводил на главнокомандующего напраслину: потеряли, дескать, Дубровник, ибо «Сенявин парил по морю, искав себе призов куческих».

Варить кашу — одно; расхлебывать кашу — иное. Сенявину досталось последнее. Вести диалог с податливыми австрийцами — одно; вести диалог с французами, осененными гением Наполеона и подхлестнутыми его энергией, — другое. Сенявину и это досталось.

Он двинул моряков и армейцев, корабли и батальоны. Он взаимодействовал и с отрядами черногорцев, привычных к партизанщине, и с отрядами которцев, непривычных к войне.

Сенявин — флотоводец по самой своей сущности — стал полководцем. И тут возник психологический момент, не предусмотренный никакими рескриптами. Дмитрий Николаевич был «приятен» высшим армейским офицерам во дни относительного спокойствия. Отныне именно от него зависела их профессиональная репутация. И если моряки отрицают (и это, по-моему, верно) способность генералов командовать эскадрой, то и армейцы могут не слишком доверять умению адмиралов командовать полками.

В сухопутных операциях лета и осени восемьсот шестого года можно, думается, отыскать просчеты. Но в целом боевая практика доказала, что адмирал твердо и верно распоряжался как кораблями, так и полками.

Решая двойную задачу (из Дубровника неприятеля выбить; в Которо неприятеля не пустить), Сенявин совершил все, что мог. Он совершил больше того, что мог. Французам, пишет современник, «совершенно было известно, что число наших войск втрое слабее», но они «художественно знали Сенявина, стоящего своим умом и деятельностью главной силы». И не вина Дмитрия Николаевича...

Впрочем, отдадим-ка якорь и присмотримся к камням, которые могли бы «служить памятником геройских защит и удачных нападений», к скалам, почти каждая из которых «помнит чью-нибудь мученическую смерть».

Генерал Вяземский, нежный супруг, настойчиво пригласил княгиню покинуть Одессу и ехать в Корфу. Княгиню-де могла бы остановить лишь война с турками, но «это вздор, это — быть не может. Есть ли будет дело, то или в Албании, колотить Али-пашу, или в Монтенеграх (Черногории. — Ю. Д.) с французами». Так он писал в апреле 1806 года, прибавляя, что «ежеминутно готов выступить». В майском письме Вяземский, все еще находившийся на Корфу, загодя скорбит о том, что ему, видимо, придется «терпеть от адмирала неудовольствия». Почему? А потому, говорит Василий Васильевич, что «адмирал наш самых потемкинских времен». В устах бывшего ординарца Суворова такое определение, очевидно, звучало порицанием. Невозможно, однако, уяснить, что именно дало генералу повод сердаться на адмирала. Но важнее не причина, не повод, а настроение, с каким Вяземский явился к Дубровнику командовать сухопутными войсками.

Сенявин с флотом был у Дубровника. Пришли и черногорцы во главе с Негошем. Накануне уже произошла сшибка с неприятелем на территории республики Дубровник, у Цавтата, или Старой Рагузы.

Вяземский не упустил случая попенять флотским, на сей раз не без основания. Генерал записал в личном журнале-дневнике: «Полка моего майор Забелин выступил с батальоном его и 5-ю ротами Витебского мушкетерского полку. Две роты Забелина батальона были в авангарде и атаковали с черногорцами малой аванпост французов и с легкой перестрелкой преследовали их до самой Старой Рагузы, куда потом прибыли все черногорцы и наши, а французский аванпост уехал на лодках в Новую Рагузу. Сия бы малая часть должна быть вся в плену, если б хотя бы один бриг стоял на рейде Старой Рагузы, но сего не догадались».

Четвертого июня 1806 года Сенявин, Вяземский и Негош долго и тщательно, с моря и суши осматривали вражеские позиции в районе Дубровника. Французы умно и хитро выбрали свои позиции. Овладение ими требовало почти повторения суворовского перехода через Сен-Готард. Сенявин полагал возможным совершить невозможное. Вяземский пожал плечами: «Великое о себе мнение». Негош сказал, что сам поведет стрелков.

Следующий день выдался ясным. Очутись у Дубровника егеря Батюшков, он бы, ей-богу, десятью годами раньше сочинил стихи, полные воинской энергии:

Какое счастье, рыцарь мой,  
Узреть с нагорные вершины  
Необозримый наших строй  
На яркой зелени долины!

Да дело-то в том, что на вершинах сидел враг.

«Неприятель, — пишет Броневский, — расположился на неприступных каменистых высотах Рагузинских, устроил там батареи на выгоднейших местах и готов был к принятию атаки... Природа и искусство обеспечивали его совершенно. Правое крыло его прикрыто было морем и крутым берегом, левое турецкою границей, где не надлежало быть сражению. Пред фронтом его отвесные высокие скалы; занимаемые им четыре важнейшие пункта были один за другим сомкнуты и соединены так, что каждый из них могут защищать один другого». Прибавьте и численный перевес: у Лористона семь тысяч бойцов, а у Сенявина четыре тысячи шестьсот.

Застрельщиками ринулись черногорцы — стремительно, ловко, «запальчиво». И тотчас опрокинули передовые посты врага. Но французы быстро опомнились и потеснили черногорцев. Вяземский, не промешкав, послал им на подмогу егерей капитана Бабичева.

Надо сказать, адмирал получил в свое распоряжение и опытных офицеров, сподвижников Суворова, и опытных солдат, обученных этими сподвижниками.

Василий Львович, дядюшка Пушкина, намарал однажды экспромт:

Он месяц в гвардии служил  
И сорок лет в отставке жил,  
Курил табак,  
Кормил собак,  
Крестьян сам сек,  
И вот он в чем провел свой век!

Офицеры, подчиненные Сенявину, были не из эдаких. Выслугу нетрудно определить, заглянув в архивный экземпляр «Конduitного списка» одного из полков, отправленных на Средиземное море. Солидный был стаж: полковник находился в строю тридцать восемь лет; майоры — от двадцати пяти до двадцати восьми; капитаны — от десяти до двадцати пяти; поручики — от девяти до

пятнадцати; подпоручики — от шести до семнадцати. И даже прапорщики, которых принято звать безусыми, прослужили уже шесть-восемь лет.

Коль скоро дело разворачивалось в горах, особую роль играли егеря. Роль егерей определил Кутузов, когда командовал Бугским корпусом. В своих «Примечаниях о пехотной службе вообще и о егерской в особенности» полководец указывал: «Егеря, назначен будучи к такому действию, которого успех зависит от верной стрельбы, как-то: в тесных проходах, в гористых и лесных местах, где он, часто и поодиночке действуя, себя оборонять и неприятелю вредить должен».

А еще до Кутузова сноровкой егерей озаботились Потемкин и Румянцев. Учили и «проворному беганию», и умению «подпалзывать скрытыми местами», и заряжать ружья, ложась на спину, и обманным хитростям «как-то: ставить каску в стороне от себя... прикидываться убитыми...».

Всем этим великолепно владели егерские полки, приданные Сенявину. И конечно, всем этим они были обязаны таким офицерам, как, например, Бабичев, Забелин, Езерский.

Когда речь идет о боях на суше, лучше обращаться к журналам Вяземского или рапортам Попандопуло, нежели к «Запискам» Броневского. Не потому, что первые архивные, не «зацитированные», а вторые — печатные, настольные у многих исследователей. Нет, потому, что генералы Вяземский и Попандопуло были специалистами, а Броневский — зачастую сторонним наблюдателем.

Вот рассказ Вяземского об эпизоде жаркой битвы «на высотах Рагузинских»: «Французы решились отчаянно защищать сию позицию. Но капитан Бабичев с черногорцами не уступил ни шагу отчаянному неприятелю. Я приказал двум ротам из трех держаться сколько можно на сей высоте. Это была для нас критическая минута. Французы теснили с высот черногорцев и охотников наших, а колонны были еще на половине утесов. Ретирада же в сем случае стояла бы мне большей потери, но Езерский и Забелин с колоннами взлетели на горы, тогда черногорцы и охотники, видя сей храбрый подвиг обеих колонн, остановились и открыли сильный огонь, а колонны, вскрикнув ура, бросились вперед. Неприятель тотчас обратился в бег».

Страшное физическое и духовное напряжение выдержали знойным июньским днем солдаты-егеря и удалыцы Негоша. Их осыпала картечь, перед ними, среди них рвались ядра, взметывая каменный щебень, столь же смертоносный, как и сама картечь. А пропасти? Одно неверное движение, одна оплошность в горячке боя грозили гибелью.

Смеркалось. Противник оттягивался под защиту крепостных стен Дубровника. И тут-то начал подходить авангард другого наполеоновского генерала — Молитора.

Идут — безмолвие ужасно!  
Идут — ружье наперевес...

Только второе дыхание поверяет запасы мужества. Энергия, кажется, уже исчерпанная, должна, словно волшебством, воскреснуть, иначе все добытое, все купленное кровью обратится в прах.

На втором дыхании, измотанные долгой битвой, русские и черногорцы ударили по авангарду Молитора, ударили, навалились и отбросили, хотя Молитора поддерживала крепостная артиллерия.

Стемнело, сражение кончилось.

О радость храбрых! киверами  
Вино некупленное пьем  
И под победными громами  
«Мы хвалим господ» поем!..

А была-то всего лишь ночь для роздыха. Молитор стоял неподалеку. На стенах Дубровника пылали бдительные факелы. Чудилось, неприятель дышит под боком.

Утром Сенявин попытался разведать, что да как на острове Сан-Марко. Остров вставал из волн на подходах к Дубровнику. На темени острова, гористого, как вся Далмация, как все ее острова, сидело укрепление в терновом венце густого, когтистого кустарника.

Адмирал послал на остров Буасселя. Полковник бросил десант в шестьсот душ. Десантники разделились на три отряда. Отряды, карабкаясь, падая и поднимаясь, побежали вверх. Укрепление загремело выстрелами. Десантники, теряя товарищей, добежали, пали ниц, хороня головы за каменьями, потом выставили дула ружей и стали палить.

Сенявин наблюдал за происходящим с корабельной палубы. Он сознал невозможность успеха «без чувстви-

тельных потерь». Чувствительные потери били по его чувству. Он был волен приказать: во что бы то ни стало и т. д. Мало ль высот безымянных и поименованных брали ради тщеславия? А человек, которого тот же Вяземский обвинял в преследовании личной выгоды, поехал на остров Сан-Марко, поехал под огонь и, убедившись в положении дел, приказал играть отбой. Сенявин всегда очень осмотрительно, очень скупое шел на жертвы, «особливо, подчеркивал он, столь драгоценные, как наши солдаты».

Вяземский, осадив Дубровник с суши, перекрыл водопровод и обрек горожан и французов мукам жажды. Эскадра, блокируя Дубровник с моря, перекрыла подвоз продовольствия, осудив и горожан и французов на муки голода. Без вины виноватые дубровчане расплачивались за трусость сенаторов-толстосумов.

Лористон трепыхался как в силках. Его усачи выскакивали из крепости, пытаясь прорвать осаду, а их поражали черногорцы и егеря. Лористон бахал из пушек по горам, а в ответ получал, как эхо, залпы русских батарей.

Для французов дело было дрянь.

И тут — в какой уж раз! — военным подставили ножку политики.

7

Помню, старый писатель, вздыхая, говаривал мне: «Скверная штука, брат: жизнь отжить да в Париже не побывать...» Согласен. Но как увидеть Париж, современный Сенявину? Разумеется, бессчетны описания славной столицы Франции, современной моему герою. А мне хотелось такое, какое сделал бы не просто современник Дмитрия Николаевича, нет, русский современник.

Тут и попались в архиве путевые заметки дворянина Сергея Михалкова. Назывались они несколько курьезно — «Журнал отсутствия моего из Петербурга». Листаю плотную голубоватую бумагу, мысленно одобряя автора за то, что пишет по-русски и пишет разборчиво. Ну-с, листаю: Германия, Германия, немецкие города, немецкие достопримечательности... Стоп: «Приехал в Париж...» И баста — голубоватая бумага девственна. Ни строчки, ни словечка. Видать, закружился в парижском вихре Сергей Владими-

рович, забросил журнал своего «отсутствия». Жаль. Ибо «немецкие» странички хоть и беглые, а дельные.

Но вот обдуваю пыль с маленькой книжицы, косясь на тисненый золотом корешок: «Панорама Парижа». Ба, автор — земляк мой, москвич Лев Цветаев. Ах, молодчина, посетил Париж, посетил именно тогда, когда Сенявин был на Средиземном море.

Цветева неприятно поразили кривые улицы, грязь предместий, рой мух над мясной лавкой и людской рой от Лувра до «моста Богоматери». Зато в Пале-Рояле он любит «беспрерывным пиром», освещенными «кофейными домами и ресторатерами», «прелестными нимфами», от которых, правду сказать, всего благоразумнее упрятать подальше и сердце и кошелек.

Парижские нравы не по праву москвичу: «супружеская верность там величайшая редкость»; «роскошь непомерная, рассеянность непрерывная»; «храмы божии пусты, чернь говорит о святине с величайшей дерзостью». Не по душе ему и другая, подлинная чернь — светская. «Извращая порядок природы», она покидает постель в два пополудни, в пять прогуливается, в семь обедает, а после театра «без памяти танцует до трех или четырех часов утра».

Он обошел картинные галереи, старинные церкви, Лативский квартал и Монмартр — короче, все, что обходит добросовестный визитер. Но вот что хорошо: от Цветаева не укрылось обстоятельство действительно характерное — революция минула, пробил час наследников; слова «Свобода, равенство, братство» еще обозначаются на стенах кое-каких общественных зданий, но лишь на стенах, и *нигде больше*, — выделяет он курсивом.

«Вещественным» доказательством смены времен — бесценные гренадеры императорской гвардии на ступенях Тюильрийского дворца: медвежья шапка, медали и шевроны, тяжелые ружья у ног. Гренадеры охраняют «маленького капрала» и великого полководца.

Он часто превращает ночь в день. Но не танцует, как светская чернь, а работает в кабинете, куда нет доступа посторонним. Он пишет, небрежно отирая перо о панталоны, брызжет чернилами на бумагу, на пол, на бронзу. Иногда слышится осторожный стук камердинера: в соседних покоях, в алькове трепещет, кусая губки, юная женщина. Но он очень занят, император Наполеон, он бросает трывисто: «Пусть подождет!» Двигаются стрелки камин-

ных часов. Камердинер напоминает: она здесь, ваше величество. «Пусть раздевается!» И продолжает работать, не взбадриваясь ни табаком, ни алкоголем. Светлеет восток, светлеют крыши Парижа. Камердинер скребется в дверь. «Пусть уходит!» Император заглядывает в полированный длинный ящик: там картотека иностранных дивизий, артиллерийских парков, эскадр. И между прочим, кораблей и полков адмирала Сенявина, лично незнакомого императору. А рядом, всегда под рукой — круглые футляры, обтянутые овечьей кожей, футляры с картами и чертежами, на которых означены маршруты будущих вторжений. И между прочими — карты Далмации, Которской области, Адриатики.

Утром Наполеон принимает свору королей, принцев, герцогов. Принимает министров и маршалов, членов государственного совета и дипломатов, писателей и ученых. Он может быть очень любезным, император Наполеон, но руки никому не подает; рукопожатие — знак равенства; а кому ж он равен, император Наполеон?

Переставляя костыль, ковыляет Шарль-Морис Талейран. «Его взгляд, подозрительный и хитрый, отличается плутовским и испытующим выражением, — говорит русская мемуаристка. — Его синеватые трясущиеся руки внушают отвращение; в общем, у него преступный вид».

«Преступный вид» министра иностранных дел ничуть не смущал императора. В конце концов, политика не раут и не чопорный концерт в австрийском посольстве, где солирует скрипач негр Жюльен. Политика, черт побери, черна, как этот виртуоз... С хромцом держи ухо востро: при ходьбе опирается на костыль, в политике — на себя самого.

Впрочем, теперь, летом восьмьсот шестого года, человек «преступного вида» еще не продан русскому царю. Нет, он предан императору французов. Однако, лишь настолько, насколько он вообще способен на преданность кому-либо, кроме собственной персоны.

Год начался похвально: Аустерлицкое побоище сокрушило Вильяма Питта, он лег неподалеку от Нельсона — в Вестминстере, а к власти в Англии пришел Фокс, всегдашний поборник замирения с могучим соседом. Завязав одной рукой осторожную ворожбу с англичанами, Наполеон другой рукой вязал Германию. Он велел немцам избрать его протектором Рейнского союза. Немцы избрали.

«И все падало перед Наполеоном,— горестно замечал литератор Глинка. — И великий политик Питт, который шестнадцать лет звонкими гинеями двигал и передвигал войска европейские,— Питт умер в 1806 году, когда с берегов Сены Наполеон перешагнул на берега Вислы. Нет и Нельсона: он убит в Трафальгарской битве. Он как будто условился с Питтом умереть в одно время, чтобы дать свободу широкой груди Наполеона надыхаться воздухом всех небосклонов европейских».

«Надыхаться» мешала Россия. Она застила чуть не половину небосклона. Правда, там, в Петербурге, очень и очень обеспокоены встречами лорда Ярмута с Талейраном: если Англия отступится, Россия изолирована. (Пруссия не в счет, с нею можно и должно управиться скорехонько.) Остается какой-то странный упрямец на Средиземном море. Но разве даже самый храбрый и самый упрямый адмирал в силах противостоять своему монарху? Пустое! Да вот извольте-ка: сюда, в Париж, направляется статский советник, который, кажется, уполномочен возвратить Которскую область австрийцам. А те — лишь «промежуточная инстанция». И стало быть, эта глупая, ни на что не похожая сумятица с Балканским плацдармом разрешится благополучно.

Действительно, в те июньские дни, когда Сенявин дрался с Лористоном и Молитором под Дубровником, когда Сенявин не пускал ни Лористона, ни Молитора в Которскую область, в те дни в Париж поспешал пухлолицый, чуть горбоносый и весьма упитанный статский советник Петр Яковлевич Убри. И действительно, он имел полномочия относительно Которо, Ионических островов, Дубровника, словом, вправе был решить судьбу Сенявина и сенявинцев, но лишь затем и для того, чтобы выведать, как обстоит дело с англо-французским сближением.

Статский советник приехал в Париж на исходе июня. Князь Беневентский, он же Шарль-Морис Талейран, имея точные указания Наполеона снабжать Убри неточной информацией, тотчас принялся обхаживать Петра Яковлевича.

А Петр Яковлевич был просто-напросто исполнительным чиновником, столь же годным для дипломатии, как и для службы в любом другом казенном ведомстве. Где ему было объегорить талантливую дельца «преступного вида»?

Талейран так его опутал и так запутал, что статский

советник подмахнул условия, обязывающие Россию убрать войска с Балканского полуострова, а в Ионическом архипелаге сохранить (да и то временно) лишь незначительный гарнизон.

Еще не просохли чернила на официальном документе, как угоревший Петр Яковлевич уже строчил Сенявину: «Честь имею сообщить вам, что, согласно полномочиям, данным мне его величеством императором, нашим августейшим государем, я подписал сегодня окончательный мирный договор между Россией и Францией, заключающий в себе условия, набросанные в прилагаемой выноске. В силу этого имею честь послать вам настоящее формальное требование приступить немедленно к истолкованию сих различных статей в согласии с командующим французскими войсками, который доставит вам это письмо. Тем более приглашаю ваше превосходительство поспешить с этими мерами, что задержка с вашей стороны может нарушить спокойствие различных государств Европы».

Не сомневайтесь: главный директор почт мосье Лавалет, бывший адъютант Наполеона, назначал для доставки таких депеш лучших лошадей и лучших почтарей!

А на другой день «политик», указавший Сенявину, как ему поступать, и грозивший ему неприятностями, этот самый «политик» признавался: «Французское правительство так наседало на меня, что я согласился подписать окончательный договор между Францией и Россией».

Статский советник ни в первом, ни во втором случае даже и не обмолвился, что договор-то прелиминарный, предварительный. А Наполеон с Талейраном отлично знали, что в дипломатической практике существует такое понятие, как ратификация, и что стоит Петербургу узнать правду о висевшем на волоске призрачном франко-английском сближении, как все усилия по одурачиванию господина Убри пойдут к чертям. Надо было быстренько сунуть под нос русскому главнокомандующему копию договорных условий.

Торопливость французов была поистине лихорадочной. Так, например, принц Евгений, пасынок Наполеона, находившийся в Северной Италии, в один и тот же день дважды писал Сенявину и дважды гонял к нему гонцов.

В полдень — письмо: «Господин адмирал, спешу предупредить вас, что только что заключен мир между его величеством императором французов, королем Италии, моим

августейшим отцом и повелителем, и его величеством императором всея России. Договор подписан 20 июля...

В нем предусмотрено немедленное прекращение военных действий, о чем вы получите предписание с курьером, которого должны послать к вам из Парижа на другой же день. Я, однако, счел своим долгом предупредить вас об этом и прошу сообщить сие французскому командующему, который окажется в непосредственной близости от вас, чтобы все военные действия прекратились тотчас, во избежание напрасного кровопролития».

Вечером — еще письмо: только что получены депеши «господина де Убри», адресованные вам, то есть Сенявину; равно получены и депеши для Лористона; документы передаст и вам и Лористону «мой адъютант полковник Сорбье».

8

Что требовалось от дипломата?

«Быть красивым малым.

Принадлежать по возможности к знатному роду.

Иметь состояние.

Обладать светским лоском.

Уметь разговаривать с женщинами и обольщать их, в особенности обольщать!»

Может, еще что-нибудь? О нет, «остальное было уж не так важно. Молодой человек проходил испытательный срок в министерстве, где его обучали в первую очередь искусству кланяться».

Сенявин не соответствовал ироническим «кондициям» Мопассана. А дипломатическое поприще досталось Дмитрию Николаевичу столь сложное, запутанное, зыбкое и чреватое опасностями, что, право, и дюжину дипломатов бросило бы в озноб.

Первое, что встало с мгновенной и беспощадной ясностью: росчерком пера губилось громадное предприятие! Все летело вверх тормашками — достигнутое и то, что вот-вот было достигнуто! О, какой взрыв чувств — ведь Сенявин не обладал ни ледяным цинизмом, ни горячечным карьеризмом, а был наделен, как говорил Павел Свиньин, «пламенной душой».

В подобных случаях беллетристы чаще всего живописуют муки бессонницы, как актеры, изображая волнение, неизменно хватаются за папиросы и ломают спички. Не

мне судить, что услышали и чего не услышали, что увидели и чего не увидели стены адмиральской каюты, отделанной с той благородной и строгой изысканностью, какую умели придавать каютам военных парусных кораблей питерские краснодеревцы. Несомненно, однако, что «пламенная душа» Дмитрия Николаевича не осталась недвижимой. И должно быть, мелькнуло в уме: живет в Санкт-Петербурге Адам Чарторижский. Сенявин знал: соло-мин-ка... Но не знал он, что князь, всемилостивейше удаленный, всемилостивейше заменен бароном фон Будбергом. Современный нам исследователь несправедливо обзывает Будберга «покладистым»; рижанин недолго сидел в министерском кресле. Но Дмитрий Николаевич об этом не ведал, как не ведал и об отставке Чарторижского, сторонника решительной поддержки греков и славян.

И еще была мысль (не догадка — капитальное убеждение), мысль Сенявину путеводная и определяющая, мысль о Наполеоне, о наполеоновской Франции как неизбежных и недалеких, грозных и удачливых врагах его, Сенявина, родины.

«Слепой только не увидит, когда внезапное облако налетит и затемнит солнце. Но у всех тогдашних государственных людей вещественные глаза были светлые. Отчего же не видали они, какая туча собирается и скопляется на Россию?» — задним числом негодовал Глинка.

Мы вправе ему возразить: нет, Сергей Николаевич, видели, некоторые-то видели. Правда, лишь подлинно государственные люди, а не те, что грели мягкие места на местах государственных.

Сенявин (как, например, и Кутузов) отчетливо различал, какая «туча скопляется». Различал и теперь, в шестом году, различал и потом, когда угодил под начальство к самому Наполеону. И этот «недальновидный», по определению злопыхателя Вяземского, командующий рисковал головой, но, всем чертям назло, «не двигался за Наполеоном».

Сказать по правде, Сенявин начиная осаду Дубровника уже был осведомлен о намерении Александра возвратить Которскую область австрийцам. Переубедить царя адмирал рассчитывал развитием которского успеха.

Расчет этот лишний раз обнаруживал в Сенявине человека, для которого польза дела стояла выше автоматички бездумной «исполнительности». А князь Вяземский опять заскрипел зубами: Сенявин-де положил не отдавать Ко-

торо, «видя в том личные свои выгоды и ссылаясь, что сие повеление государя последовало еще прежде, нежели государь знал о занятии Рагузы (Дубровника. — Ю. Д.) французами». Господи, кого только не обвинишь «в личных выгодах», глядя сквозь очки ненависти!

А слухи о намерениях русского царя уже текли среди которцев быстрее и шумливее горных ручьев. Сенявин сообщал в Петербург: «Воображение, что они принуждены сделаться австрийскими подданными, а потом, к вящему своему несчастью, поработены будут и французами, крайне угнетало их дух, и они от сего потеряли всю свою бодрость против французов».

С прибытием парижских известий «бодрость потеряли» и черногорцы. Они потянулись к родным вершинам, их биваки «на высотах рагузинских» опустели. А из Франции уже направился в Далмацию генерал Мармон во главе пятнадцати тысяч солдат и офицеров.

Сенявин тем временем выигрывал время. Он вежливо препирался с французскими генералами и австрийскими комиссарами, не упуская малейшей возможности сравить «высокие стороны».

Английский историк говорит: «В Адриатике адмирал Сенявин, подобно многим другим, отказывался верить, что договор будет ратифицирован». Конечно, бумага за подписью Убри представлялась вопиющей нелепицей. Но Сенявин-то давно убедился, что внешняя политика Зимнего обладает тем недостатком, который у моряков назывался рыскливостью, то бишь досадной, а подчас и бедственной «способностью» корабля кидаться из стороны в сторону под влиянием случайностей.

Дмитрий Николаевич мог не верить и всем сердцем желал не верить в ратификацию соглашения, но это вовсе не позволяло ему оспаривать официальные депеши, подлинность коих была неоспорима.

Однако именно политическая рыскливость Зимнего питала сенявинскую надежду на перемену петербургского курса. Ну, да и на худой конец у него имелась в запасе хоть и шаткая, но отговорочка: не «августейший повелитель», а всего-навсего статский советник предписывал уходить с Балкан.

Французские генералы Мармон и Лористон, австрийские комиссары их сиятельства Беллегард и Лепин, все те, кто убеждал Сенявина, грозил Сенявину, умасливал Сенявина, все они быстро убедились, что Сенявин не из дип-

ломатов, «прошедших испытательный срок в министерстве», где обучают «в первую очередь искусству кланяться».

Напротив, он прошел школу, где обучали «искусству не кланяться» — ни ядрам, ни обстоятельствам.

Тянулись недели. Сенявин не уступал. Но и не наступал. Не признавая мира, он признавал перемирие. Стало быть, неприятель волен был концентрироваться у Дубровника. Французы так и делали. А Сенявину ничего иного не оставалось, как с молчаливым бешенством принимать к сведению последствия политической глупости. Он уже отдавал себе отчет в том, что территорию республики Дубровник волей-неволей придется оставить, как и в том, что на территории Которской области его еще ждут тяжелые испытания.

Между тем незадачливый статский советник прибыл в столицу Российской империи. «В бытность мою тогда в Петербурге, — рассказывает генерал Тучков, — возвратился известный Убри с подписанным от Наполеона трактатом. Но только был оный объявлен Государственному совету, как, первый и последний раз его правления, дерзнули члены оного воспротивиться. Они представили императору весь вред, могущий последовать от такого невыгодного договора. Хотя многим известно было, что Убри поступил во всем согласно с наставлениями, данными ему государем, но последний всю вину возложил на него».

Когда племянник Александра I Александр II совершал жестокость, то по обыкновению умывал руки, ссылаясь на то, что исполнители не поняли высочайшей воли. Дядюшка обладал тем же свойством, что и племянник. Правда, статский советник, попавший впросак, не попал ни на эшафот, ни в каземат, его выгнали в отставку и выслали в деревню, но при этом царь сказал, что Убри не понял смысла инструкции и превысил полномочия. А суть-то была в том, что Петербург и Берлин успели обменяться тайными декларациями о союзе, и еще в том, что англичане, оказывается, вовсе не спешили поддаваться Наполеону.

Сенявин мог торжествовать. Сенявин не торжествовал. Ведь пока русские пушки были немы, неприятель усилился сверх меры. А бокезцы и черногорцы усомнились в том, что «россияне с ними будут всегда неразлучны».

И еще потому не торжествовал Сенявин, что сам очутился в положении, сходном с положением Убри. Сперва царь одобрил борьбу за Дубровник. А теперь, когда вице-

адмирал не обладал никакой возможностью завершить эту борьбу и принужден был морем эвакуировать войска, теперь царь обвинил Сенявина в том же, в чем и Убри: в нарушении инструкции.

Средства связи могут играть двойную роль: если они хороши, высшему начальству приходится брать ответственность на себя; если они плохи, у высшего начальства есть шансы взвалить ответственность на низшее начальство. Император Александр I очень хорошо пользовался плохой связью.

9

Но еще оставалась Которская область. Оставалась триединая великолепная бухта, способная приютить целый флот, оставались которские крепости и сами которцы, которые слали к Сенявину депутации, умоляя русских не уходить, а он обещал ходатайствовать за них перед государем.

Оставалась Которская область. Сенявин не отдал ее вопреки настояниям и русской, и французской, и австрийской дипломатии. Он решил не отдавать ее и вопреки французским штыкам. Но для этого ему надо было еще выдержать сопротивление Вяземского.

Дмитрий Николаевич, конечно, знал, что генерал Вяземский не жалуется адмирала Сенявина. И все ж (после первых боев за Дубровник) Сенявин поступил с князем так, как в свое время Ушаков поступил с ним самим: представляя отличившихся к наградам, главнокомандующий характеризовал Вяземского «искусным и прозорливым» и прибавил, что попросту не хватает слов, дабы «достойно выхвалить подвиги и благоразумные распоряжения его»\*.

Складываясь дела успешно, и Вяземский, верно, сменил бы гнев на милость, да и сызнова сообщил жене, что служить с Сенявиным очень приятно. Но Василий Васильевич был из тех генералов, что весьма хороши, когда хорошо, и весьма нехороши, когда нехорошо. Дела складывались неуспешно, и генерал все дальше и все больше расходился с главнокомандующим.

В Которской области Вяземский инспектировал крепость Кагельново: «Я объехал все окрестности Кагель-

ново и нашел, что они хотя имеют большие горы и дефили, но не непроходимы, и что войска везде могут идти с горными орудиями, что всякой дефили могут обойти и, одним словом, в местах сих отнюдь война не затруднительна (то есть не затруднительна для противников, французов. — Ю. Д.) и защищаемому должно весьма остерегаться множества маневров и фальшивых атак. Крепость Кагельново и редут Спаниоло я нашел в самом дурном положении».

Вяземский изложил свои соображения на военном совете. Однако генерала никто не поддержал. Очевидно, присутствующие были иного мнения: храбрость города берет, храбрость города и отстаивает! Вяземский такую решимость расценил как заговор, как «комplot против меня» и разобиделся, ибо адмирал «начал грубостями опровергать все, что я ни говорил».

«Грубости» как-то не вяжутся с тем, что известно о характере Дмитрия Николаевича. Но, быть может, раздражившись, он и высказал приунывшему генералу несколько прямых, резких слов, да еще при черногорцах, которых князь не признавал просвещенными.

Сдержавшись на глазах у главнокомандующего и «частных начальников», князь за глаза вылил на Сенявина ушат помоев. Раскрыл свой журнал-дневник и, макая перо в желчь, порассказал ту «правду», что хуже всякой лжи: «Он весьма посредственного ума, без всяких сведений, с злым характером, интересен и решителен на зло. Государю угодно было послать в Корфу с эскадрой и командующего всеми войсками. Он повелел министру Чичагову назначить. Министр назначил, но иностранца. Государь опроверг и требовал русского. Министр выбрал Сенявина на ту только цель, чтобы обмарать русских и после сказать государю: это русский! Но так как он был контр-адмирал, то легко случиться могло, что в Корфе генерал-майор мог быть старше его (выслугой лет. — Ю. Д.), и потому без очереди, без заслуги, не зная человека, государь произвел его в вице-адмиралы, удостоил его большой доверенностью, отправил его в важную экспедицию, не выдав его, не говоря с ним ни слова и не заметя его ни почему».

Ох, расходился князьенька! Всем досталось: и главнокомандующему, и министру, и даже царю... А следующие записи сделаны им уже в Корфу. Видимо, Сенявин по-

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3179, л. 6.



просту спровадил Василия Васильевича в главную базу. Спровадил, чтоб не мешался\*.

Может, нет нужды рассказывать о сложных перипетиях сухопутных действий, но, думаю, следует добром помянуть армейцев, сражавшихся с Наполеоном тогда, когда никто на континенте не смел изъясняться с ним языком пушек.

Надо помянуть егерей, несших бремя горной войны; гранадеров, воинов «мужественного вида, в простреленных касках»; артиллеристов, которые волокли орудия там, где легконогие черногорцы «прыгают с камня на камень». Помянуть рядовых, этих, по словам одного писателя, «спокойных повседневных героев, придающих незначительным своим поступкам свойственное им самим благородство и проникнутых при исполнении будничных обязанностей близкой их сердцу поэзией».

Были среди них и те, кто возвратился в строй после размена пленными. Они рассказывали, как французские офицеры выпытывали военные сведения, манили под французские знамена, сулили сладкую жизнь. Нет, они возвращались к своим, к своей несладкой жизни, потому что какая ж, к чертям, жизнь на чужих хлебах, даже если те хлеба с изюмом... А были и такие, что добирались за сотни и сотни верст, плененные не на Балканах, а в минувшую кампанию, отравленную Аустерлицем. Они бежали из плена «с тем намерением, чтоб пробраться в Россию или к российским войскам, где бы те ни были»\*\*.

Я цитировал показания егеря Бордатова, калужанина, сенявинского земляка. Он еще до плена десять годов тянул солдатскую ляжку; его захватили раненым, в бою, содержали в разных городах Европы, да он изловчился и унес ноги. Добрался до Италии и — не с помощью ли итальянцев, ненавистников французской оккупации? —

---

\* Не тужите о Вяземском. Генерал отнюдь не убивался по своим солдатам и офицерам, оставшимся в Которской области. Не до того было князю! Он сладостно мурлычет о некоей г-же Н.: «В ее объятиях забыто все огорчение, ее голубые глаза заставили забыть славу и были одним моим предметом. Ее поцелуи были одним моим награждением за все, и так я был с милой в покое, дни летели для нас».

Одновременно он пишет жене: приезжай, голубушка, истосковался. А княгиня возьми и награнный. «Почтру около 9-ти часов прибыл фрегат, на коем прибыла милая, нежная, верная моя супруга. О, какой день!..»

\*\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168.

достиг Корфу: «старался прибыть для определения по-прежнему на службу». Его и определили. Раньше, до плена, Яков Григорьевич числился в 6-м егерском, теперь — в 13-м, которым командовал Вяземский. Но Бордатов не миловался ни с голубоглазенькой, ни с черноглазенькой, а пошел с однополчанами служить задорно или «служить куражно», как в старину пошучивали солдаты...

Выше уже упоминалось имя генерала Попандопуло, командира греко-албанского легиона. Там же, на Корфу, он командовал и Кольванским мушкетерским полком. Службу генерал начал давно, тридцать с лишним лет назад. Он «был при взятии Очакова, Бендер, Аккермана и других мест; при заключении мира назначен в свиту господина генерала от инфантерии Кутузова при его посольстве в Константинополе», а в восемьсот четвертом прибыл на Корфу\*.

В июле 1806 года Сенявин вызвал Попандопуло с Корфу. Генерал сдал свои «должности» другому высшему офицеру, Назимову, и, не мешкая, уехал в Которскую область.

Попандопуло, как и Вяземский, не восторгался крепостью Кастельново и редутом Спаниоло. Но в отличие от Вяземского новый командующий «приступил немедленно к поправке и умножению укреплений».

В Военно-историческом архиве есть рапорт «господину вице-адмиралу и кавалеру Сенявину». Рапорт написан тотчас после боев. Старая бумага, составленная не в кабинете, а на биваке, доносит «живую поэзию событий и подвигов».

Попандопуло подробно описывал сентябрьские (1806 года) бои «в окрестностях Кастельново и в границах республики Рагузы». Они потребовали от командующего мгновенной реакции, глазомера, хитрости, осмотрительности. Попандопуло и на сей раз оказался достойным учеником Суворова, который наставлял «частных начальников» (а Попандопуло таковым и был при Сенявине) действовать «с разумом, искусством и под ответом».

Не с какой-то бездарностью состязался сенявинский генерал, но с Огюстом Фредериком Мармоном: два года спустя этот сдержанный, методический, сухой Мармон расколотит в пух австрийцев и получит маршальский жезл. А теперь, будучи вчетверо сильнее, отступил, «не

---

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3117, ч. II, л. 198.

делая уже далее своих покушений». Можно верить французскому историку: Мармон был очень зол на русских<sup>1</sup>.

Можно верить и Попандопуло, когда он сообщал в Петербург, что его солдаты и офицеры «подали свету пример истинной храбрости и военного порядка». Верно оценил генерал и результаты изнурительного сражения: крепости Кастельново и Спаниоло, падение коих предрекал Вяземский, не пали, а ведь без них область была бы потеряна, что «понудило бы, вероятно, господина вице-адмирала Сенявина оставить те места со всею его эскадрою»\*\*.

Генеральский рапорт высшему командованию и донесение царю — это общая картина боевого столкновения, то есть картина коллективного подвига. Но массовый подвиг — сплав подвигов индивидуальных. О последних узнаешь из представлений к наградам.

Вот примеры, воскрешающие подвиги давно позабытых людей:

майор Забелин — «Три раза обращал неприятеля в тыл и три раза распоряжениями своими уничтожал покушения французов; наконец, бросаясь сам на пушки, овладел оными и употребил их против неприятеля»;

майор Езерский — «Был везде впереди...»;

капитан Бабичев — «С тремя ротами первый овладел высотами и пушкою и при самом сильном огне держался на оных, храбро отразил стремление неприятеля»;

капитан Ходаковский — «Бросился с ротою на защищаемый холм, сбил неприятеля, отнял пушку и удержал, покуда вся колонна не подоспела»;

поручик Кличко — «Был отряжен с охотниками из гренадер, егерей и черногорцев, храбро открыл путь черногорцам на неприятельский пост и овладел пушкою, которая удерживала приступ черногорцев»;

поручик Канивальский — «Когда французы поколебали было егерей и черногорцев, отчаянно бросился вперед и, сим примером ободрив поколебавшихся, обратил неприятеля в бегство»\*\*\*.

Сенявин полагал долгом удовлетворять ходатайства о

<sup>1</sup> Годы и годы спустя Мармон имел возможность увидеть своего давнего противника адмирала Сенявина: маршал был в России на коронации Николая I.

\*\* ЦГВИА, ВУА д. 3117, ч. II, л. 200.

\*\*\* ЦГВИА, ВУА, д. 3179, лл. 6, 6 (об.), 7, 7 (об.).

наградах. Он, конечно, повторил бы вслед за Константином Батюшковым:

— Что в офицере без честолюбия? Ты не любишь крестов? — иди в отставку, а не смейся над теми, которые их покупают кровью.

Но вот что досадно: в архивных бумагах мне не попалось ничего об отваге «нижних чинов». А они ведь ничуть не уступали хотя бы некоему Слепцову, очень похожему на Долохова из «Войны и мира»: «Разжалованный из унтер-офицеров в рядовые и лишенный дворянства, Слепцов во все время сражения был впереди и показывал беспримерные знаки отличия и храбрости и действительно отличил себя сверх своего звания»\*.

Одна поправка: не «сверх», а в полном соответствии со званием — званием рядового солдата.

10

В рапорте Попандопуло упоминался линейный корабль «Ярослав». Его артиллерия заставила Мармона отступить. Капитан 2-го ранга Митьков, командир «Ярослава», поддержав изнемогавших бойцов Попандопуло, довершил сражение.

Это лишь один из случаев взаимодействия моряков и армейцев. Бывало, адмирал сам руководил этим взаимодействием. Не издали, а в гуще огня. О личном участии Дмитрия Николаевича в боях знал и неприятель. Однажды парижский официоз даже выдал желаемое за действительность, сообщив, что адмирал Сенявин убит ядром с канонерской лодки «Баталия де Маренго».

Принудив Мармона признать статус-кво Которской области, Дмитрий Николаевич не отсиживался ни в Кастельново, ни на Корфу.

В ноябрьское штормовое ненастье вице-адмирал появился у далматинских островов, подле крепостей, над которыми полоскались французские флаги.

Сенявин привел с собою три линейных корабля, фрегат, два транспорта и несколько бокезских легких судов. На кораблях находились два батальона егерей. Отборные черногорские и которские стрелки.

По обыкновению Сенявин не желал наносить ущерба местным жителям. Он «пригласил» комендантов крепос-

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3117, ч. II, л. 207.

тей капитулировать. Но коменданты были французы, а не австрийцы из породы маркиза Гизлиери. Не сдаваться они хотели, а драться. И дрались, как говорит русский офицер, отважно.

Егеря и морские пехотинцы ходили в атаки «под личным предводительством адмирала». Атакующих встречали картечью. Черногорцы «отменно храбро» двигались короткими перебежками; их вел Савва Негош, родной брат Петра Негоша, митрополита. Матросы, что называется, на горбах тащили орудия. Прицельными выстрелами давили батареи неприятеля. Потом атакующие ударили в штывы. Французские гарнизоны просили пощады.

Как раз об этих происшествиях есть восторженные строки в жихаревском «Дневнике чиновника». Они потому ценны, что принадлежат невоенному, литератору, записному театралу. И еще потому, что неофициальные, частные «петербургские» оценки деятельности Дмитрия Николаевича встречаются изредка. Порою даже создается впечатление полного неведения Петербургом, Россией о делах на Средиземном море. И хотя действительно внимание «общества» было приковано к событиям на континенте, Жихарев такое впечатление до некоторой степени рассеивает.

«Толкует, — читаем в «Дневнике чиновника», — что адмирал Сенявин, высадив внезапно команду человек в триста на один из далматских островов, Курцоли, занятый французами, перебил и взял в плен у них много людей и совершенно вытеснил их оттуда... О великих способностях и неустрашимости Сенявина говорят очень многие; подчиненные его обожают, и, кажется, он пользуется общим уважением и большой народностью». (Интересно и это последнее: «большой народностью»!)

В боях у далматинского побережья, как и в боях на материке, участвовали черногорцы. Они, замечает Броневский, «отличались не только храбростью, но повиновением и человеколюбием».

Это объяснялось присутствием Сенявина. В других случаях «мужланы», как третировал черногорцев Мармон, не церемонились с врагами, и французские генералы письменно жаловались Дмитрию Николаевичу на жестокость горцев.

А Сенявин спокойно возражал: «О черногорцах и приморцах (каторцах. — Ю. Д.) считаю нужным дать

вам некоторое понятие. Сии воинственные народы очень мало еще просвещены; однако никогда не нападают на дружественные и нейтральные земли, особенно бессильные... По их воинским правилам оставляют они жизнь только тем, кои, не вступая в бой, отдаются добровольно в плен, что многие из ваших солдат, взятых ими, могут засвидетельствовать».

Сражаясь под рукой Сенявина, черногорцы впервые «получили охоту на кораблях плавать», а вернувшись домой, в горы, «рассказали чудеса своим друзьям». Имя Сенявина, подчеркнул Броневский, «соединило имя русского с славянским».

Впоследствии Огюст Мармон брюзгливо сказал Петру Негошу:

— Какое дело вам до русских, этого непросвещенного и сурового народа, который и вам неприятель и желает привести всех вас в рабство?

Глава черногорцев ответил:

— Прошу, генерал, не трогайте моей святыни и знаменитой славы великого народа, которого и я тоже верный сын. Русские — не враги наши, но единовёрные и единоплеменные нам братья, которые имеют к нам такую же горячую любовь, как и мы к ним. Из одного только малодушия вы ненавидите и черните русских, а другие славянские племена ласкаете для того, чтобы ваш император мог легче и лучше достичь своей цели. Но мы, славяне, полагаем нашу надежду и славу только на единоплеменных братьев-русских. Ибо падут без них и все остальные славяне, а кто против русских, тот также против всех славян.

Мысль о важности тесного содружества русского и славянского народов, столь энергично высказанная вождем черногорцев, разделялась не только им самим и не только Сенявиным.

Тут надо несколько отвлечься от сенявинской повседневности. Отвлечение необходимо: попробуем проникнуть в сферу политического мышления нашего героя.

С первых лет царствования Александра I в русской внешней политике наметился тот курс, который связывается с уже не раз помянутым Чарторижским.

Князя Адама и при жизни и посмертно не однажды попрекали польским происхождением: оттого, дескать, ему присущи антирусские устремления. Князь Чарторижский не думал ни о польской, ни о русской, ни вообще о

славянской «черни». Человек даровитый и умный, он доказывал и отстаивал только то, что представлялось ему необходимым, нужным, выгодным для правящей верхушки. Не его вина и не его заслуга в том, что, решая балканский вопрос, он объективно приносил пользу славянству, ибо разработал проекты создания на Балканах независимой славянской федерации или нескольких независимых государств.

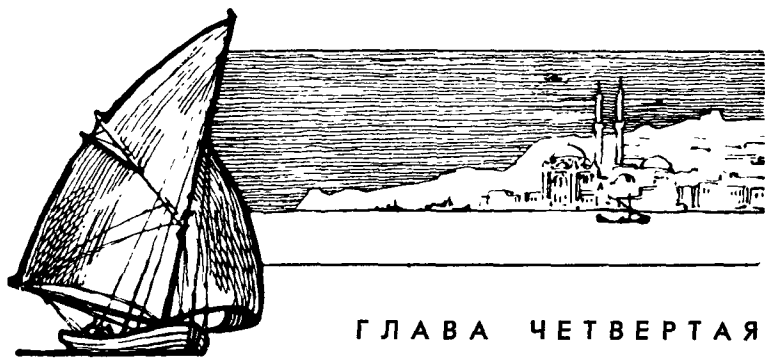
Когда Сенявина отправляли из Кронштадта в Средиземное море, у него была одна ипостась: адмиральская, военная. Вопросы политические возлагались на товарища министра иностранных дел Татищева: наделенный вескими полномочиями, он был послан в Неаполь, поближе к театру военных действий. Французская оккупация выдворила Татищева из-под сени Везувия; он укрылся в Сицилии и оказался неизмеримо ближе к английскому флоту, нежели к русскому, сенявинскому. Тогда у Дмитрия Николаевича появилась и другая ипостась: политический руководитель.

Планы Чарторижского не были Сенявину тайной. Но крепко ошибся бы тот, кто принял бы Сенявина за «технического исполнителя». Вся его деятельность, не поддержанная за неимением времени «увязками» с вышестоящими сановниками, его целеустремленность, не вторящая зигзагу и пунктиру петербургского кабинета, его горячая настойчивость, как и холодная осмотрительность, определялись желанием освободить славянство из турецких, австрийских, французских оков.

Скорее всего именно Дмитрий Николаевич осведомил Негоша о русских проектах. И Негош воодушевился. Петр Петрович, не мешкая, наметил подробности: славяно-сербское государство включит Черногорию и Которскую область, Герцеговину и Дубровникскую территорию, Далмацию и часть Верхней Албании; формально республику возглавит русский царь (таким образом, получалось, что Александр Павлович нахлобучит на августейшее темя и корону, и демократическую шляпу); фактически во главе нового государства встанет президент из «природных жителей».

Не стану далее заниматься историей вопроса. Важен здесь самый факт размышлений Сенявина и Негоша на эту тему. Но вот что еще примечательно: содружество русского и славянских народов занимало и волновало младших современников флотоводца.

Исследователь декабризма отмечает интерес первых русских революционеров к запискам «моряков, побывавших в славянских странах». Пестель раздумывал о Балканской федерации, о ее политических и экономических связях с новой Россией. Декабрист Борисов признавал необходимость собрать «славянские племена в одну республику». Сколь ни туманны были взгляды декабристского Общества соединенных славян, а все ж некоторые уставные параграфы звучали весьма конкретно: например, создание «Далмацкого флота» — гаранта цветения торговли «в портах твоих, славянин». Наконец, декабрист Каховский высказывался в том смысле, что следовало бы поддерживать черногорцев, «столь усердно нам служивших во время кампании флота нашего в Средиземном море под начальством адмирала Сенявина».



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Ному случалось из действующей армии, из действующего флота ехать в столицу, знал, что жизнь там идет своим чередом, что там не слышат пушек и не видят, как льется кровь. Он это все понимал, даже принимал разумом и все ж, очутившись в Петербурге, поначалу испытывал и какое-то недоумение, и что-то похожее на обиду и досаду именно оттого, что люди живут, как жили, словно бы в то же время другие люди не умирали от ран, не тонули в волнах и не падали под картечью.

Что и говорить, человеку из-под огня, с корабельной палубы, из полевого лагеря показались бы дичью хлопоты франтов о перемене фрачного покроя (рукава, боже ты мой, не должны теперь застегиваться у кисти пуговичками!), о перемене серых фетровых шляп на черные фетровые шляпы. Правда, приезжего офицера могло бы привлечь одно обстоятельство «чрезвычайной важности»: модницы стали надевать ножные браслеты — один, черт побери, повыше колена, а другой — на щиколотке, и эти самые браслеты так пикантно означались сквозь полупрозрачные батистовые платья!

Но заезжий человек, если только он не был беспробудным болваном, вскоре замечал переменчивые тревожные отсветы на бледном лице северной столицы.

Может быть, никогда прежде так жадно не расхватывались «Санкт-Петербургские ведомости», освещавшие сложную, загадочную игру политических сил. А с осени восьмьсот шестого года к «Ведомостям» прибавилась газета «Journal du Nord», орган российского министерства

иностранных дел, — она перепечатывала многие статьи заграничной прессы.

Из уст в уста порхала фраза Наполеона, брошенная Пруссии: моя вражда ужаснее бурь океана. Не успели еще обсудить эту словесную угрозу, как она обернулась реальностью. Наследники Фридриха Великого были развеяны в прах. Наполеон торжественно вступил в Берлин. Позади победителей плелись отлично вымуштрованные прусские королевские кавалергарды. Наполеон подарил самому себе шпагу Фридриха Великого, а Франции — 340 вражеских знамен.

Русский мемуарист писал: «От стыда Пруссии краснели наши щеки». У Фридриха-Вильгельма, удиравшего вместе с очаровательной королевой Луизой, щеки не краснели, а белели. Король унижился до льстивого лепета: осведомлялся, хорошо ли, покойно ли, удобно ли его величеству императору французов в дворцовых покоях Берлина и Потсдама?

Император даже не счел нужным ответить. Разве заметишь такую вошь, как король Пруссии, когда ты достиг вершины, откуда можно тронуть звезды?!

Нет, не прусские, а русские заботят Наполеона. Он знает, что Россия выступит. Выступит непременно. И он знает, что дело будет тяжелое, кровавое...

Октябрь и ноябрь были месяцами прощаний: из России на запад уходили войска. Сперва шестидесятитысячный корпус барона Беннигсена, потом — сорокатысячный графа Буксгевдена.

Они вступили в Восточную Пруссию, вступили на польские земли, еще так недавно принадлежавшие Фридриху-Вильгельму. А маршал Ланн и сам Наполеон уже обосновались в Варшаве.

Над Польшей, над Варшавой, над рекой Наревой, над Пултуском кружил мокрый снег. Глинистые дороги днем раскисали в кашу, ночью — каменно твердели.

Первое столкновение произошло при Пултуске. «Русские, исполняя боевые приказы, шли на увечье и смерть без единого стога», — с несколько суеверным «европейским» удивлением замечает французский историк Васт. Его соотечественник, участник дела, Антуан Марбо построился мистически: «Казалось, мы деремся с призраками». Французские стрелки, всегда метко срезавшие длинные тонкие линии врага, теперь никак не могли пробить плотно сцепленного неприятеля.

Обе стороны бились упорно. И ничего не добились. Как водится в подобных случаях, каждая из сторон признала победу за собою. А коль скоро день сражения пришелся на день памяти шести мучеников, то в Петербурге люди набожные тотчас усмотрели в том небесное знамение: «Благодетельная веры поборницы злочестьивого мучителя ошлевавше...»

В Петербурге повеселели. Один из чиновников (С. П. Жихарев) заносил в дневник: «Говорят, что генерал Беннигсен после победы над французами при Пултуске теперь покамест играет с ними в шахматы, то есть они только маневрируют в ожидании благоприятного случая напасть друг на друга. В некоторых стычках Беннигсен имел преимущество и однажды разбил Бернадота. Утверждают, однако ж, что скоро должно ждать решительных вестей из армии».

На заснеженных полях, в краю замерзших болот и разоренных деревень фронтальные генералы «играли в шахматы», а петербургские генералы тем временем «играли в солдатки».

Тот же столичный чиновник сообщает: «Несмотря на шестнадцатиградусный мороз, крещенский парад был великолепный. В первый раз в жизни вижу столько войска и в таком пышном виде. Торжественное молебствие совершено было придворным духовенством в присутствии государя в нарочно устроенной для того на Неве, против дворца, Иордани. Я изумился, увидев государя в одном мундире, как мог он в такой одежде выносить такую службу — вот прямо русский человек!»

Несколько недель спустя, накануне масленицы, автор дневника был в театре. Давали «Благодетельного брюзгу», потом «Завтрак холостяков». Театр был полон, ложи, известно, блистали. Но публика волновалась и почти не глядела на сцену. Слышался говор: «Полная победа... Много раненых...» И все старались заглянуть в ложу некой графини: там молодой флигель-адъютант «что-то с жаром рассказывал».

Так в Петербурге узнали о сражении при Прейсиш-Эйлау, в Восточной Пруссии, где Беннигсену пришлось повстречаться уже не с наполеоновскими маршалами, но с самим Наполеоном. А Наполеону, в свою очередь, пришлось повстречаться с противником, который отказывался бежать.

Противник ломил так, что вот-вот и ударились бы в бегство его, наполеоновская, несокрушимая пехота. И особенно поразила бывшего артиллерийского офицера Бонапарта вражеская артиллерия: она положила чуть ли не весь корпус Ожеро. Больше того, она едва-едва физически не сразила императора, пораженного душевно.

Наполеон руководил боем из гущи сражения. Он стоял среди крестов и ангелочков местного кладбища. А на кладбище работали невиданные могильщики — ядра споро и злобно рыли мерзлую землю, комья взметывались вперемешку с осколками мрамора. Наполеон никогда попусту не рисковал головой. Его присутствие, его взгляд удерживали солдат, офицеров, генералов от желания уступить и отступить.

Пала ночь, слепая, в густой метели. Беннигсен отошел. Не бежал в панике, а отошел. Намерение Наполеона отрезать русских от Кенигсберга, от границ России, не осуществилось. Намерение Беннигсена ослабить Наполеона, не пустить французов дальше, осуществилось. Но он ведь отошел, и Наполеон счел себя победителем. А Беннигсен — себя.

Да, Наполеон объявил о победе. Но маршал Ней воскликнул: «Что за бойня и без всякой пользы!» Но парижская биржа, этот экономический барометр военных успехов и неудач, ответила резким падением курса, словно бы император потерпел поражение. Да и он сам был молчалив и угрюмо скрывал тревогу возней с делами, не имеющими к войне никакого отношения: «газетами, академией, оперой, недвижимостями, пожалованными орденом Почетного легиона».

И на другой стороне, хоть и служили благодарственные молебны, хоть и верно указывали, что впервые Наполеон, лично «игравший в шахматы», «не съел короля», но и там, на другой стороне, тоже сознавали, чего стоила битва при маленьком прусском городке: «Кажется, наша взяла, а рыло в крови...»

После Прейсиш-Эйлау «вершители судеб» осознали, что французская армия не заколдована, что ее можно побить и даже, пожалуй, разбить. В сущности, осознали то, что еще до Прейсиш-Эйлау, а главное — после Аустерлица понимали моряки и армейцы, находившиеся на юге, в Адриатике, в Далмации, на Корфу, люди севявинской эскадры и севявинских полков.

Один будущий маршал Франции был Сенявину врагом явным, другой — тайным. Но если Мармона уже угостили на славу, то у Себастиани еще было в запасе шестилетие до того дня, когда ему, по выражению французского историка, «сильно досталось» от Кутузова.

А пока Орас-Франсуа Себастиани маневрировал в отличие от Мармона не среди гор и ущелий, а среди стамбульских папей и дипломатов. В столицу османских владений приехал он в августе 1806 года, в то время, когда облапошенный статский советник Убри возвращался из Парижа в Петербург, а Сенявин был вынужден топтаться окрест Дубровника.

За спиною послов и посланников нередко маячит истинный «впередсмотрящий». Себастиани был наделен недюжинной энергией; этого тридцатилетнего гасконца теперь называли бы «пробивным малым»; он был смекалист, оборотист, неутомим, «настоящий головорез в политике». И все же ему пришлось бы худо молодого красавца, поверенного в делах Латур-Мобура.

Латур-Мобур знал Турцию с детства. Вежливый, молчаливый, осанистый, предупредительный, но не искательный, он обладал, как говорили в русской Иностранной коллегии, «поразительными сведениями».

Едва переменяв дорожное платье, поверенный в делах занялся делами. Ему не надо было объяснять, что такое Пере. Там, в христианском квартале магометанского Стамбула, размещались европейские посольства. Там, в Пере, денно-ночно политиканствовали, то есть интриговали и шпионили, продавались и покупались, клялись в верности и клялись в неверности. «Все, что происходит или имеет произойти в Оттаманской империи и в серале, — читаем в русском дипломатическом документе, — известно в Пере; все, что постановляет Порта, или все, что постановляется насчет нее, устраивается в Пере».

Тогдашние дипломаты не владели турецким. Знатоки французского, этой дипломатической латыни, иногда английского, они не унижались до постижения азиатского «диалекта». А посему были как без рук без переводчиков. Вернее, в руках переводчиков, нанятых в Пере.

В «сенявинский период» при русском после крутились два брата Фонтонны, да вдобавок еще и племянник их. Правда, старший Жозеф, он же старший переводчик-

драгоман, как бывший служащий Бурбонов, объявил себя ярим противником «узурпатора Боунапарта», но его принципы ступевывались при виде золота; Фонтонны тишком сносились с персоналом посольства «жорсижанского чудовища».

Да к тому ж и господин полномочный министр при Порте Оттоманской Андрей Яковлевич Италинский не был ровней высокоталантливому Булгакову, о котором упоминалось раньше. Италинскому, по-видимому, некогда протежировал канцлер Безбородко, а потом князь Кочубей: Андрей Яковлевич воспитывал их родственника. Из воспитуемого получился зверюга, коему воспретили показываться в собственном имении по причине «жестокости обращения с дворовыми». А из престарелого Италинского получился столь же способный дипломат, как и педагог. При всем желании не заподозришь его ни в избытке догадливости, ни в понимании людей, ни в умении извлечь истину из вороха сплетен и пересудов. Впрочем, надо полагать, и за спиною Италинского не дремали свои латур-мобуры. А тому, что состоял при Себастиани, понадобилось немного времени и для проникновения в тонкости всех быстрых и переменчивых обстоятельств, и для того, чтобы посвятить в них своего патрона...

Уже более четверти века «тенью аллаха на земле» был рябой султан Селим. В годину второй русско-турецкой войны он принял наследство незавидное: страна находилась на пороге полной дистрофии.

Хотя Селим и присутствовал при усекновении голов нескольким крупным чиновникам-казнокрадам, он не укладывался в традиционное представление о султанах как варварах, которые только и заняты что сажанием подданных на кол. Нет, Селим III отличался склонностью к поэзии и восточному мистицизму, привычками эстета. Все это, однако, не помешало ему осознать необходимость «новой системы», дабы выволочь дряхлеющую державу из тупика.

Особое внимание реформатора обратилось на вооруженные силы. Он создал корпус дисциплинированных войск, не шедших ни в какое сравнение с беспашабными янычарами, учредил Инженерное училище, занялся флотом.

Взбадривая новое, Селим, однако, не умел, как, например, Петр Великий, сворачивать в бараний рог поборников старины — феодалов и духовенство. Турецкий исто-

рик прав: Селим, в сущности, был нерешителен и боязлив. Ему не хватало личного мужества, «как и всем правителям, воспитанным в затишье гарема», обобщает историк французский. И эти свойства монарха явственно отзвучивались на внешней политике.

Раньше уже упоминалось о вечной оглядке Селима и визирей то на Россию, то на Западную Европу. Оно и понятно: трудно было определить, где наибольшее зло, а где наименьшее. Но все ж наперед скажем, что Селим, не поддайся он то посулам, то угрозам Наполеона, Селим, очевидно, довершил бы реформы, благодетельные Турции. Увы, султан... Впрочем, обождите.

За несколько месяцев до Аустерлица Наполеон страдал султана, дружественного русскому царю: «Разве ты настолько слеп, чтобы не видеть, как в один прекрасный день русская армия и флот при содействии греков ворвутся в твою столицу... Проснись, Селим, призови в министерство своих друзей, прогони изменников, доверься своим истинным друзьям...»

Под «истинными друзьями» император французов разумел, конечно, французов. А Селим не «просыпался», он медлил. В конце концов, «истинные друзья» находились еще на другой стороне материка.

Но вот до Стамбула докатился аустерлицкий гром. Представители «тени аллаха на земле» поспешили к победителю. Селим III приветствовал Наполеона I как «самого давнего, самого верного, самого необходимого союзника». Тот отвечал очень красноречиво и не очень конкретно: «Все успехи и неудачи Оттоманской империи будут успехами и неудачами Франции».

Успехов у турок как будто и не предвиделось: русская армия целилась на Дунай; восстали, поддержанные русскими, сербы; вассальные князья Молдавии и Валахии вытянув шею глядели в сторону Петербурга.

Успехи предвиделись у французов: вопреки Сенявину им удавалось наращивать свои силы в Далмация, сопредельной Турции. А в двери сераля настойчиво стучался новый посланник императора, генерал Себастиани со своим неизменным Латур-Мобуром.

Не знаю, пользовался ли гасконец посольской каретой, красной каретой, внутри вызолоченной, или, как д'Артаньян, предпочитал ездить верхом, но его часто видели на горбатых и кривобоких улочках Стамбула. Он не скрывался ни в Пере, ни в прохладной долине у отрогов Фра-

кийских гор. летнем прибежище дипломатов, откуда была видна плотная босфорская синь.

Не однажды в неделю Себастиани появлялся близ мечети святой Софии, где плавно ниспадали (а не стремительно били вверх, как в Европе) прозрачные воды каменного фонтана, а рядом высились Большие ворота султанской резиденции.

Сераль тянулся на несколько верст: обширные дворы и множество строений. Там было и что-то наподобие оружейной палаты, и кухни, и конюшни, и парк, и, конечно, гарем, царство морщинистых вислозадых евнухов.

Может, генерала Себастиани подмывало хоть краешком глаза глянуть на «прелестниц обнаженный рой», но посол Себастиани шествовал в третий двор, обсаженный кипарисами и кедрами, он шествовал в «киоск», отделанный драгоценным мрамором, изукрашенный цветочными изразцами, в «киоск» для аудиенций дипломатическому корпусу.

В августовские и сентябрьские дни, ласковее которых во весь год не бывает на берегах проливов, султан, прикрыв веки, внимал напористому генералу. Себастиани не уговаривал, а почти требовал: сместить господарей Молдавии и Валахии, находящихся под влиянием Петербурга; закрыть Босфор для русских кораблей. Он и страдал: коль скоро эти корабли везут подкрепления Сенявину, французы «имеют право» карать Турцию из Далмации.

Одновременно генерал соблазнял Селима радужным: разве султан не знает, что персы возобновили боевые действия в Закавказье? Стало быть, вот она, возможность единого антирусского фронта! К тому же султану следует заметить, что император французов поможет Турции отвоевать вожделенный Крым, как поможет персидскому шаху отвоевать благословенную Грузию.

Селим и его правительство как будто бы очнулись. Они выполнили главную «просьбу»: сместили господарей Валахии и Молдавии, закрыли Босфор. И Себастиани имел честь доложить о сем Парижу.

Гасконец несколько поторопился. Не он один был аккредитован в Стамбуле. Был еще Италинический, был и Эрбетнот. Италинический, само собою, возражал, что называется, на басах. А Эрбетнот, посол Великобритании, поддерживал союзника.

Британец, правда, плутовал. Он тщился играть в по-



средничество. Ведь посредничество всегда помогает держать в руках того, кому помогаешь. При этом англичане все же не желали русско-турецкого столкновения. Оно отвлекло бы русские войска с Запада, то есть оттуда, где так грозен был Наполеон. И оно бы, по мнению Лондона, усилило Россию на Востоке, то есть там, где ее усиление тоже не обещало Лондону ничего хорошего. И мистер Эрбетнот балансировал.

Балансировал и Селим.

Конечно, французы в Далмации — это фактор. Но русская и британская эскадры в Средиземном море — это тоже, знаете ли, фактор. Да к тому же с севера ползут тяжелые тучи — пехота и конница, артиллерия, саперы, казаки русского генерала от кавалерии Михельсона.

И Селим велит вернуть смещенных господарей Валахии и Молдавии. Султан приказывает отворить Босфор для русских судов.

Осенние и зимние дни восьмьсот шестого года помогли Себастиани больше и лучше минувшего «бархатного сезона»: Наполеон, как бич божий, разгромил Пруссию; Наполеон пил кофе в коленопреклоненной Варшаве.

«Проснись, Селим!»

Селим «проснулся». В середине декабря 1806 года Себастиани докладывал Талейрану о том, что война России «торжественно объявлена».

### 3

Моряк, известно, в понедельник ничего хорошего не ждет, понедельник — день черный. Суббота — дело иное. Да вот поди ж ты, вопреки всем приметам в понедельник посчастливилось, а в субботу настигло несчастье...

В декабрьский понедельник восьмьсот шестого года, три дня спустя после Пултуского сражения, случился морской бой, ни по каким «параметрам» не сравнимый с Пултуским, кроме «параметров» мужества и воли к победе.

Сенявин, с присущей ему охотой славить безвестных героев, не ограничился служебным известием о бриге «Александр», но еще написал письмо частное, адресованное в Петербург, адмиралу Шишкову. Дмитрий Николаевич знал, что Александр Семенович равнодушным не останется.

И верно, Шишков (сообщает в своем дневнике петер-

буржец) «с таким горячим участием и так восторженно рассказывал о подвиге какого-то лейтенанта Скаловского, о котором ему писал вице-адмирал Сенявин, что я на него залюбовался. Этот Скаловский, командир небольшого брига, застигнут был затишьем в недалеком расстоянии от Спалатро. Находившиеся там французы, увидя его в этом положении, немедленно выслали против него несколько больших канонерских лодок, на которых число пушек и людей вчетверо было больше, чем у Скаловского. Все считали гибель его неизбежной — ничуть не блывало. Скаловский, не теряя присутствия духа и бодрости, отпаливался от них с таким успехом, что одну лодку потопил, а другую изрешетил так, что она должна была возвратиться в Спалатро. Правда, и он потерпел немало: корпус брига и такелаж до такой степени были избиты, что Скаловский насилу и кое-как мог доплыть до Курцоли».

Горячность седовласого рассказчика объяснялась не только влюбленностью в моряков и корабли (за что я готов извинить ему нелюбовь к карамзинской школе, хотя и рискую вызвать гнев литературоведов); она объяснялась еще и тем, что Шишков мысленно видел положение, в котором очутился «какой-то лейтенант Скаловский».

Положение было, что называется, аховое. Бриг «Александр» имел дюжину четырехфунтовых орудий и семьдесят пять душ экипажа\*. Сдается, не следовало поручать одиночке наблюдение за коммуникацией, важной французам. Мармон поспешил воспользоваться неожиданным шансом одержать победу на море. (Может, генерал хотел блеснуть не столько перед императором, сколько перед морским министром Декре, одним из очень немногих министров, смевших иногда возражать императору?) И Мармон выставил против «Александра» «Наполеона». Было бы чертовски здорово, если б Наполеон наконец-то побил Александра еще и на воде.

«Наполеон» располагал большей, нежели «Александр», огневой мощью: шесть 12-фунтовых пушек и две 18-фунтовые. Однако Мармон намеревался играть наверняка. Он придал «Наполеону» три канонерки и требоку, слу-

---

\* В русском флоте артиллерийским фунтом считался вес чугунного сплошного ядра диаметром в два дюйма. Определение калибра орудий по их внутреннему диаметру было принято в 1877 году.

жившую транспортом для солдат. Солдат понапихали и на все другие суда.

Застигни такая флотилия врасплох, и лейтенант Скаловский со своими матросами либо отправился бы кормить рыбу, либо угодил в плен кормиться рыбой.

Врасплох бриг не застигли: Скаловского предупредили островитяне. Как ни скрытничали французы, а местные жители проведали о беде, грозящей сенявинскому кораблю. Едва французы под покровом ночи снялись с якорей, как на высотах зажглись сигнальные костры, числом равные числу неприятельских судов.

Не думаю, что кто-нибудь укорил бы лейтенанта за отступление. Никто, кроме него самого. Он сказал матросам:

— Ребята, там есть «Наполеон»! Если я буду убит, не сдавайтесь, пока все не положите голову!

И приказал изготавиться к бою. Особенно к рукопашному, абордажному. Изготавившись, поджидал врага, как поджидает настоящий кулачный боец прущую на него «стенку».

А вокруг была «сама поэзия»: тише тихого, шелест и всплески, темные громады недалних берегов и такая ярая луна, какая бывает лишь на юге.

В ту лунную ночь генерал Мармон задал бал. Пирующие слышали пушечный гул. Любезный хозяин успокаивал дам и намекал, что утром «сделает им нечаянный подарок Александром».

«Но по рассвете, — пишет Броневский, — несчастный его Наполеон с 3 лодками пришел (четвертая погибла. — Ю. Д.) весь избитый и в гавани потонул. Мармон столько огорчен был сею неудачей, что командира флотилии, артиллерии капитана и всех офицеров арестовал, посадил в крепость и отдал под суд».

Подвигом брига «Александр» завершился для сенявинцев громкий восьмьсот шестой год.

А новый, восьмьсот седьмой, ознаменовался несчастьем...

Всеволоду Кологривову завидовали: многие б отдали многое, лишь бы командовать «Флорой». «Прелестный корвет», утверждал сенявинский офицер; «прекрасный корвет», вторил другой; а третий будто целовал кончики пальцев: «Можно сравнить его с красивой женщиной, со вкусом одетой». Оценщики были ценителями. Знатки, они восхищались «Флорой» и завидовали свое-

му корпусному товарищу, который, между прочим, мог бы сказать вместе с Пушкиным: «Мой предок Рача мышцей бранной Святому Невскому служил» — Кологривовы происходили от одного из Пушкиных, прозванного «Кологривом».

Беда настигла «Флору» у берегов Албании, настигла в субботу, январской ночью, когда разразилась сумасшедшая гроза. Загорелся бушприт, потом фок-мачта. Оголенный корвет очутился во власти бури, ослепшей от собственной ярости.

Весть о гибели «Флоры» принес Сенявину один английский моряк. Его рассказ записал Свиньин. «К счастью, экипаж спасен от неминуемой смерти отважностью капитана, который не мог, однако, избавить его и спасти сам себя от плена. Они взяты албанцами и отправлены в железках в Константинополь... Сказывают, что молнией на «Флоре» спибло обе мачты и потом сильным шквалом кинуло ее на острые камни, где она вся вдребезги расшиблась».

Дальнейшая судьба Кологривова, офицеров и матросов «Флоры» оставалась темной. Одно было ясно: моряки, спасаясь на берегу Албании, подвластной туркам, не подозревали, что Турция разорвала восьмилетний союз с Россией.

4

Да, экипаж погибшего корвета велено было доставить в столицу Османской империи, и несчастным морякам довелось увидеть Турцию «изнутри» в то самое время, когда их более счастливые товарищи увидели Турцию «снаружи».

Поначалу они находились в Албании. Албанию в ту пору составляли две зависимые (или полузависимые) от султана области, два турецких пашалыка.

В первые дни пленные надеялись на избавление. Местный турецкий начальник отнесся к ним сострадательно. Но едва русские оказались в пределах Янинского пашалыка, где правил Али-паша, как все переменилось.

Имя Али-паши было известно русским. Он еще при Ушакове усиленно набивался в соучастники по овладению Корфу. Ушаков его раскусил: турки — союзники русских; паша — вассал султана; он правит областью,

самой близкой к Корфу; кому ж отдать остров, как не Али-паше Янинскому?

Западная историография, повторяю, издавна выдает Али-пашу за принципиального противника России. Правду молвить, он был принципиальным противником принципов. Кроме принципа самовластья в применении к самому себе. Отсюда вечный «флирт» то с русскими, то с французами, то с англичанами. Граф Моцениго, русский посол на Корфу, точнее прочих определил политику Али-паши: «Человек, стучающийся во все двери».

Ему не откажешь в уме и храбрости, в ловкости и осмотрительности, в энергии и проницательности, в качествах и свойствах, воспламенивших воображение Байрона и Дюма. Он сумел поставить себя так, что и Албанией и Грецией правили, в сущности, не из Стамбула, а из Янины. Больше того, Али презирал все турецкое. Он находил выгодным поощрять греческую культуру и образованность. В его время, как отметил Байрон, центр греческого просвещения, литературы, учености находился вовсе не в Афинах, а в Янине.

Доселе одни видят в Али-паше деспота и кровопийцу, другие — борца за единство и независимость Албании. Пожалуй, первое верно субъективно, а второе — объективно. И уж совершенно верно то, что у стамбульских султанов не было иного столь неверного, правоверного. «Я мусульманин, но я совсем не фанатик, — говорил Али-паша. — Я ненавижу мой диван и его управление, я чувствую его упадок и предвижу его гибель».

Однако на исходе восьмисот шестого года, когда дело шло к разрыву Турции с Россией, Али-паша почел за благо прикинуться надежным вассалом Стамбула. Он, очевидно, ставил карту на благосклонность французов, благосклонных к султану, рассчитывая заполучить от щедрых победителей город Паргу, а может, даже Ионические острова.

(Между прочим, Сенявин, как некогда Ушаков, тоже раскусил намерения Али-паши. Еще не зная о войне с турками, Дмитрий Николаевич озаботился обороною Ионических островов именно от «покушений» янинского правителя. Главнокомандующий, в частности, указывал генералу Назимову: «Я предписываю вашему превосходительству иметь доброе попечение о безопасности острова Св. Марка на случай неприятельского покушения». А в те дни, когда моряки «Флоры» принимали в плену

крестную муку, Назимов доносил, что Али-паша возвел на высотах албанского берега батареи, что солдаты Али-паши от перестрелок с нашими пикетами перешли к весьма кровопролитным стычкам \*.)

Появление русских пленников было удобным и совершенно безопасным поводом для того, чтобы Али-паша продемонстрировал ненависть к русским — «исконным врагам полумесяца» и врагам французских орлов.

Итак, лишь первые дни Кологривов и его товарищи пользовались милосердием некоего паши Ибрагима, совсем непохожего на Али-пашу. Ибрагим, конечно, объявил россиян пленниками, изъясил у офицеров кортики, держал моряков под крепким караулом. Но, отправляя пленных в Константинополь, Ибрагим снабдил команду несколькими мешками пиастров, подарил каждому бурку, седло, уздечку, лошадь.

В Янинском пашалыке лошадей отобрали; с офицерских мундиров сняли вместе с «мясом» золотое шитье: у всех моряков срезали металлические пуговицы, как срезают с арестантов, и они, как арестанты, приделали застежки-деревяшки.

Оборванных, голодных, изможденных моряков гнали палками по горным тропам. Отставших нещадно били. Одного матроса убили. Хворый, он дышал на ладан, товарищи тащили его на руках. Кто-то из стражников сказал, что из-за него пленные не идут, а ползут, да и снес ему саблей голову.

В середине марта блеснули шпили и кровли Константинополя. Пленные ободрились. Не надеясь на освобождение, они надеялись на послабления. И все вокруг будто обещало некий просвет. Цвели сады — абрикосовые и гранатовые; на виноградниках, обнесенных плетнями, работали крестьяне; звенели беломраморные фонтаны с золотыми или серебряными ковшиками на золотых или серебряных цепочках; дорога струилась, ровная, осененная оливковыми деревьями и орешником.

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, лл. 3—15. В том же архиве историк В. Г. Сироткин обнаружил «интересный план совместных действий корпуса Сенявина и черногоро-бокесских отрядов против Али-паши Янинского... Сенявин получил сведения о связях паши с французами. Сенявин поручил полковнику русского экспедиционного корпуса Буасселею составить план похода против Али-паши. Разработанный Буасселем план в мае 1807 года был представлен Чичагову». См.: «Ученые записки Института славяноведения», т. XXV. М., 1962.

Николай Клемент, офицер «Флоры», рассказывает:

«Наконец, привели нас к верховному визирю во двор, посреди которого сидело человек около 50 пленных сербов в кандалах; они находились тут уже около трех суток. Мы были свидетелями, как совершился над ними приговор и как всем им по очереди рубили головы. Между тем как сие происходило, начали нас обыскивать и почти оборвали до рубашки. Мы не видали верховного визиря, оттого ли что тут было множество народа, или что мы не смели приподнять глаз. После сказывали нам, что с ними тут сидел французский посланник генерал Себастиани, бывший свидетелем нашего унижения. Вдруг кто-то (надобно думать, сам визирь) махнул платком, и нас повели в прежнем порядке чрез город. Едва передвигая ноги, устремив глаза в землю, мы не видали, что кругом нас происходило, и тогда только опаматовались, когда очутились на берегу Константинопольского залива. Нас посадили на большие перевозные суда и повезли неизвестно куда; мы же полагали, что везут на противоположный берег Азии, в город Скутари, дабы оттуда отправить в дальнейшие провинции и всех, как невольников, продать. Но переезд наш, сверх нашего чаяния, продолжался недолго. Мы увидели себя в части города, называемой Галата, где находится их адмиралтейство... По выходе на берег провели нас через трое железных ворот на обширный двор, посреди коего выстроен огромный каменный дом с слуховыми только окошками; в нем содержатся их преступники, скованные попарно. Звук цепей прежде всего поразил наш слух и уведомил о нашей участи».

Вот точно так и пушкинскому герою, кавказскому пленнику, «все, все сказал ужасный звук»...

## 5

Изволите ли помнить: Петербург, повитый метелицами, толковал об «ужасной резне» и о том, что «мы били французов, как поросят»?

Так вот, в Петербурге еще не умолкли толки о Прейсш-Эйлау, а далеко на юге, в Средиземном, Сенявин ринулся на войну с турками. «Мы не убавляли парусов и едва успевали считать острова, мелькающие мимо нас», — писал сенявинский офицер.

Министр Чичагов, министерство военных морских сил

вовремя озаботились присылкой подкреплений. Ровно через год после того, как Сенявин пришел из Кронштадта в Корфу, туда же пришла эскадра капитан-командора Игнатьева.

Корабли Игнатьева (еще по дороге в Корфу) видели англичане. Русский дипломат в частном письме рассказывал: «Трудно дать понятие о красоте нашей эскадры, ревности начальников, устройстве, порядке, исправности экипажа; одним словом, цветущее состояние эскадры сей после столь долгого мореплавания возбудило всеобщее удивление и зависть самих англичан. Они удивляются скорым успехам нашего флота и смотрят на него как на будущего соперника».

«Игнатьевцы» пополнили флот Сенявина пятью линейными кораблями, фрегатом, шлюпом, корветом и катером.

Отправляясь к Дарданеллам, «повелитель Адриатики» не оставил Адриатику без призора: младшему флагману Илье Андреевичу Баратынскому было велено обеспечивать неизбежность завоеванных позиций.

Но главные силы отправились к Дарданеллам. Там, в преддверии Константинополя, с русскими должен был соединиться британский союзник. Соединившись, они имели полную возможность крепким кулаком ударить по центру Османской империи. И Сенявин спешил: «Мы не убавляли парусов».

С петровских времен вице-адмиральский флаг поднимали на форстенъге, то есть на верхушке фок-мачты. Начиная войну с турками, Сенявин поднял свой флаг на «Твердом», линейном корабле, где командиром был балтиец, капитан 1-го ранга Малеев.

За флагманом следовали:

линейный корабль «Ретвизан» (контр-адмирал Грейг; командир — капитан 2-го ранга Ртищев);

линейный корабль «Сильный» (капитан-командор Игнатьев);

линейный корабль «Мощный» (капитан 1-го ранга Кровье);

линейный корабль «Скорый» (капитан 1-го ранга Шельтинг);

линейный корабль «Селафаил» (капитан 2-го ранга Рожнов);

линейный корабль «Ярослав» (капитан 2-го ранга Митьков);

линейный корабль «Рафаил» (капитан 2-го ранга Лукин);

фрегат «Венус» (капитан-лейтенант Развозов);

шлюп «Шпицберген» (капитан-лейтенант Качалов).

Не только моряки шли с Сенявиным. За неделю до съёмки с якоря Дмитрий Николаевич приказал генерал-майору Назимову:

«Предпринимая некоторую экспедицию, предписываю вашему превосходительству командировать для десанта из числа находящихся в Корфу войск: два батальона Козловского мушкетерского полка, легиона легких стрелков до трехсот человек и при них за адъютанта поручика Флори. Для услужения к артиллерии, состоящей при отряде морских полков, отрядить из корфского артиллерийского гарнизона подпоручика Галицкого и к нему в команду самых отборных и исправнейших бомбардир... Вдобавок к числу состоящих в сем командруемом отряде боевых патронов собрать еще с прочих, остающихся в Корфу войск столько, чтобы было на каждого ружейного человека по триста, и приготовить оные для погрузки на корабли... На место ж таковых, отобранных с прочих войск, патронов приказать толикое число сделать вновь. Десятидневного провианта не брать. Сей командруемый в десант отряд был бы в готовности амбаркироваться по первому повелению»\*.

«Повеление амбаркироваться», то есть грузиться на корабли, не замешкалось. И теперь, в срединные февральские дни, мушкетеры и легионеры-албанцы полковника Падейского, морские пехотинцы полковника Буаселя, того самого, что со своими ребятами штурмовал французские редуты на далматинских островах, артиллеристы подпоручика Галицкого, гренадеры, обстрелянные в ущельях Которской области, — вся эта воинская команда, давно знакомая с судовыми буднями, плыла к турецким берегам.

А дни были щедрые на солнце, на ветер. И ночами

Качаясь, звезды мигали лучами  
На темных зыбях Средиземного моря.

Как ни спешили, переход из Корфу к Дарданеллам взял добрых две недели. 24 февраля 1807 года с мачт усмотрели британскую эскадру: семь линейных кораблей,

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, лл. 107, 107 (об.).

четыре фрегата, пара бомбардирских судов, бриг. Ого, сила! А вкупе с сенявинской эскадрой — силища! Стало быть, гром победы раздавался...

Раздался гром с ясного неба: англичане уже обожглись в Дарданеллах, англичане уже отказались от совместных действий.

Давайте-ка обратимся к самим англичанам, следуя правилу выслушивать и противную сторону. Ибо древний философ утверждал, что без этого несправедлив даже тот, кто вынес справедливое решение.

Английские генералы, адмиралы и дипломаты хором жаловались на Сенявина: он-де нарочито опоздал к Дарданеллам; он-де медлил в Адриатике, поглощенный собственными заботами, не помышлял о союзнике, который один-одинешенек крейсировал в восточной части Эгейского моря. (Общему хору противоречил лишь голос боевого моряка, друга и преемника Нельсона адмирала Коллингвуда. Коллингвуд находил, что хотя Сенявин и «упрям», но англичанам он, «по-видимому, симпатизирует». Почему «упрям» — скажем после.)

Историки-англичане обычно спокойнее, объективнее. Во всяком случае, там, где речь идет об отношениях русских и британских моряков. Историки уменьшают «вину» Сенявина, если не вовсе снимают ее. Они указывают, что вице-адмирал не имел права покинуть Адриатику без прямого повеления с высоты трона. Указывают, что Сенявин такое повеление получил лишь в феврале. Указывают, что «в Лондоне и Петербурге колеса союза вращались медленно»...

Всегда важно знать душевный накал человека, приступающего к трудному делу. А прорыв к Константинополю, как верно указывал автор истории королевского флота, требовал от высшего офицера «больших способностей и твердости».

Справка «Британской энциклопедии» как будто подтверждает наличие таких качеств у Джона Томаса Дукворта. Он участвовал во многих жарких боях с французами и испанцами; был награжден золотой медалью, удостоился благодарности парламента и пенсiona в тысячу фунтов годовых; он захватывал большие конвои противника, а равно и острова, принадлежавшие противнику; в чин вице-адмирала Дукворт был произведен в один год с Сенявиным.

И что же?

Этот человек, приступая к трудному делу, написал письмо адмиралу Коллингвуду, командующему британскими морскими силами на Средиземном море. Письмо, по определению английского историка, «неуверенное»; письмо, «которое, вероятно, должно было подготовить командующего к сюрпризу поражения».

И далее летописец английского флота рассуждает: «Если Дукворт действительно чувствовал недостаток своих сил для выполнения задачи, он должен был даже в столь поздний час не пытаться что-либо предпринимать. Его письмо, кроме того, показывает, что он полностью сознавал, что укрепления Дарданелл становились . день ото дня все более значительными; быть может, ему и удалось бы прорваться к Константинополю, но возвращение не обошлось бы без значительных потерь. Подобная точка зрения удесятерила бы дух сильного человека. Но, как кажется, она подействовала на Дукворта иначе, угнетающе. Вице-адмирал, будто парализованный чувством ответственности, колебался и откладывал столь важно, словно для того, чтобы Адмиралтейство поняло, как оно плачевно ошиблось в свойствах его характера».

Дальнейшее поведение Дукворта подтверждает и искренность письма к Коллингвуду, и правоту историка.

В Константинополе эскадру Дукворта приняла за настоящую грозную тучу. Султан потребовал отчета французского инспектора военно-инженерной службы: каково состояние береговых укреплений? Рапорт не отличался оптимизмом. В серале пали духом. Адьютанты Себастиани помчались в Дарданеллы, французские офицеры-артиллеристы приняли команду над турецкими канонирами. Сам господин посол и персонал посольства пускали фейерверки красноречия, стараясь возбудить энергию Селима, великого визиря, капудан-паши.

Линейный корабль «Роял Джордж» под флагом вице-адмирала Дукворта и вся его эскадра, громыхая бортовыми залпами, пожаловали в Дарданеллы, подавили сопротивление шестерки турецких судов и вышли в Мраморное море, где, по слову нашего поэта, все

Покрыто дымкою... как будто сладкий сон,  
Как будто светлая серебряная чара  
На мир наведена и счастьем грезит он.

Так было и в те февральские дни. На море, но не на берегу. Никаких сладких снов, никаких грез. Диван объ-

яла паника, визири и паши тряслись, гаремы огласились воем, евнухи утратили бдительность.

Однако «презренная чернь» Стамбула решилась защищать родной город. Дело закипело, как кипит оно при народной решимости. Ремесленники, лодочники, мелкие лавочники, старики и даже ребятишки бросились к береговым укреплениям с мешками земли и камней. Бедняки рулили свои жалкие лачуги, чтобы камнем и деревом угнать батареи.

Не остался праздным и Себастиани. Генерал, он не слезал с лошади, объезжая позиции. Посол, он толковал Селиму, что Наполеон уже на пути к Петербургу. Его помощники щедро сыпали золотом.

Между тем Дукворт, к вящему собственному удивлению, продвигался все дальше и дальше в плеске «жемчужом отяжелевших волн», пока не показался у мыса Сан-Стефано.

И тут-то произошло нечто поразительное: Дукворт встал на якорь... в двух милях от Константинополя. Чего ж он ждал, вице-адмирал Джон Томас Дукворт? Чего ж он ждал, будущий баронет и член парламента, будущий полный адмирал британского флота?

Мы располагаем несколькими объяснениями:

а) Дукворту помешал встречный ветер;

б) Дукворту помешал штиль;

в) Дукворт надеялся, что перепуганные турки согласятся на переговоры;

г) Дукворт, не завершив наступления, помышлял об отступлении, а последнее очень страшило Дукворта, ибо он видел, как растут и усиливаются береговые батареи, близ которых ему идти обратно в Эгейское море.

Объяснения, исключающие друг дружку. И вдруг еще одно, принадлежащее не моряку, а дипломату. «У меня было тайное желание помешать употреблению наших морских сил», — признался английский посол в Турции мистер Эрбетнот.

Вот где зарыта собака! Пострадать Селима следовало: не лобзайся с Наполеоном. Сокрушать Константинополь не следовало: не помогать же русской армии Михельсона — она ведь уже перешла Днестр и уже овладела большой территорией на севере Османской империи.

Быть может, военные сомневались в успехе операции? О нет, по крайней мере, два специалиста из двух

враждебных лагерей, да к тому ж один моряк, а другой сухопутный, находили такую операцию хотя и нелегкой, однако исполнимой: английский адмирал Коллингвуд, выученик Нельсона, и французский генерал Себастиани, выученик Наполеона. Себастиани прямо писал Талейрану, что турки непременно капитулировали бы при английской корабельной бомбардировке.

Но Дукворт, ни во что не веря, легко согласился с Эрбетнотом. Адмиралтейская инструкция предписывала вице-адмиралу отпустить Селиму тридцать минут на размышление, а по истечении получаса открыть ураганный огонь. Вместо этого Дукворт лег в дрейф.

Себастиани разразился громовым гасконским хохотом. Он сообщил Мармону в Далмацию: «Мы тешили англичан переговорами ровно столько, сколько было необходимо, чтобы привести столицу в состояние обороны».

Турки играли в прятки, а Дукворт канючил: честь моего монарха и моя честь не позволяют поддаваться обману; вы, турки, принимаете все меры к защите, а тем самым рискуете бедствием, приводя в ужас наше (английское) чувство гуманности; вы, турки, должны знать, что наш (английский) характер обладает меньшей склонностью к угрозам, нежели склонностью к действиям; поймите меня правильно — наша цель дружеские переговоры, они зависят от вас и т. д. и т. п.

Ну что тут скажешь? Разве лишь то, что сказал английский историк: турки были бы дураками, если бы обратили серьезное внимание на человека, который столько пугал, а кончил мольбою ответить ему хоть чем-нибудь.

Турки дураками не были.

И Дукворт поворотил на обратный курс.

А на обратном курсе его уже поджидали мощные дарданельские пушки. Рыча как драконы, они извергали огромные мраморные ядра. Одновременно заработала судовая артиллерия — турецкие корабли, кряжисто стоя на якорях, обратились как бы в стационарные батареи.

Джон Томас Дукворт, одураченный, словно молоденький юнга, продирался сквозь ад. Он терял корабли. И уносил десятки убитых, сотни раненых. И конечно, не унес бы ноги, окажись турецкий артиллерийский парк совершенней.

Выбравшись, Дукворт залег, облизывая раны, у острова Тенедос. Здесь-то, неподалеку от западных

«ворот» Дарданельского пролива, Сенявин и нашел англичан.

Дмитрий Николаевич сдержал естественное раздражение «мальбруковым» походом английского коллеги. Сенявин поначалу рассчитывал на повторный, но уже совместный натиск. Коллега, однако, был совершенно подавлен всем происшедшим. У него оставалось то слабое утешение, какое выражается всхлипами: а я ведь говорил, а я ведь предупреждал... Хорошо, пусть. Да теперь-то можно грянуть такой артелью, что небу будет жарко. Так как же, господа?

Русские очевидцы отдали должное некоторым морякам, подвластным Дукворту. Среди них были и такие, которые искренне соглашались с Сенявиным. Особенно командир линейного корабля — превосходной, великолепной «Помпеи» — Сидней Смит. Тот самый Сидней Смит, «стройный мужчина с пламенными глазами, изображающими вулканическую его душу», о котором упоминалось в начале нашей книжки и который очень радел об английском влиянии на Ближнем Востоке.

Увы, Дукворт затыкал уши. Наверное, из дуквортского «источника» современный нам англичанин-историк и почерпнул якобы сенявинское заключение о том, что он, русский адмирал, «никогда и не думал», будто Константинополь можно атаковать наличными силами.

Полноте! Какого бы тогда дьявола Дмитрий Николаевич двое суток уламывал Дукворта впрячься в одну упряжку? А Сенявин уламывал! Сенявин настаивал, «упрашивал всевозможно», ссылаясь на официальные документы, ссылаясь на обязанности союзника... А после просил хотя бы подкрепить русскую эскадру двумя-тремя английскими кораблями (и не потому ли Коллингвуд назвал русского главнокомандующего «упрямым»?).

Между прочим, на английском флагманском «Роял Джордже» скрывался мистер Эрбетнот, посол его величества и Турции. Дипломата Сенявин так и не увидел: дипломат сказался больным и не высовывался из каюты. Что же до Дукворта, то он сделал хорошую мину при плохой игре: задал русским капитанам парадный обед.

На обеде, устроенном корабельными коками, его превосходительство глядел куда веселее, нежели на «банкете», устроенном турецкими пушкарями его превосходительству. Он был «весьма обходителен». Думается, не столько ради гостеприимства, сколько по-

тому, что у англичанина отлегло от сердца: неприятные (для Дукворта прямо-таки унижительные) диалоги с Сенявиным уже отзвучали. А на днях Джон Томас Дукворт пошлет к чертям это Эгейское море. Век бы не видеть здешних широт!

Да, угощая русских на своем «Роял Джордже», вице-адмирал был «весьма обходителен», любезен, радушен. И когда я всматриваюсь в портрет Дукворта, кисти Вильяма Бичи, в свое время лучшего художника Англии, когда я всматриваюсь в лицо старого моряка, мне приходит в голову, что по натуре своей он, может, вовсе и не был человеком дурным, коварным, низким. Его темные глаза печальны, его лоб изборожден морщинами; у него две резкие вертикальные складки над переносьем и тот крупный тяжелый подбородок, который зачастую объявляют признаком железной воли, но который столь же часто — фамильное наследство, и ничего больше.

Публика, собравшаяся в кают-компани, не трогала недавнего происшествия: в доме повешенного не говорят о веревке. И не касалась мутного слуха о том, что Дукворта подкупили турки: всерьез русские этому не верили, хотя, как писал сенявинский офицер, и «сердились на англичан».

Для застольной беседы нашлись иные, более приятные темы. Ну вот разве о том, что хозяину вчера стукнуло пятьдесят девять. Или взять приключения «стройного мужчины с пламенными глазами». О, этому было о чем порассказать. В самом деле, чего стоил, например, побег из французского плена? И Сидней Смит рассказывал...

Офицеры английских кораблей перед обедом пили грог, во время обеда — портвейн и херес, после обеда — опять грог. Еще в Портсмуте наши моряки угощались в английских кают-компаниях и лавировали восвояси, как не скрывает один из них, «с красными носами». Так было и теперь.

Однако ни грог, ни портвейн, ни херес, ни тосты, ни Сидней Смит — ничто не избавляло гостей от неприязни к хозяевам. Моряки и армейцы Сенявина — все, кого покидал Дукворт со своей эскадрой, — негодовали на союзников: они «не дождалась нас в прорыве через Дарданеллы и потом отказались действовать соединенно».

Кажется, лишь злопыхатель генерал Вяземский, воркуя с «милой, верной, нежной» княгинюшкой в тиши

Корфу, кажется, он один возрадовался и, все напутав, начертал в дневнике:

«Прибыл от адмирала с рейды тенеодской корвет «Шпицберген» и привез известия, что адмирал снялся с якоря с намерением пройти Дарданеллы, истребить турецкий флот, взять Константинополь. Сии намерения и предприняты были и основаны на счастье, бесплодной дерзости и хвастовстве Сенявина, но, найдя английскую эскадру только что возвратившейся из Мраморного моря под командою адмирала Дунифорта (так!), сие предприятие, как весьма безрассудное, оставлено».

С генералом Вяземским решительно не согласен английский автор пятитомного труда о британском флоте. Высмеяв Дукворта, он определил, хоть кратко, но внушительно: «Русские поступили лучше».

6

В одиночку нечего было и помышлять о прорыве к Константинополю. Напротив, в одиночестве следовало не допускать прорыва к Константинополю. Да-да, именно так: не можешь пройти сам, не пускай других — не пускай в столицу Османской империи торговые суда с провиантом. Надо обложить логовище султана, как охотники обкладывают зверя. А для строгой тесной блокады необходима база. Необходима станция, как говорили тогдашние моряки.

Сенявин указывал на остров Тенеодос. Но Дукворт видел в этой базе лишь недостаток: слишком-де близок враг, каких-нибудь шесть-семь миль до малоазийского берега; возможны, мол, внезапные, как шквал, десанты; наконец, неизвестно, отнимешь ли еще у турок этот самый Тенеодос.

Там, где англичанин усматривал недостаток, Сенявин усматривал и недостаток и достоинство; турецкие берега близки, это так, но близки и проливы, это тоже так. Понятно, десанты возможны. Но ведь на то и щука в море, чтоб карась не дремал. И конечно, с Тенеодоса придется выбивать турок. Но ведь на то и пушки в деках, и солдаты на борту, чтоб брать силой острова и крепости.

Англичане не поддержали Сенявина и ушли; русские, собравшись на военный совет, поддерживали главнокомандующего и решили овладеть островом, которым во вре-



мена оны владели и персы, и греки, и римляне и которыми вот уже четыреста с лишним лет владели турки.

В пятницу, 8 марта 1807 года, сенявинская эскадра приблизилась к Тенедосу. Остров был невелик. Его покрывали, сливаясь в темно-зеленые пятна, виноградники. Одна лишь приметная издали гора вздувалась посреди острова.

Турецкому начальнику предложили капитулировать. Верный долгу, он отказался. Его противник, тоже верный долгу, отказался принять отказ. И начал дебаркироваться, как военные называли высадку десанта. Всей операцией руководил контр-адмирал Грейг.

Высадку обеспечили огнем с кораблей. Плацдарм на берегу очистили, десантный отряд ступил на остров двумя колоннами. Одной командовал полковник Буассель; его имя упоминалось, когда речь шла о боях с французами на далматинских островах. Другой командовал полковник Падейский; Федор Федорович служил в полевых войсках тридцать пять лет; за все эти долгие годы он «в штрафах и домовых отпусках не бывал», но зато бывал в суворовских походах, в том числе и в итальянском\*.

Буасселю, наступая долиной, предстояло опрокинуть турецкий правый фланг, а Падейскому, продвигаясь к холмам близ крепости, — левый фланг.

«Сие движение, — рассказывает высший армейский офицер, — угрожало неприятелю нападением на его тыл. Почему он пред колонною Буасселя не держался, но не переставал ретироваться по мере того, как видел в тылу высоты, занимаемые колонною Падейского.

Наконец, турки, пред колонною Буасселя бывшие, ретируясь, дошли до ретрашименту (вал и ров. — Ю. Д.), сделанного перед форштатом (предместье у города или крепости. — Ю. Д.), засели в оном и упорно защищали до тех пор, пока колонна Падейского совершенно не опрокинула неприятеля с гор и не заняла оные.

Оттуда отряжены две роты гренадер атаковать неприятеля, в ретрашименте сидевшего, и турки, лишь только увидели сей отряд, к ним в тыл идущий, оставили ретрашимент и бросились в крепость.

В сие время Падейский приказал спуститься батальону Гедеонова с горы, очистить форштат и занять оный

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 59 (об.).

одною ротою и албанцами (то есть легионерами-стрелками. — Ю. Д.).

После сего крепость находилась в осаде. Уже войска были на ружейный выстрел от крепости, но неприятель во весь день и на другой день вел сильную пушечную пальбу, но она была почти без вреда из-за выгодного для наших местоположения. 11-го числа крепость сдалась на капитуляцию, делающую честь турецкому гарнизону».

Буассель и Падейский в ходе боев «нарушили» правило: десантники обычно несли потери большие, нежели противник, отражающий десант, а на Тенедосе русские потеряли впятеро меньше неприятеля.

Надо сказать, турки покорились не одной лишь силе оружия.

Энгельс однажды заметил: личность характеризуется не только тем, что она делает, но и тем, как она это делает. Пленные признавали, что русские, исполняя строжайшие приказания Сенявина, обращались с ними на редкость предупредительно. Шкиперы судов, захваченных в качестве приза, вторили французским солдатам и офицерам. Коменданты крепостей, взятых русскими, заверяли, что вице-адмирал поначалу пытался миром разрешить спор.

И на Тенедосе вице-адмирал тоже пытался убедить противника в напраслине кровопролития. Он письменно обещал отпустить гарнизон под честное слово не братья больше за оружие; мало того, обещал всем сохранить личное оружие.

Передать послание предложили кому-либо из пленных турок. Те испуганно отнекивались. У них был свой резон: по турецкому обыкновению, каждый пленник считался изменником. Никакие ранения, никакие обстоятельства оправданием не служили.

Но вот на борт сенявинского корабля взошла молодая турчанка. Она оказалась женою местного ремесленника. Прижимая к груди ребенка, Фатма сказала адмиралу:

— Я отнесу письмо твое, я хочу убедить наших, что мы во врагах нашли друзей. Обязанность трудная. Мне вряд ли поверят, что великий начальник христиан — добрый человек. Я иду на верную смерть, но надеюсь, что сумею ослабить вражду к вам. — Фатма опустила на колени, поцеловала ребенка и протянула Сенявину: —

Вот тебе дитя мое. Если меня лишат жизни, не оставь его своими наставлениями и помощью.

Дмитрий Николаевич растрогался и испугался. Он испугался за Фатьму. Ведь турецкие пашы не делали различия между пленными мужчинами и пленными женщинами: первые — изменники, вторые — обесчещенные; и те и другие подлежали смерти.

Дмитрий Николаевич, пишет Броневский, «будучи сам отцом, поколебался в душе, желая отказаться от сей жестокой жертвы, но героиня уже удалилась. С редкою твердостью сошла она на шлюпку и ни разу не обратилась к сыну, который голосом призывал ее и простирал к ней руки».

Заиграли трубы, русские прекратили огонь. И вот Фатьма все той же мелкой, уверенной поступью вышла на открытое пространство перед крепостью. С ближнего бастиона грянул залп. Подняв руку с пакетом, Фатьма продолжала путь.

«Командант, — рассказывает Броневский, — принял от нее письмо и, выслушав, какое уважение Сенявин оказал к их обычаям, тронутый снисхождением, которого по предубеждению не предполагают турки в христианине, собрав совет, по общему желанию определил послать чиновника с согласием сдаться на предложенных условиях».

Сенявин в точности исполнил свое обещание. «Мы ценим твое снисхождение, — заверили адмирала признательные турки, — и постараемся доказать нашу благодарность».

Солдаты и матросы расположились на Тенедосе под домашнему. С кораблей свезли скот и живность. Быстренько устроилось то, что теперь называют подсобным хозяйством, и служивые принялись хозяйничать, вспоминая с тайной грустью свое давнее деревенское житье.

На тихом, каменистом острове вздымалась гора. С горы виднелся малоазийский берег, холмы Трои. С горы открывался и Дарданельский пролив — череда волн, тесных встречным течением... Троя была памятником гомеровских героев, отшумевших древних войн. Эгейские волны блистали под солнцем, как поле будущих, уже совсем близких боев.

Обладая хоть и не вполне надежной опорой на Тенедосе и вызвав из Корфу еще два линейных корабля, Сенявин блокировал Дарданеллы. В сущности, Дмитрий

Николаевич повторял свои действия в адриатических широтах: он пресекал вражеские пути сообщения.

Однако в Адриатике Сенявина не ожидало столкновение с крупными морскими силами — у французов их не было. А здесь, в Эгейском море, Дмитрий Николаевич мог встретить мощный отпор. И вот что главное: он желал сразиться на море.

Если дарданельские батареи не позволяли ему, лишенному союзников, войти в проливы, то он хотел, чтобы противник вышел из проливов. Сенявин не только ждал морского сражения — он его добивался. Выманывая турецкий флот под огонь своих пушек, вице-адмирал в марте и апреле произвел демонстрации у Салоник, у Смирны, в заливе Сарос.

А турки не показывались.

Почему? Ведь столица, несомненно, испытывала серьезные продовольственные трудности — подвоз-то почти прекратился... А Селим ведь обладал флотом куда лучше того, с которым имели дело Войнович, Ушаков, да и он, Сенявин, в минувшем веке...

Турки не покидали Дарданелл.

Сенявин смотрел в подзорную трубу. Там, за трепетным чистым горизонтом, крылся Константинополь.

Когда-то, молодым офицером, командиром пакетбота «Карабут», а потом, при Ушакове, командиром «Св. Петра», Дмитрий Николаевич не раз бывал в Константинополе.

7

На подходах к Золотому Рогу всегда возникало ощущение театральной декорации: купола мечетей, стремительные иглы минаретов и кипарисы, кипарисы. Взять хотя бы итальянские города: все в открытую, все нараспашку. Не то Константинополь: будто б тайна, притягательная и манящая, что-то шепчущая, как плеск фонтанов.

А потом перемена — ничего театрального, ничего загадочного: пестро и шумно, жарко и пыльно, грязно и бедно. Толпа, разноплеменная и разноязыкая, спешит куда-то, горланит что-то, платья, то длинные, то короткие; шапки и шляпы, фески и какие-то колпаки. Ей-ей, вавилонское столпотворение, странный мир, будто брошенный как попало.

Ровно в полдень в галереях бесчисленных минаретов появляются муэдзины: сзывать правоверных на молитву. Подойдешь к одному, услышишь голос мрачно-торжественный; подойдешь к другому — пронзительный и дрожащий; а третий льется, приятный и свободный, и все эти голоса создают как бы хор, плывущий в поднебесье. И право, есть в этом хоре величие и торжественность. «На молитву, на молитву! Замените земные помыслы воззваниями к богу... Нет бога, кроме бога, и Магомет пророк его... На молитву, на молитву...»

А после молитв — земные помыслы. Куда от них денешься? Земные помыслы в дощатых домах, размалеванных разными красками, с тростниковыми решетками на окнах. И в трактирах Галаты, о которых дураки говорят, что они «опозорены развратом». И на базарах, чем-то напоминающих московские, в лавочках, где, честно сказать, маловато пресловутой азиатской роскоши. И на лицах каких-нибудь дельцов, когда, встретившись в улочке, складывают они свои зонтики — знак почтения, как у европейцев снятие шляп. И у офицеров в их белых и алых нарядах, и у седых пашей с одним или несколькими бунчуками, и у юных пажей в зеленых платьях.

Земные помыслы не только на земле. Они владеют и людьми морей. Поглядели б вы на купеческие суда у галатской набережной! Рядами, рядами, любой флаг увидишь. Изюм всех судов тотчас отличишь средиземноморские. Отчего? Да оттого, что и турки, и греки, и алжирцы, и далматинцы, будь то на ходу, будь то на якоре, работая корабельные работы, пособляют себе всякого рода припевками. А «певчие-то» не кастраты — голосины как дубины. А в регентах у них не старичок-дьячок, нет, бури, ветры, штормы. Двадцать-тридцать работников-«певчих» та-ак голоса, что и труба иерихонская прозвучала б свирелью.

А стамбульские лодочники? О, это племя достойно пристального внимания. Особенно ежели ты моряк, ценящий лихость, статью, сноровку. Да-а, доложу вам, стамбульские лодочники... Вот ты идешь к пристани. Там поджидают каики. Почтенный староста пристани, оставив дымящуюся трубку, встречает тебя... Но постойте. Что ж такое каики?

Вообразите эдакие рыбищи от тридцати до шестидесяти футов длины. Не вовсе плоскостонные, они сидят не-

глубоко, вздымая черные борта. Ты умащиваешься в каике (осторожно, осторожно — каик опрокидывается, как душегубка!), и ты служишь вроде бы балластом. Седоки помещаются в центре, а гребцы на банках. Третий каика — его носовая часть; узкая и длинная, она заканчивается словно бы копьём. В сущности, носовая часть каика подобна балансиру лодок Южного океана — она тоже для остойчивости.

Делают каики из кленового или орехового дерева. В нем, то есть в этом дереве, не только легкость и прочность, но, так сказать, и природное изящество. Под ревом стамбульских ремесленников это изящество как бы выходит наружу в виде арабесок, тщательно и чисто выделанных.

Вообще-то, каики червы, как фигуры арапов на бушпритах кораблей Средиземного моря. Но вельможи разъезжают на белых, а то и вызолоченных. По числу гребцов, как по числу бунчуков у пашей, нетрудно определить, кто едет. Тремя гребцами располагают лишь очень богатые персоны или те, кто пользуется особенным благоволением дивана. А повелителя правоверных возят по Босфору двадцать шесть гребцов... Да, забыл сказать: есть еще и базар-каики. Это вроде бы дилижансов; они доставляют пассажиров из предместий...

Итак, староста указывает твой каик. Подходят гребцы; по-тамошнему зовут их — каикчи. Черт подери, что за ребята! Залюбуешься, да и только! Их движения выдают силу, сопряженную с грацией. У них на темени маленькие красные фесочки с синими кисточками; шелковая рубаха распахнута до пупа; белые шаровары засучены до колен. Вот и весь наряд. А что ж еще надо?

Работают они так, как ни на одном флоте гребцы не работают. Весла у них короткие, с широкими лопастями; вода сразу вскипает как бешеная. Любо-дорого глядеть на каикчи: возьмут пшибкий ритм и бьют, бьют, мерно бьют, точно машина какая, и будто не чувствуя напряжения. Только жилы, вздуваясь, оплетают их руки, грудь волосатая блестит от пота, щеки едва не лопаются от этого «уф», «уф». До тридцати с лишним ударов в минуту дают каикчи. Ну и каик — стрелой, молнией! Против течения, против ветра идучи, гонят, стервецы, по семь-восемь миль. И так, представьте, не один часик, нет — два, три, четыре кряду.

А вокруг такая синь, такой блеск! Летишь, ничего не

чувствуешь, кроме скорости. И она, скорость-то, чудится синей и блестящей, как сам этот Босфор. Летешь мимо других таких же гонцов, мимо отмелей, обозначенных красными вежами, на которых белые чайки. Хорошо! Да, а на чаек там строгий запрет — не смей стрелять чаек. И на дельфинов запрет. Правильный запрет, ибо дельфины — наилучшая прелесть морей.

А утро на Босфоре? Чудо, когда легонький туманец и небо в нежной пестроте. Вечером другое. Вечером, катаясь на каике, видишь тысячи рыбаков. Удят они с той флегмой, с тем терпением, какие, сдается, присущи одним туркам. А в кофейнях сумерничают, слушая сказочников. Сказочники сказывают любовные истории, и непременно волшебники... Вечером тихо в Константинополе: огни, табаком пахнет. И луна. Верно говорят, что тамошняя луна ярче лондонского солнца и, уж конечно, намного теплее: она греет воображение...

Пестрые видения доносил к Сенявину ветер проливов. И многое припоминалось Дмитрию Николаевичу. Но он ждал еще одного «видения»: парусов и мачт вражеского флота. И потому главнокомандующий не мог не думать об этом флоте, с которым хотел помериться силами.

Военный флот Турции уже не был таким, каким встречал его Сенявин на Черном море в екатерининские времена. Султан Селим III не слишком преуспевал в деле внутренних реформ, но преобразовал вооруженные силы империи, особенно флот. Собственно, не он, Селим, а его капудан-паша Кючюк Хусейн.

Судьба Кючюк Хусейна необычна. По рождению грузин, он совсем зеленым угодил в турецкое рабство. Селим его заметил и приветил. Грузин был человеком даровитым. Сделавшись адмиралом, он не стал кейфовать на мягких подушках, покуривая кальян и потягивая шербет.

Кючюк Хусейн пресек хищения казенных денег и припасов. Христос изгнал торговцев из храма, а он — с кораблей, где лавочники гнездились со своими лавками. Затем пригласил иностранных кораблестроителей. Появились и турецкие «мастера доброй пропорции». Именно о турках-судостроителях сообщалось в русской дипломатической депеше: «Следует восхищаться успехами, которые они проявляют в этом искусстве».

А другая депеша извещала (как раз когда Сенявин был в Адриатике), что турки создали «флот, который и по устройству и по красоте кораблей может быть прирав-

нен к флотам народов, наиболее ревностных в этом отношении».

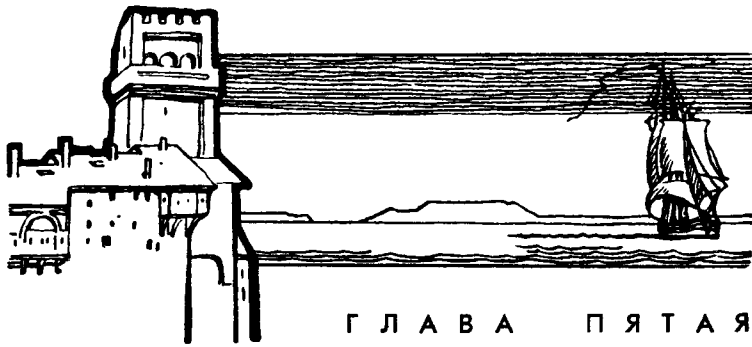
В пору появления Сенявина у Дарданелл Селим держал двадцать три линейных корабля, двадцать фрегатов, свыше шестидесяти корветов и бомбардирских судов. шлюпов и галер.

Русский моряк, видевший эти эскадры, подтвердил мнение дипломата-наблюдателя: «Турецкий флот очень красив; корабли хорошо ходят, вооружение порядочное, управление кораблями, к удивлению, довольно хорошо». И еще одно подтверждение: «Я рассматривал турецкое кораблестроение и арсенал. И то и другое в удивительном порядке», — писал офицер Краснокутский, посетивший Стамбул в восьмьсот восьмом году.

Следовало отдать должное и личному составу. Сенявин вовсе не считал турецких моряков трусами. Он с ними сражался и мог засвидетельствовать их упорство. К тому же Сенявин, конечно, знал случай, когда турецкие матросы (быть может, бывшие стамбульские каикчи) доказали свою храбрость... под русским знаменем.

«Князь Потемкин, — писал мемуарист, — при взятии Очакова взял также в плен целую флотилию, стоявшую по причине льдов в заливе... Сии турки отправлены были в Петербург. Екатерина II за недостатком людей послала их на гребной флот действовать против шведов в качестве матросов. По окончании сражения, в котором и они действовали с довольною храбростью, увидели они, что всем нижним чинам выданы были медали, а им вместо того только по серебряному рублю. Они были крайне недовольны этим и просили, чтобы и им даны были знаки отличия. Екатерина прислала им челенги, или серебряные перья, с надписью. «За храбрость» для ношения на чалмах, потому что они и в нашей службе одеты были по-турецки».

Создавая новый флот, Кючюк Хусейн создавал и новые флотские экипажи. Внешне матросы были прежними: небольшая чалма; короткая, подпоясанная кушаком куртка; шаровары по колено и башмаки на босу ногу. Но, так сказать, внутренне они несколько переменились. Выучкой еще не сравнились с русскими или английскими, однако уж не смахивали на «плавучую толпу».



## Г Л А В А П Я Т А Я

### 1

**Щеголь**, тогда еще неплеши-  
вый, в последний раз мелькнул перед нами в одном узеньком мундирчике, хотя на дворе стояла январская стужа: щегольнул на крещенском параде.

После Прейсиш-Эйлау, этой, по энергичному определению Наполеона, «резне», Александр наградил Беннигсена орденом Андрея Первозванного, которого удостоивался редкий из верноподданных, но зато еще в колыбели удостоивался каждый молокосос из царствующей фамилии.

Посылая награду, царь послал и письмо: когда ему, Александру, полезнее для блага России прибыть в действующую армию? Беннигсен, надо полагать, не заблуждался в оценке полководческих талантов сюзерена (генерал, прости господи, заблуждался в оценке собственного таланта); однако он ничуть не ошибался в характере императора, а потому и отвечал: государь, армия вас ждет. Ответ доставил Александру «чувствительное удовольствие».

Слух о предстоящем «подвиге» выпорхнул из Зимнего. Многие помнили вояж Александра в Аустерлиц. «Всеобщее обожание» истаяло. И когда некоего флигель-адъютанта, вестника близящегося отъезда государя, спросили, хорошо ли идут дела, тот отозвался двусмысленно:

— Отвечу, как путешественник, возвратившийся из Рима: в Риме столько хороших дел, что не осталось хорошего дела.

Царь пустил вперед гвардию, квартировавшую в Пе-

тербурге, потом две дивизии из Москвы и Калуги, а вслед отправился самолично.

В апреле 1807 года Александр прибыл к армии. Аустерлиц не прошел для него даром. Он объявил, что присутствие императора «не вводит ни в каком отношении ни малейшей перемены в образе начальства». (Вот кабы такой приказ да при Кутузове!) И царь занялся тем, в чем знал толк: выправкой, шагистикой, амуницией.

Наполеон предпочитал, чтобы его мирные условия записывались не на дипломатическом столе с зеленым сукном, а на «военном барабане». После февральской «резни», когда ядра, падавшие среди могильных крестов, едва не поставили крест на самом императоре, после Прейсиш-Эйлау Наполеон не очень-то, видать, надеялся на «военный барабан». Он готов был сесть, как теперь сказали бы, за «круглый стол»: «Я полагаю, что союз с Россией был бы чрезвычайно выгодным».

Наполеон искал мира, Александр ответил наступлением. И в ответ на такой ответ последовало июньское сражение у глубокой реки Алль, где стоял восточнопрусский город Фридланд.

Беннигсен, как говорится, совершил не преступление, а нечто худшее: он совершил грубый просчет — скучил войска в лощине, имея за спиною водный рубеж с обрывистым берегом и всего лишь четырьмя мостами, да и то три из них были понтонные.

Наполеон обрадовался:

— Не каждый день поймаете неприятеля на такой ошибке!

Сражение разразилось поутру, когда розовела река, шпиль и башенки Фридланда. А к вечеру Беннигсен был разжалован из «победителя непобедимого», в каковые он сам себя пожаловал после Прейсиш-Эйлау.

Денис Давыдов писал, что в ту эпоху «состав нашей армии был превосходный. Она почти вся состояла из широкоплечих усатых ветеранов века Екатерины, времен потемкинских и суворовских». Французский историк отметил «стойкость русских перед лицом смерти». Но, попирая смерть, не всегда попирают врага. Ветераны были суворовские, это правда. Увы, им не доставало Суворова.

В последующие дни русская армия уходила на правый берег Немана, туда, где песчаные отмели и заливные луга. Последней переправлялась горстка казаков. Их преследовали на рысях конные егеря и драгуны. Впереди

мчался пестрый всадник, его сабля горячо сверкала: то был Мюрат. Маршал уже взлетел на мост, когда казаки подождли переправу...

Реванш у реки Алль изменил умонастроение Наполеона. К тому же он убедился, что австрийцы не примут сторону русских. Да и англичане у Дарданелл показали явное нежелание сражаться. И все ж Наполеон не отказывался от «круглого стола». Но теперь за этим столом он желал видеть русского царя, а не какого-то генерала, хотя бы и с орденом Андрея Первозванного.

Там, где недавно полыхала переправа, посреди светлого Немана, французские саперы построили два плавучих павильона, похожих на купальни. Один большой, другой поменьше. На большем, со стороны, обращенной к правому берегу, началась зеленая литера А, а на той, что глядела в сторону левобережья, — литера N.

Близ плота торчали обгоревшие сваи уже не существующего моста, вода здесь морщилась, завиваясь воронками. И текла далее, как течет поныне, подмывая песчаные косогоры, текла, чтобы ниже городка Тильзита (теперешнего Советска) разделиться на несколько протоков.

Солнце уже стояло высоко, когда на дороге показались эскапажи и кавалькада. Вздыхая пыль, они ехали к селению, вернее к большой усадьбе с корчмою. На французской стороне Немана хорошо различались ряды войск. А тут, на луговой стороне, звякал удилами эскадрон кавалеристов, да еще у берега приткнулась барка с гребцами.

Коляски остановились, верховые спешили. Из переднего экипажа вышел Александр. На нем был парадный мундир Преображенского полка; свитские тоже были в парадном платье.

Император вошел в корчму, положил на стол шляпу с белым плюмажем, рядом бросил лосиные перчатки. Александр сел. Он казался спокойным. Лишь казался. Это и понятно: с минуты на минуту он встретится с императором французов. Будь это наследственный монарх, государь по крови, повелитель божьей милостью, будь это, так сказать, обыкновенная августейшая персона, Александр, конечно, испытывал бы другие чувства, чем те, которые обуревали его при имени «Наполеон».

Пушкин подчеркивал двойственность Александра Павловича: «к противочувствиям привычен». «Противочув-

ствия» царя на берегу Немана были непривычные. И оскорбление: Наполеон однажды публично назвал его отцеубийцей. И унижение: наследник Петра и Екатерины нынче в зависимости от «узурпатора и выскочки». И самолюбие, получившее два таких зубодробительных удара, как Аустерлиц и Фридланд. И что-то похожее на мистический трепет пред цезарем, который поверг к своим стопам гербы почти всей феодальной Европы.

Но клубились не только эмоции — внятно говорил разум: необходима передышка. Было сознание множества просчетов, толкнувших к роковому неманскому рубежу. И еще была тяжесть «шапки Мономаха»: ему, Александру, отвечать за все, решать все. Ему, Александру, и никому другому, ибо теперь уж нельзя, невозможно свалить вину ни на Кутузова, ни на Беннигсена, ни на Чарторижского, ни тем паче на какого-нибудь Убри...

— Ваше величество, едет! — раздалось в горнице.

— Едет... едет, — заволновались свитские.

Александр встал, надел шляпу, натянул перчатки и пошел к выходу, храня наружную невозмутимость (мельком, про себя радуясь, что хранит ее), твердо выставляя ноги в коротких блестящих ботфортах и тугих белых панталонах.

На другом берегу Немана катился восторженный гул: старая гвардия приветствовала своего полубога. Наполеон скакал махом, увлекая, как комета, яркий хвост всадников.

Теперь слово Денису Давыдову, очевидно:

«Но вот обе императорские барки, отчалив от берега, поплыли. В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза устремились и обратились на противоположный берег реки к барке, несущей этого чудесного человека, невиданного и неслыханного со времен Александра Великого и Юлия Цезаря, коих он так много превосходил разнообразием дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных. Я глядел на него в подзорную трубу, хотя расстояние до противного берега было невелико, и хотя оно сверх того уменьшалось по мере приближения барки к павильону. Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту, особо и безмолвно...

Обе барки почти одновременно причалили к павильону, однако барка Наполеона немного опередила, так что ему достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее,

пройти скорым шагом сквозь павильон и принять императора нашего при самом сходе его с барки; тогда они рядом вошли в павильон. Сколько помнится, все особы обеих свит не входили в малый павильон, а остались на плоту, знакомясь и разговаривая между собою».

Свидания, начатые на воде, продолжились на суше: Наполеон пригласил Александра в Тильзит. Пошли парады и обеды, верховые и пешие прогулки, обмен орденами и гостями, вся та помпезная, мишурная, но все ж полная какого-то пьянящего аромата жизнь, за которой скрывалась другая — серьезная, напряженная, сложная жизнь «высоких договаривающихся сторон».

Главным была не «раскройка» европейской территории, не Пруссия и не позолоченная пилуля в виде Белостокской области, преподнесенной императором французам своему новоявленному «брату». Главным было заключение союза, присоединение России к континентальной блокаде, то есть к системе полной изоляции, полного удушья Англии.

Во все дни необычного рандеву императоры влюбленно глядели друг на друга. Наполеон был мастером оболъщений, и Александр казался оболъщенным. Александр умел чаровать, и Наполеон казался очарованным.

Царедворцы, говаривал Вольтер, скрывают истину, историки ее обнаруживают. Тильзитскую истину обнаружили и современники. Правда, не те, что были ослеплены сиянием двух «солнц», а те, что находились от «солнц» подальше. Аустерлиц и Фридланд они восприняли как поражения; Тильзит — как пятно.

Тогдашний лейб-гвардейский офицер Денис Давыдов позднее вспоминал: «Общество французам нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, но даже знакомств ни с одним из них, невзирая на их старания, вследствие тайного приказа Наполеона, привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью. За приветливость и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью — и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».

Тильзит был поворотом крутым и резким. Поворотом, чудилось, внезапным. Присоединиться к континентальной блокаде значило подписать смертный приговор русско-английской торговле, позарез необходимой российским помещикам и купцам. Это, конечно, било по карману,

по бюджету, по мощи. Но, кроме «экономической обиды», в реакции современников на Тильзит была еще и обида национальная...

Июльским днем Александр переезжал Неман. Наполеон, стоя на берегу, дружелюбно делал ручкой. Передавали, что царь будто бы шепнул вконец униженному прусскому королю: «Потерпите, мы свое воротим». Передавали, что царь заверял близких: «По крайней мере я выиграю время».

И это было так, если даже это и не так было.

Подобные прозрения — «воротим», «выиграем время» — являются позже, когда уж и впрямь «воротили» и «выиграли». Такие «перескоки» памяти естественны, хотя б потому, что очень часты. Уже после двенадцатого года, после заграничного похода, после низложения Наполеона, после всего этого не какие-нибудь блюдолизы, а люди искренние совершенно искренне изумлялись «мудрой предусмотрительности нашего монарха, приготовившей спасение Европы». Так кажется, так видится, так думается после того, как история уже произнесла свое последнее слово.

В Тильзите летом 1807-го Александр Павлович ни о каком возмездии, ни о каком одолении Наполеона и не помышлял. Он помышлял лишь о том, чтобы пожар не перекинулся на правый берег Немана и далее, далее. И тогда, в Тильзите, речь даже шепотом не шла, что мы, мол, «свое воротим». Речь шла о том, чтобы отдавать. Отдавать и жертвовать.

Одной из первых жертв был Сенявин, его флот, его люди. Их груди, их подвиги.

2

Вдруг поймал себя на том, что мое изложение — как пара часов, идущих вразнобой. Одни спешат, другие отстают. Да что прикажете делать, если пишу о человеке, находившемся волею судьбы в сложной игре исторических сил?

Может, следовало разбить страницы пополам? Левый столбец — события на севере, в главных квартирах и столицах. А правый столбец — события на юге, в русском флоте, в ставке Сенявина, на линейном корабле «Твердый». И тогда бы возникла синхронность.

Но, право, даже согласись на такое издатели, читатель

то спешил бы левой стороной, оставляя правую, то перебежал бы на правую, забывая левую. А на долю автора и в этом случае достались бы одни синяки и шишки.

Заранее смирившись, он просит вернуться в Эгейское море, к Дарданеллам. Вернуться в мартовские дни 1807 года. Еще не было ни погрома у реки Алль, ни отхода за Неман, ни павильона на плоту, ни свидания двух императоров.

Сенявин продолжал блокаду Дарданелл.

Сенявин продолжал манить вражеский флот из проливов.

Ни в марте, ни в апреле турецкие корабли не показывались.

Легко обвинить турецкое командование в трусости. Но почему бы не «обвинить» в осмотрительности? В самом деле. Если важнее всего было сохранить Константинополь, то после ухода англичан русский адмирал не мог решиться на фатальный бросок под огонь дарданельских батарей. Однако русские располагали не только сенявинской эскадрой, но и Черноморским флотом. Резонно было бы ожидать удара по Константинополю с востока, со стороны Босфора, из Черного моря.

А такая идея занимала петербургских стратегов. Здравый смысл водил рукой адмирала Чичагова, когда он составлял инструкцию для маркиза де Траверсе, главного командира Черноморского флота: переход Севастополя — Босфор, высадка двадцатитысячного десанта.

Бумага, адресованная Траверсе, была отправлена почти в те же дни, что и бумага, адресованная Сенявину. Но из Корфу на бумагу ответили действиями, а с черноморских берегов — бумагой.

Не будем вешать всех собак на маркиза. Часть собак повесим на министра. Чичагов находился в Петербурге, в парах политической кухни, и ему, ей-богу, хорошо было бы подумать о черноморцах хотя бы в середине восьмисот шестого.

А теперь, в восьмисот седьмом, когда гром-то грянул, Траверсе оставалось или креститься, или отрекаться. Он отрекся: то, се, пятое, десятое. Нельзя сказать, что маркиз был кругом не прав. На флотских он надеялся, а вот армейцы, необходимые для десанта... Армейских офицеров доставало, а солдат слишком «доставало» — необученных и необстрелянных.

Сенявин уже был на пути к Дарданеллам, а маркизов

фельдъегерь с кожаной сумкой на груди был уже на пути к Петербургу. Сенявин уламывал Дукворта, а Чичагов, ссылаясь на Траверсе, доказывал царю невозможность босфорской экспедиции. И получилось, что Дмитрий Николаевич лишился поддержки как союзников, так и соотечественников.

Турки, надо полагать, ждали, каково обернется с «восточной угрозой» Стамбулу: выступит ли Черноморский флот? Он и выступил. Да только не в сторону Босфора, а в сторону Кавказа: в апреле у турок отняли Анапу. И само по себе отправление черноморцев в «другую сторону», и, очевидно, агентурные сообщения убедили турецкое командование в отсутствии серьезной угрозы столице Османской империи из Черного моря.

Но была еще одна угроза иного свойства. Она гнездилась в самой столице. «Чернь» все туже затягивала кушаки и все чаще поддегивала шаровары. У «черни» и раньше урчало в брюхе, а тут еще сенявинская блокада пресекала подвоз продовольствия. Армия, надежда Селима III, ушла на север, где щетинились штыки генерала Михельсона. Феодалы и духовенство, давно озлобленные преобразованиями, подбивали ямаков (солдат вспомогательных частей) и готовили дворцовый переворот.

Не потому ли султан все настойчивее помышлял о сражении с Сенявиным? Победа была необходима и для престижа, и для разрешения кризиса. Не настаиваю на полноте объяснения, однако предполагаю, что и подобные соображения являлись «тени аллаха на земле».

А Сенявин не только не терял надежды на столкновение с неприятелем, но верил в близость этого столкновения.

В середине мая 1807 года в петербургских кружках и гостиных ходили по рукам письма, присланные с сенявинской эскадры. В уже не раз цитированном дневнике С. П. Жихарева записано:

«Свиньин сказывал, что получил письмо от брата своего, Павла, находящегося при адмирале Сенявине, наполненное любопытными подробностями о наших морях. В этом письме, между прочим, Павел Свиньин намекает, что скоро, может быть, мы услышим о сражении нашего флота с турецким, которое, кажется, должно произойти неминуемо и произошло бы уже, если бы английский адмирал Дукворт захотел оказать нам какое-либо содействие; но бездействие и нерешительность англичан непо-



стижимы». И в другом месте, со ссылкой на подчиненного Сенявина, инженерного полковника: «Манфреды пишет жене: «По-видимому, мы накануне сражения. Я надеюсь, что его исход принесет счастье и славу нашему флоту».

Эти записи сделаны в Петербурге, когда уж отгремел бой, известный истории под именем Дарданельского.

Во вторник, 7 мая 1807 года, Сенявин получил долгожданное известие: турецкая эскадра как будто бы вытягивается из пролива! Ну что ж, труби, труба? Нет, золотые львы на турецких форштевнях, кажись, дремали и не готовились к прыжку\*.

Восемь линейных кораблей, шесть фрегатов, четыре шлюпа и четыре брига да полсотни мелких судов под командой капудан-паши Сеида-Али словно не смели оторваться от дарданельских надежных и грозных батарей.

Затем турки, как устыдившись, зашевелились, но движение было робким, с оглядкой на пролив; его зеркало, казалось, гипнотизировало турецких капитанов.

10 мая потянул зюйд-вест, ветер, «дующий в наши паруса». И турки немедленно снялись с якорей: отступить! отступить! Но и Сенявин тотчас выбрал якорные канаты: наступать! наступать! И повелел сигналом с флагманского «Твердого»: «Нести все возможные паруса».

«Стремительная атака наша была ужасна», — говорит Захар Панафидин, сенявинский мичман, впоследствии известный кругосветный мореплаватель.

Неприятель бежал. Да так беспорядочно, что спутал бы планы преследователей, когда бы каждый из командиров не действовал, выражаясь флотским термином, «по способности», то есть несколько не заботясь о строе, руководствуясь собственной сметкой, по своей, не скованной флагоманом, инициативе.

Бой (или серия боев) длился пять часов. В пылу его

---

\* Обыкновение украшать форштевни кораблей было тогда почти повсеместным. Оно возникло еще в Древнем Египте. У греков и римлян скульптурные «акростоли» (наконечники) почитались священными, как флаг. Особенную пышность корабельная скульптура обрела в средние века.

Русские тоже не забывали украшать свои суда, в былинах есть о том упоминания: «Нос, корма — по-туриному, бока выведены по-звериному». Во времена Сенявина основными мотивами для «оснащения» корабельного ростра были античные воины, Нептун с трезубцем, дельфины и наяды.

В прошлом веке корабельной скульптурой занимались такие мастера, как Клодт, Пименов, Микешин.

русские ворвались в Дарданеллы и попали под огонь береговых батарей, как и сами турецкие моряки, ибо наступила темнота и береговая артиллерия лупила сполошно, не разбирая своих и чужих. Едва ли не около полуночи сенявинцы выбрались из пролива.

Сражение протекало в сложном для навигации, тесном районе: близость берегов, обилие отмелей, предвечерний туман, потом тьма. Оно развернулось на водах, известных туркам, естественно, лучше, чем русским. Но Сенявин загодя ознакомился с акваторией и ознакомил с нею подчиненных. А в ходе боя высылал «впередсмотрящих» — легкие суда. Потому-то никто из сенявинцев не угодил на мели и не приткнулся к берегу.

Это была победа. Но это не был разгром. Дмитрий Николаевич не чувствовал удовлетворения, а лишь несколько утолил чувство, которое Пушкин определял как «свирепый жар героев».

Адмирал воздал должное отваге матросов и офицеров. Но он достаточно высоко ценил их, чтобы довольствоваться исходом дела. Его призыв не почивать на лаврах основывался вот на чем.

В азартной сумятице боя как-то позабылся наказ Дмитрия Николаевича: срезать огнем мачты и паруса, тем самым «обезноживая» противника. Вместо того, пишет прямодушный Панафидин, «наши люди, желая более сделать вреда, стреляют в корпус корабля, но эта стрельба невыгодна; неприятель, желающий уйти и имея целый рангоут, всегда успеет в этом». А турки очень и очень желали уйти.

Запальчивость столь обуяла командиров (даже многоопытного контр-адмирала Грейга), изголодавшихся по настоящей баталии, что они бросались то на одного, то на другого турецкого капитана, не завершая погибели каждого... И еще Сенявин попрекнул экипажи за чрезмерный, по его мнению, расход боезапаса: подчас «на авось» палили, сердился Дмитрий Николаевич.

Зато Сеид-Али прикинулся вполне удовлетворенным. Поражение изобразил он отражением. А причины чудовищной убыли в живой силе, причины убыли в корабельном составе капудан-паша «исследовал» на свой манер. Можно было бы сказать — на азиатский, когда бы столь же основательно нельзя было бы сказать — на европейский. Так вот, старший свалил вину на младшего. Это было в высшей степени несправедливо. Но старший еще и

заклеймил младшего изменником. Это было в высшей степени ужасно.

Младшего флагамена звали Шеремет-бей. Вряд ли кто-либо другой из адмиралов турецкого флота обладал большими способностями, большими знаниями, чем Шеремет-бей. (Правда, Сеид-Али занимал больший пост, да ведь сие подчас зависит от способностей и знаний иного сорта.) Обрекая Шеремет-бея смерти, Сеид-Али наносил еще одно поражение своему флоту. Но это ничуть не трогает «патриотов», подобных Сеиду-Али: лишь бы убрать соперника.

При дворе султана не верили в измену Шеремет-бея. Возможно, Селим избавил бы его от удушения, если бы сам избавился от низложения.

На исходе мая сенявинские моряки, продолжая глухую, как бастион, редкостную в морской истории блокаду, услышали пушечный гул, возвестивший свержение Селима III.

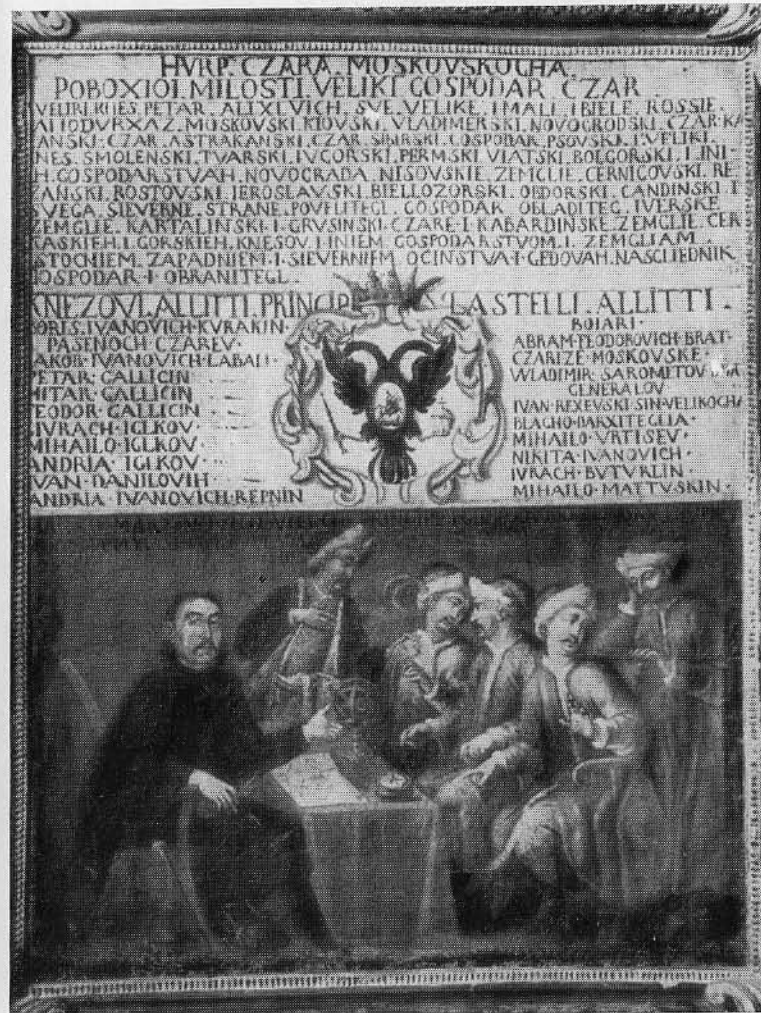
Водарился Мустафа IV. Ненавистник реформ, тушица и невежда, он не мог, как говорят сами турки, «отличить драгоценный камень от булыжника». Новоиспеченный султан рассудил так:

— Капудан-паша — мусульманин, человек благочестивый, аллаха боится, неправды не скажет, напраслины ни на кого не возведет.

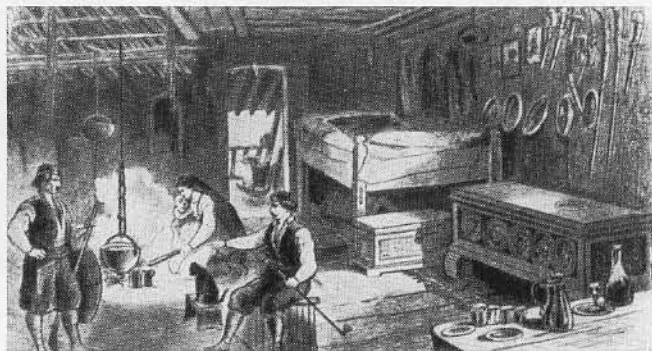
И Шеремет-бея казнили на глазах всего флота. А благочестивый Сеид-Али остался капудан-пашой, великим начальником, спасителем столицы и прочая и прочая...

В майские дни, после Дарданельского боя и накануне падения несчастного Селима, к Сенявину прибыли чиновники русской дипломатической службы. Они прибыли из Триеста, заглянув по пути на Корфу, где недолго совещались с Моцениго и «оставили след» в рукописном журнале генерала Вяземского: «Оные отправлены с чрезвычайной миссией к вице-адмиралу Сенявину, которая еще весьма в секрете».

Секретную миссию возглавлял статский советник Поццо ди Борго. Земляк и в ранней юности друг Наполеона, он во многом и много уступал Наполеону, однако превосходил последнего мстительностью, вскормленной вековой вендеттой. Ни Бонапарт, ни Поццо ди Борго родственников друг у друга не резали, но словно бы объявили обоюдную «кровную месть». Отечество для Поццо ди Борго было там, где поднимали оружие против императора, которого Поццо ди Борго никогда императором не призна-

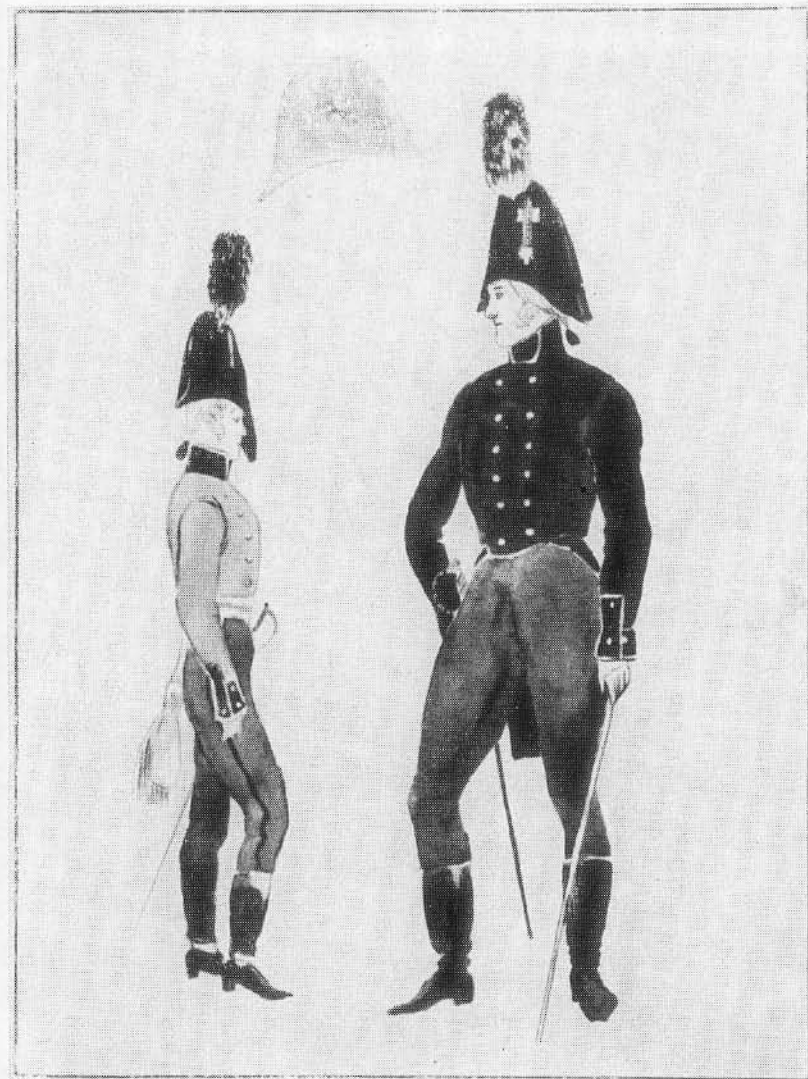


Марко Мартинович и его русские ученики, обучавшиеся навигации. Начало XVIII века.

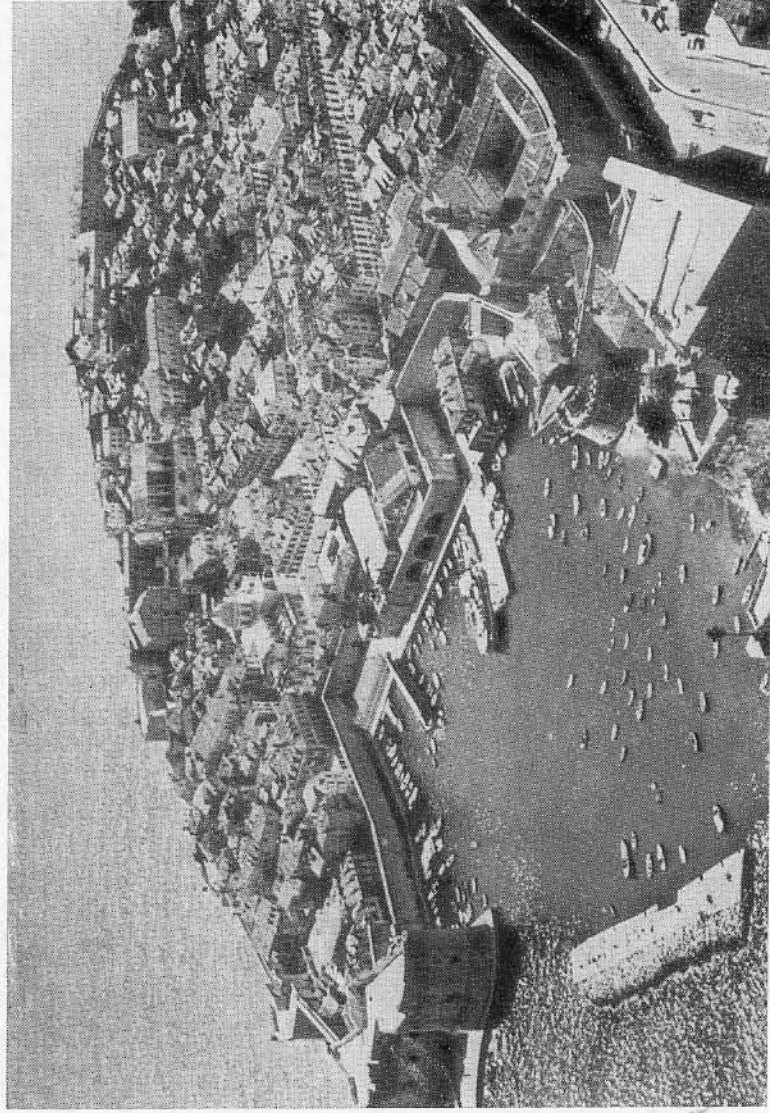


В доме черногорца.

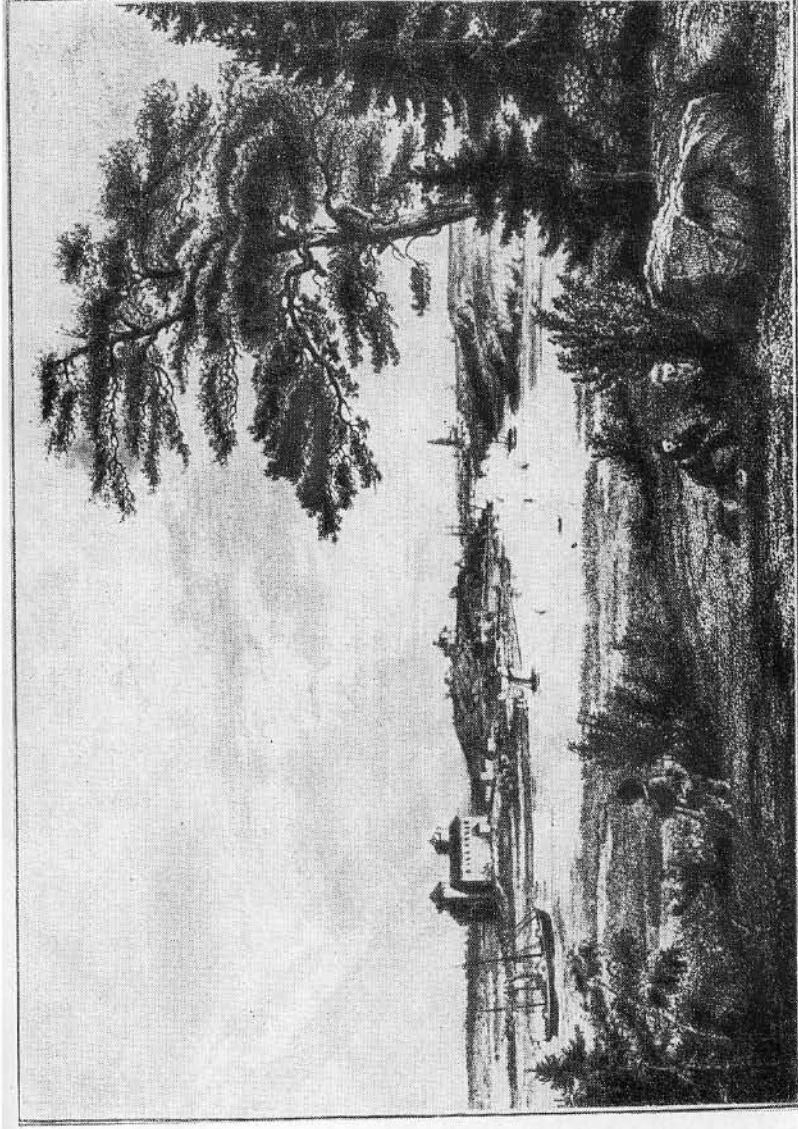
Цетинский монастырь (Черногорье). Начало XIX века.



Обер-офицеры егерских полков русской армии. Начало XIX века.



Дубровник. Современная фотография.



Тильзит. С гравюры начала XIX века.

Адмирал Горацио  
Нельсон.



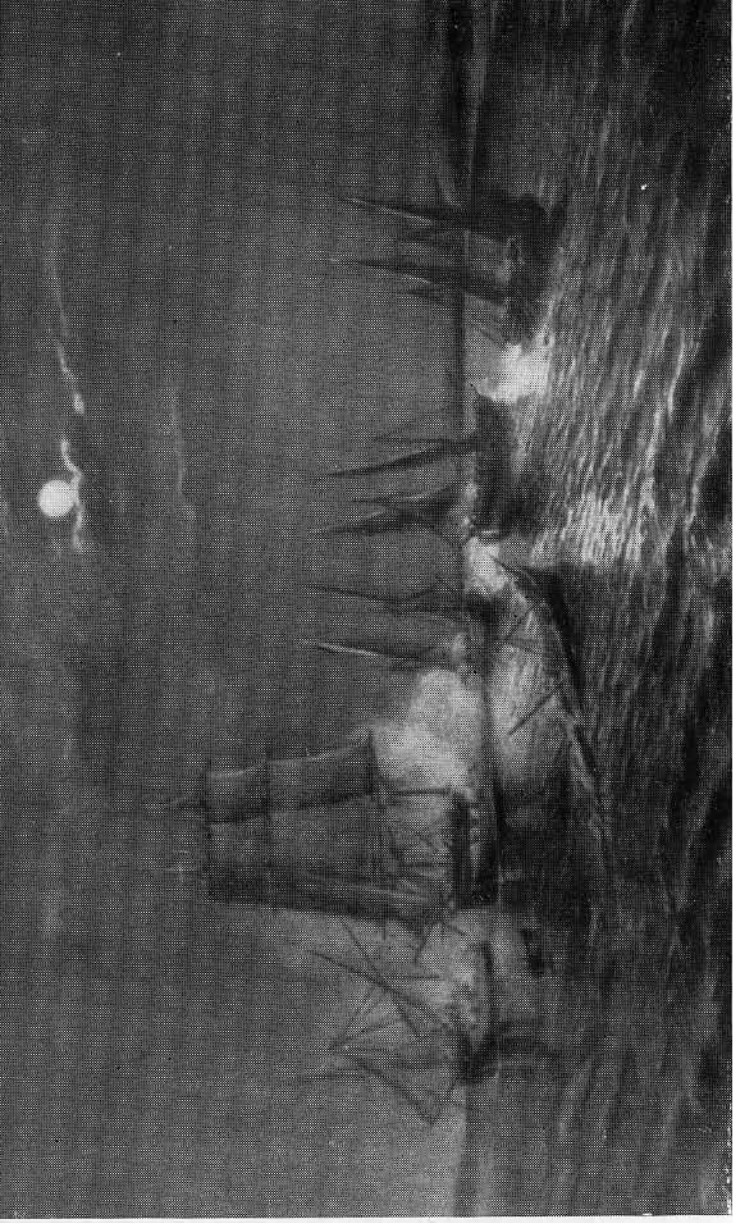
Командир брига  
«Александр» И. С.  
Скаловский. С аква-  
рели 30-х годов  
XIX века. Из фондов  
Центрального воен-  
но-морского музея.  
(Ленинград).



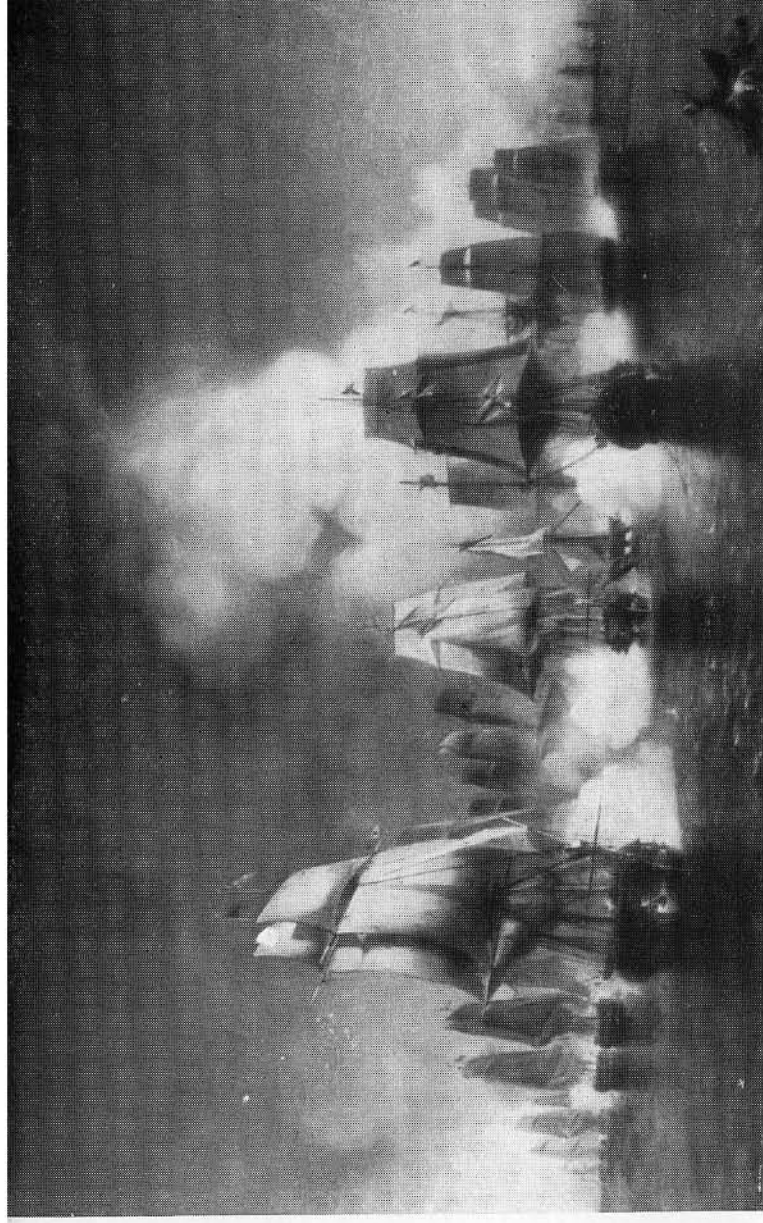
Адмирал Кутберт  
Коллингвуд.



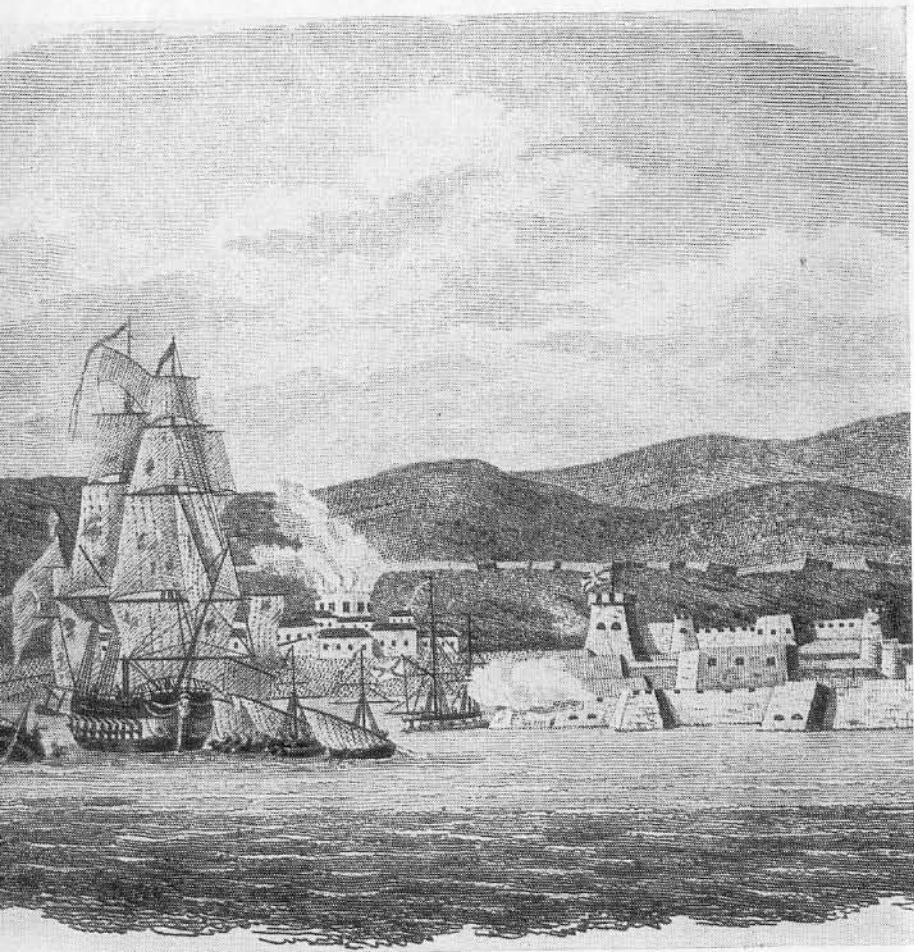
Адмирал А. С. Грейг.  
С гравюры XIX века.



Бой брига «Александр» с французскими канонерскими лодками у острова Браццо, 1806 год. С картины неизвестного художника. Из Центрального военно-морского музея (Ленинград).



Апонское сражение 1807 года. Художник А. Боголюбов. Из фондов Центрального военно-морского музея (Ленинград).



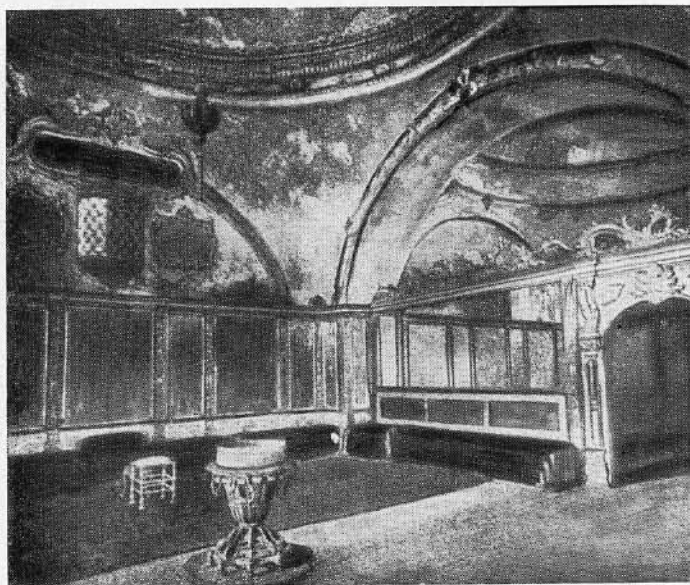
Остров Тенедос.

Стамбульский лодочник.  
С рисунка К. Брюллова.

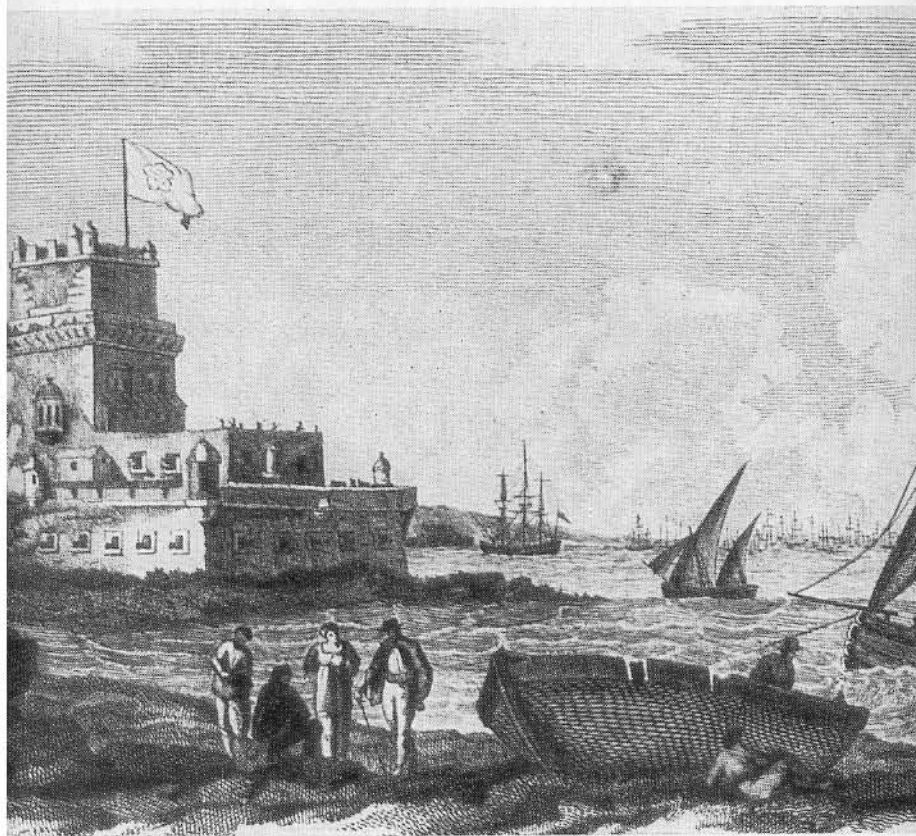


Турецкий воин.

Султан Селим III.



Зал заседаний турецкого правительства (дивана).



Устье реки Тежо (Португалия).

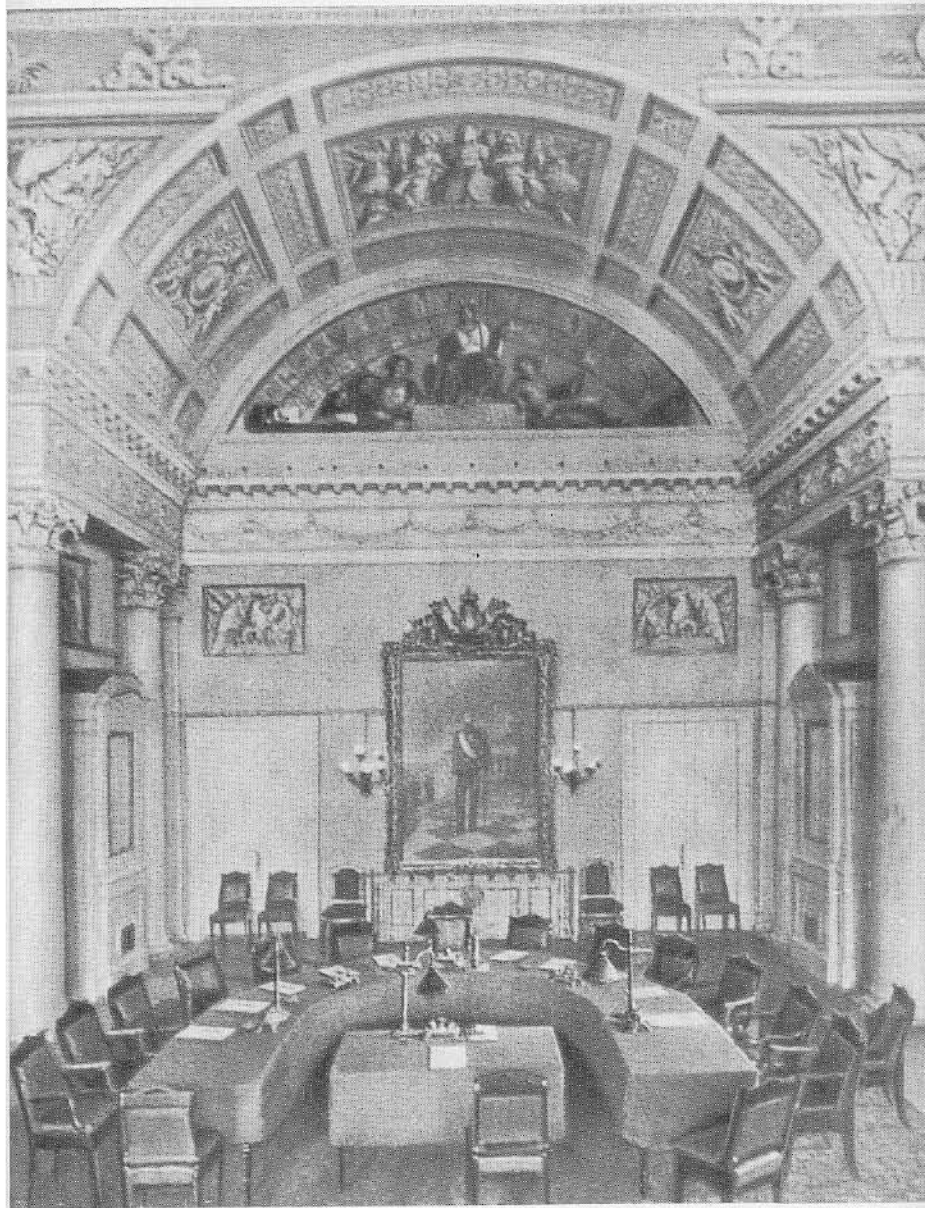




Наполеон в 1808 году.

Подпись Наполеона на его послании  
Д. Н. Сенявину.

*à Bayonne le 10 mai 1808*  
*Napoleon*



Зал заседаний в Адмиралтействе.



Дмитрий Николаевич Сенявин.

вал. Он был с теми, кто дрался с Наполеоном, хотя сам никогда с ним не дрался. На русской дипломатической службе Поццо ди Борго находился лишь четыре года, но уже отличился как дипломат, заставлявший «интригу служить принципам» (и наоборот); ему вверялись важные поручения, чрезвычайные миссии. Следует, наконец, признать, что он всегда был умен и никогда не был ба-нальным льстецом.

На одном фрегате с ним приехал Константин Булгаков, сын бывшего посла в Турции, доброго знакомого Дмитрия Николаевича. Сенявин помнил малыша, а теперь увидел двадцатипятилетнего молодца. Булгаков с отрочества числился «по отцовской линии» — в Коллегии иностранных дел. Переводчиком служил он в Московском архиве, потом канцеляристом в Вене, а засим, как указывает формуляр, «послан по особому поручению во флот вице-адмирала Сенявина»\*.

Константин Булгаков о встрече с Сенявиным сообщил в Палермо брату Александру, а тот отписал батюшке, что Костя, мол, «хвалится ласками Сенявина, который отдал ему свою каюту, дабы в оной удобно работать».

А в дневнике Константина Булгакова сказано: «Поццо ди Борго сообщил немедленно адмиралу Сенявину предмет своего поручения и тотчас же стал заботиться о способах установить какие-либо сношения с капудан-пашой. Сообщений не было никаких, и последнее сражение еще более увеличило недоверие турок»\*\*.

Секрет миссии Поццо ди Борго и Булгакова рассекретился. Миссия несла оливковую ветвь. Императору Александру хотелось поскорее отделаться от турок. Война с ними как бы путалась у него в ногах. Вместе с тем Петербург сознавал, что Турция час от часу теряет силы. Отчего бы не предложить замирение? На каких условиях? А на самых сходных — довоенные отношения, и ничего более.

Турция действительно трещала, как гибнущий корабль. Однако сераль все еще завораживало звездное сияние Наполеона. Диван скрепя сердце предпочитал терпеть беды от русского оружия, от михельсоновской угрозы и се-

\* Там же отмечено участие К. Я. Булгакова в боевых действиях сенявинской эскадры и награждение его орденом св. Владимира за «особые труды в бытность при флоте» (ЦГАЛИ, ф. 79, оп. I, д. 55).

\*\* ОР ГБЛ, ф. 129, № 9, 4, л. 15 (об.).

нявинской блокады, нежели отказаться от «французской любви». При таком умонастроении диван принимал миссию Поццо ди Борго как свидетельство слабости русских.

Туркам нужно было оттянуть время. Не только ради упорядочения внутреннего положения, но и для того, чтобы вылечить эскадру, избитую у Дарданелл. (Несмотря на отличное адмиралтейство, работы взяли месяц; Сенявину, располагавшему слабыми ремонтными средствами на Тенедосе, понадобились для исправлений лишь два-три дня.)

И вот турки затеяли с Сенявиным и Поццо ди Борго ту возню, какая совсем недавно, при Дукворте и Эрбетноте, принесла им успех.

Уже на следующий день после беседы с Поццо ди Борго и Булгаковым Дмитрий Николаевич отправил Сеиду-Али письмо:

«Господин адмирал, имею честь довести до сведения вашего превосходительства, что прибыл уполномоченный, которому поручено сделать Высокой Порте дружественные предложения от имени его величества, моего августейшего государя. Так как необходимо сообщить его превосходительству рейс-эфенди (министру иностранных дел. — Ю. Д.) предмет этого поручения, я обращаюсь к вашему превосходительству с тем, чтобы условиться с вами об отправлении в Константинополь с полной безопасностью парламентаря, который повезет с собою сообщения, сделанные моим правительством Высокой Порте в надежде восстановить согласие между двумя империями.

Я уверен, что ваше превосходительство сделает со своей стороны все, что только может способствовать столь желанному сближению, и я прошу вас уведомить меня в возможной скорости о ваших намерениях.

Судну, с которым препровождается это письмо, приказано встать на якорь и в продолжение двух суток ждать ответа вашего превосходительства. Я должен также уверить вас, что с лицом, которое вы для этой цели вышлете, равно как и с экипажем, который будет его сопровождать, будет поступлено со всевозможным почтением».

Судя по отклику — через шесть дней! — капудан-паша успел получить еще одно письмо вице-адмирала Сенявина, а тогда уж нехотя взялся за ответ.

«Достопочтенный, всемилостивейший командир русского флота Дмитрий Сенявин, кланяюсь вам и спраши-

ваю о состоянии вашего здоровья, — вежливо начинал Сеид-Али. И продолжал: — Первое ваше почтенное письмо мною получено. Я нашел нужным препроводить его к моему священному правительству и просил у него ответа. После этого я послучил ваше второе письмо, и я уяснил его содержание. Я не премину сообщить вам ответ, который я ожидаю по этому случаю от моего правительства»\*.

Сенявин смекнул: вот так же турки хороводились и с Дуквортом. У Сенявина не было ни малейшего желания угодить в столь же дурацкое положение. Но у Сенявина, как и у Дукворта, сидел на шее дипломат. Однако Сенявин в отличие от Дукворта не хотел дожидаться конца дипломатической дуэли, а хотел дать дипломатам «последний довод» — пушечный.

Сенявин очинил перо: да будет циркуляр командирам кораблей. Флотоводец так наставлял офицеров, словно завтра бой: «атаковать с той стороны, на которую есть ему возможность убежать»; «сражаться до вершения победы и не отделяться никуда без особого приказания»; «есть ли другой корабль будет иметь случай вам помочь, то посторониться ему можете, но не выходя отнюдь из длины картечного выстрела».

Автор монографии о Сенявине, разобрав боевую документацию вице-адмирала, датированную маем — июнем 1807 года, подчеркивает, что она знаменует «шаг вперед в развитии передового русского военно-морского искусства, намечая такие новые, ранее не применявшиеся тактические приемы боя в море, как атака каждого флагманского корабля противника парой своих кораблей с одного борта и атака в составе пяти взаимодействующих друг с другом тактических групп»\*\*.

Изготавливаясь к решительному сражению, продумывая будущую «партию» с Сеидом-Али, Дмитрий Николаевич все же пытался расчистить путь для переговоров Поццо ди Борго с диваном.

А Сеид-Али по-прежнему вилял лисьим хвостом, прикрывая листом бумаги волчью пасть. Сеид-Али отлично знал, что его правительство получает новые заверения от французского посла в поддержке, а его флот получает новые корабли.

\* ОР ГБЛ, ф. 129, № 9, 4, лл. 47 (об.), 48, 48 (об.).

\*\* А. Л. Шапиро, Адмирал Д. Н. Сенявин. М., 1958.

Тем временем переписка продолжалась.

Сенявин — Сеиду-Али 27 мая 1807 года:

«Благодарю ваше превосходительство за ответ на мое письмо и за поклон, который вы мне прислали. Кланяюсь и вам с тою же искренностью. Офицеру императорского флота Скандракову, который будет иметь честь вручить вам это письмо, поручено, если будет дозволено, отправиться в Константинополь с письмом от моего двора к его светлости великому визирю и его превосходительству рейс-эфенди. Препоручаю его вниманию вашего превосходительства. Я ждал правительственного ответа, на который ваше превосходительство дали мне право надеяться. Сожалею, что до сих пор я не получил его».

Сеид-Али — Сенявину 29 мая 1807 года:

«Достопочтенный русский адмирал всего русского флота, Дмитрий Сенявин. С должным почтением спрашиваю о состоянии вашего здоровья. Согласно вашему желанию, я послал в Константинополь ваше прежнее, адресованное ко мне письмо, и я обещал доставить вам ответ, который я ожидал по этому поводу.

Сегодня получил чрез посредство присланного вами ко мне офицера письма, которые вы желали, чтобы этот офицер сам отвез в Константинополь, но, так как наш прежний султан скончался и так как вступил на престол султан Мустафа, я полагаю, что новый государь слишком занят и было бы некстати отправлять теперь к нему вашего офицера» \*.

Орудийный гул из столицы Османской империи возвестил низложение Селима. Письмо Сеида-Али, писанное, как и прежние, на лоценой бумаге, «весьма мудреными» буквами, слагающимися в «прекрасный рисунок», — письмо это возвестило о воцарении Мустафы. Явилась надежда, что с переменой «тени аллаха на земле» переменится курс внешней политики Турции.

Эта надежда опрокинулась вверх килем: в Дарданеллах сосредоточивался турецкий флот, а на матером берегу, близ Тенедоса, — войска. Нет, султан Мустафа и вправду не умел отличить «драгоценный камень от булыжника».

\* ОР ГБЛ, ф. 129, № 9, 4, лл. 48 (об.), 49.

К цифрам давно прилип эпитет — «красноречивые». Но цифры речисты, если вы вдумчивы.

Из разных источников — разные сведения. Историк О. Щербачев насчитал у Сеида-Али девять линейных кораблей, пять фрегатов, три корвета, два брига. Историк А. Шаппро — десять линейных кораблей, шесть фрегатов, два корвета, два брига и «другие легкие суда». Составители «Боевой летописи русского флота» — десять линейных кораблей, пять фрегатов, два брига, три шлюпа. А. Джеведет, султанский историограф середины минувшего века, отметил, что русские располагали четырьмя кораблями больше, чем его соотечественники.

Не совпадает и орудийный баланс. Броневский, современник и участник похода, указывает, что Сенявин имел 754 пушки, а Сеид-Али — 1200; Щербачев говорит: у Сенявина было 728, а у Сеида-Али — 1138; в «Боевой летописи» — лишь сенявинская артиллерия: 740 стволов; Джеведет промолчал; Шаппро высказался осторожно: «На кораблях эскадры Сеида-Али было, во всяком случае, в полтора раза больше пушек, чем на эскадре Сенявина».

Как ни считай, Сеид-Али вышел с кулаками тяжелее сенявинских. Султан и визири понукали Сеида-Али: разгори гяуров, разгори неверных, спаси Стамбул. Капудан-паша поклялся привезти в сераль голову «достопочтенного адмирала», здоровье которого еще столь недавно его очень заботило. Поклялся, помолился и вывел свой флот из пролива в Эгейское море. Флот, численно превосходящий сенявинский.

Кто не признает могущества арифметики? Но ведь даже алгеброй рискованно поверять гармонию. А уж дисгармонию боевых столкновений и подавно. Боренье двух волей (вернее, множества волей со множеством) таит случайности.

Сражения под парусами подвержены еще и случайностям ветров. Моряк парусного флота думал о ветре день-ночью. Ветер был условием его существования, как и та среда, где возникают ветровые потоки.

Есть пословицы: «за ветром в поле не уgonишься»; «на ветер надеяться — без помолу быть». Пословицы — для «землян». На море надо не только угнаться, но и

гнать к ветру. Надо его выиграть, поймать, чтоб «помол» был.

В десятый июньский день 1807 года дул ветер, лишающий «помола». «Сивер», — сказал бы архангелогородец. «Столбище», — молвил бы тот, кто с Онеги. «Северяк», — отозвался бы ильменский рыболов. «Северик», — поддакнул бы псковитянин. Но сенявинцы, где кто ни родился, говорили: «Нордовый».

Вначале дули нордовые ветры, и Сенявин не мог оторваться от Тенедоса. Это было досадно, потому что неподалеку от Тенедоса находился Сеид-Али со своими флагманами, со своими кораблями.

«Обстоятельства обязывают нас дать решительное сражение, — объявлял в приказе Сенявин, — но, куда флагманы неприятельские не будут разбиты сильно, до тех пор ожидать должно сражения весьма упорного, по сему сделать нападение следующим образом: по числу неприятельских адмиралов, чтобы каждого атаковать двумя нашими, назначаются корабли: «Рафаил» с «Сильным», «Селафаил» с «Урилом» и «Мощный» с «Ярославом». По сигналу № 3 немедленно спускаться сим кораблям на флагманов неприятельских и атаковать их со всевозможной решительностью, как можно ближе, отнюдь не боясь, чтобы неприятель пожелал зажечь себя.

Происшедшее сражение 10 мая показало, чем ближе к нему, тем менее от него вреда, следовательно, если бы кому случилось и свалиться на бордаж, то и тогда можно ожидать вящего успеха. Пришед на картечный выстрел, начинать стрелять. Если неприятель под парусами, то бить по мачтам, если же на якоре, то по корпусу. Нападать двум с одной стороны, но не с обоих бортов; если случится дать место другому кораблю, то ни в коем случае не отходить далее картечного выстрела. С кем начато сражение, с тем и кончать или потоплением, или покорением неприятельского корабля.

Как по множеству непредвиденных случаев невозможно сделать на каждый положительных наставлений, я не распространяю оных более; надеюсь, что каждый сын отечества потщится выполнить долг свой славным образом».

Встреча прилась на среду, 19 июня 1807 года.

Светало чисто. Был час, когда море между островом Лемносом и Афонским полуостровом кажется просторнее, нежели днем или к вечеру.

Эскадра Сенявина сближалась с эскадрой Сеида-Али.

В семь часов сорок пять минут на линейном корабле «Твердый» вице-адмирал Сенявин поднял сигнал: «Атаковать неприятельских флагманов вплотную».

А потом уж счет пошел такой:

8 час. 30 мин. Русская эскадра сблизилась с турецкой для атаки авангарда и центра.

9 час. 10 мин. Маневр охвата головы турецкой эскадры. Линейный корабль «Твердый», преградив путь турецкому головному кораблю, поражает его продольным огнем, вынуждая лечь в дрейф.

10 час. — 11 час. Передовые турецкие корабли спустились под ветер. Сигнал Сенявина: «Спуститься на неприятеля».

11 час. — 12 час. Линейный корабль «Твердый» вступает в бой с турецким арьергардом, идущим на помощь своему центру. Турецкие корабли в беспорядке отходят к полуострову Афон.

13 час. 30 мин. Штиль. Русская эскадра прекращает огонь.

15 час. 00 мин. С переменной ветра турецкие корабли начинают отход к островам Тасос и Николинда и к Дарданеллам. Эскадра Сенявина преследует противника.

Такова хроника сражения 19 июня 1807 года. Оно получило имя Афонского. В тот июньский день афонские монастыри услышали клекот мира, которому недоставало времени врачевать, но хватало, чтобы убивать; недоставало времени смеяться, но хватало, чтобы плакать; недоставало времени любить, но хватало, чтобы ненавидеть; недоставало времени шивать, а хватало, чтобы раздирать; недоставало времени жить, а хватало, чтобы умирать...

Накануне Афонского сражения русских моряков «мучил страх». Да-да, страх мучил, говорит очевидец. И прибавляет: они боялись, что «турки уйдут». И потому адмирал так расположил курсы своей эскадры, чтобы перекрестить Дарданеллы и навязать генеральный бой.

Турки повели огонь с большой дистанции. Они не хватились дальноточностью артиллерии: то был признак вялости духа. Русские, не отвечая, приближались «с великим терпением». Они не показывали, что у них артиллерия хуже: то был признак бодрости духа — драться вблизи!

В атаку на турецких флагманов головным шел «Ра-

фаил», линейный корабль капитана 1-го ранга Лукина\*. Еще несколько часов, и Дмитрий Александрович будет убит ядром в грудь, но сейчас широкая грудь «русского Геркулеса», как бы рывками забирая воздух, полна восторга и нетерпения:

Что ж медлит ужас боевой?  
Что ж битва первая еще не закипела?..

И этот восторг, эта, по слову Пушкина, «славы страсть», «жажда гибели» и жажда победы, возникающие в момент наивысшего напряжения, владели офицерами и матросами. Такими, как лейтенант Куборский; он управлял парусами на «Скором» и скончался в судовом госпитале от тяжкого ранения. Такими, как лейтенант Денисьевский; он командовал полулежа, «чувствуя чрезвычайную боль от висевшей на одной жиле ноге». Такими, как боцман Афанасьев, изувеченный на реях и спущенный с мачты на тросе, потому что совсем обессилел. Такими, как старый служака Соломин, который досадливо «отмахнулся» от пули: просто-напросто вылуцил ее своим матросским ножом.

О красоте и смысле мужества давно и много размышляли многие. Но высказаться проникновенно и просто удалось немногим. К последним принадлежал, например, Репин:

«В душе русского человека есть черта особого, скрытого героизма. Это — внутрилежащая, глубокая страсть души, съедающая человека, его житейскую личность до самозабвения. Такого подвига никто не оценит: он лежит под спудом личности, он невидим. Но это — величайшая сила жизни, она двигает горами; она делает великие

\* О том, как Д. А. Лукин, прозванный русским Геркулесом, одним пальцем вгонял в дубовую обшивку корабельный гвоздь-нагель, как одной рукой поднимал за шиворот «пару матроз», а двумя руками — пушку, как он вместо визитной карточки оставлял приятелю завязанную узлом... кочергу, и о прочем в том же духе сохранилось немало заметок современников.

Декабрист Михаил Бестужев лично не знал Лукина, но в своих мемуарах писал, в частности, следующее: «Помню, с каким жадным любопытством и мы, юная мелкота, пили занимательные рассказы о Лукине. Брат вспоминал о нем, как о близком и хорошем знакомом нашим родителям; вспоминал, как он своим простым, дышащим непритворною откровенностью моряка, обращением, даром своего слова, по наружности безыскусственного, но, в сущности, разумного, логически выработанного, умел привлекать все сердца».

завоевания; это она в Мессине удивляла итальянцев; она руководила Бородинским сражением; она пошла за Мининым; она сожгла Смоленск и Москву; она же наполнила сердце престарелого Кутузова. Везде она: скромная, неказистая, до конфуза перед собою извне, потому что она внутри полна величайшего героизма, непреклонной воли и решимости. Она сливается всецело со своей идеей, «не страшится умереть». Вот где ее величайшая сила: она не боится смерти.

Да, «везде она». И на сенявинской эскадре, ведущей бой, тоже была эта «величайшая сила».

Ну, а что же сам-то Дмитрий Николаевич, вице-адмирал Российского флота и кавалер не столь уж и многих российских орденов?

Пушкин говорил: «На битву взором вдохновенным вожди спокойные глядят». И еще: «Он оком опытным героям взирает на волненья боя».

Вдохновение... Спокойствие... Опыт... Сенявин познал боевое вдохновение смолоду. Годы и мили дали ему опыт. Со спокойствием было сложнее.

Лермонтовский Максим Максимыч утверждал, что можно приучить себя скрывать под пулями невольное биение сердца. Флотоводцу следовало скрывать невольное биение сердца, когда ядра и картечь проламывали бреши не только в строю, но и в его замыслах. Надо было хранить холодность мысли, когда незримые весы едва ли не зримо клонились «не в ту сторону», когда вдруг словно бы начинала «темнеть слава знамен», когда под раскаленным металлом могла дрогнуть брэнная плоть человеческой массы.

Сенявин точно бы дирижировал сигналами. Он и в разгар сражения, гудевшего как таежный пожар, ничего и никого не упускал из поля зрения.

Всматриваясь в Сенявина на юте и шканцах линейного корабля «Твердый», видишь адмирала, который не только ни на миг не теряет инициативы, но и каждый миг перехватывает инициативу противника.

Ушаков оставил ему наследство: маневр и еще раз маневр. И никогда прежде Сенявин не маневрировал так свободно и блистательно, как в Афонском сражении. Но вот в чем новаторство: он маневрировал тактическими группами! И вот в чем высокое искусство: в слаженности движения этих групп. А ведь движение-то осуществлялось под огнем (под огнем исправляли и по-

вреждения), осуществлялось не послушным двигателем, а непослушным ветром.

Будучи численно слабее Сеида-Али, Сенявин достиг численного перевеса в «узловых пунктах» — там, где находились вражеские флагманы. Никто до Сенявина в эскадренных сражениях не умел добиться столь мощного удара именно на главном направлении удара. То была не просто тактическая грамотность, но своеобразливая стилистика боя. И она не принимала чужой правки, как не принимает ее шедевр.

Сенявин и руководил всем делом, и участвовал в нем непосредственно. Когда два турецких линейных корабля и фрегат пытались защитить свой авангард, сенявинский «Твердый» напал на них и остановил, а потом стал крушить и теснить головные корабли. Когда «Рафаил» Лукина — он дрался в середине неприятельской линии — стал терпеть страшный урон, Сенявин его выручил, а потом, стреляя левым бортом, отбил еще три корабля. И так было в продолжение всего сражения.

Сотни орудий, рассказывает очевидец, «изрыгали смерть и гром, колебавшие не только воздух, но и самые бездны морские». Как всякий матрос и офицер эскадры, вице-адмирал несколько часов кряду был на волос от гибели. «При самом конце сражения, — пишет тот же очевидец, — в трех шагах от него поражен был двумя ударами вестовой, державший его зрительную трубу. Картечь оторвала ему руку, когда подавал он трубу адмиралу. И в ту же минуту ядро разорвало его пополам и убило еще двух матросов».

Дым сражения застил немало подвигов. Но храбрость Сенявина была замечена и была отмечена. О ней говорилось и много-много позже. Тут сказались, если позволите, извечное желание олицетворить общий, артельный подвиг. Как в былинах, как в легендах. А причину неполного изничтожения турецкого флота сослуживцы Сенявина (когда уж не были его сослуживцами и никак от него не зависели) усматривали в малости собственного мужества.

Один из черноморцев нахимовского поколения слышал такие «самообвинения» и писал, что, по свидетельству сенявинцев, некоторые из них не выказали достаточной храбрости. Это не так. Полный разгром Сеида-Али не последовал по иной причине, не потому, что у Рожнова, командира «Селафаила», или еще у кого-то не хватило решимости. Но здесь примечательны чувства тех, кто

взваливал «вину» на себя: «Мы виноваты, мы, а Дмитрий-то Николаевича не замай».

Нет, уровень мужества не падал ни до Афона, ни после, ни в ходе сражения. И даже в тот квелый час, когда битва улеглась, покорная затишью ветра.

«Сколь ни горестно было для нас такое положение, — писал Свиньин, — но адмирал воспользовался сим временем и приказал сделать нужные починки на эскадре в важных повреждениях, которые необходимо требовали «Твердый», «Скорый», «Рафаил» и «Мощный», дабы быть готовыми при первой возможности с новыми силами опять напасть на неприятеля».

Уже сами эти «важные повреждения» доказывали, что турецкие моряки явили традиционное упорство. «Должно отдать справедливость, — свидетельствует Броневский, — что в сем сражении турки дрались с отчаянным мужеством, на корабле Сеида-Али раненых и убитых было до 500 человек, на прочих кораблях не менее сего числа; почему судить можно, сколь великую потерю имел неприятель в людях, и весьма вероятно, что она превосходила потерю французов в Трафальгарском сражении».

Турецкие моряки иногда предпочитали взрывать корабль, нежели сдавать их.

«Здесь представилось, — рассказывает тот же Свиньин, — ужасное и вместе великолепное зрелище — взорвание трех кораблей. Прежде всего огонь обнял фрегат; сначала стали палить попеременно раскалявшиеся пушки, которые заряжены были ядрами; потом, подобно извержению огнедышащей горы, взлетел остов на воздух с страшным треском посреди густого дыму. Потрясение, произведенное взорванием, было подобно землетрясению; самое море закружилось и закипело. Таким образом и другой корабль и фрегат кончили свое поприще. На другой день турки взорвали еще один линейный корабль и фрегат, кои были так разбиты нами, что не могли быть починены и следовать за флотом, стремившимся укрыться в Дарданеллах».

Если Сеид-Али не смел сетовать на подчиненных, то и они не отказали ему в личном мужестве. Труса он не праздновал. В давнишнем бою с Ушаковым Сеид-Али контузило; в нынешнем бою с Сенявиным капудан-паша потерял руку.

И числом кораблей, и артиллерией турки превосходили русскую эскадру. Беда их была в шаткой дисциплине,

в плохой довоенной практике, а главное — в боязни командиров поступать «по способности».

Вот почему штилевая пауза по-разному отзывалась на противниках. Едва ветер засвежел, Сенявин востроился. Турки ж, потеряв весь свой пыл, поддались желанию бежать.

Убегая, бросили на волю волн и преследователей линейный корабль «Седель-Бахри», что значит — «Оплот моря». А этот «Оплот» не ладил с морем: он едва держался на плаву. Фрегаты не сняли с него команду. Они истаяли в ночи, скользнув в Дарданеллы.

За линейным кораблем «Седель-Бахри» шел линейный корабль «Селафаил». Судя по флагу, на турецком корабле находился адмирал, и капитану 1-го ранга Рожнову хотелось пленить сподвижника Сеида-Али.

Уже давно стемнело. Уже горели звезды и светила луна, и море было как серебро с чернью. Поэт Вяземский видел летнюю ночь над турецкими водами: «И молчит она, и поет она, и душе одной ночи песнь слышна». Но в ту ночь никто не услышал песни, а все услышали вопль:

— Аман! Аман!

Турки просили пощады.

Когда корабль врага, кренясь на борт, задирая нос или оседая кормой, погружается в море, он сраженный гладiator. И победитель испытывает свирепый восторг, но вместе и внезапную печаль. Ибо корабль — любой корабль — чудится моряку существом живым и прекрасным. Когда враг спускает флаг, победитель тоже ликует, но в этом восторге уже есть и великодушие.

На «Седель-Бахри» морякам «Селафаила» досталась бесценная «добыча». Она не измерялась никакой призовой наградой. Даже Бекир-бей, вскоре вручивший свой адмиральский флаг Сенявину, ничего не стоил в сравнении с такой «добычей»: на «Седель-Бахри» русские нашли... русских.

«Бедные люди сии, — пишет Свиньин, — почти нагие прикованы были тяжелыми цепями к пушкам и принуждены палить в соотчичей и братьев своих. Янычары с обнаженными саблями наблюдали за их действиями. Достоинно примечания, что при сем страшном огне ни одно русское ядро их не тронуло».

Одиннадцать несчастных, прикованных к пушкам, были не кто иные, как моряки корвета «Флора», погибшего

у албанских берегов. Они извели каторгу в стамбульском «мертвом доме», где царил надсмотрщик Махмет. Но куда большими извергами были те, кто приковал их к пушкам, жерла которых обращались на «соотчичей и братьев»\*.

Захватом «Седель-Бахри», в сущности, и закончилось Афонское, победное для Сенявина сражение. Треть вражеских линейных кораблей и половина фрегатов перестали существовать. Сотнями убитых, утонувших, увечных оплатил Сеид-Али свое бесславление.

На всех сенявинских кораблях жертв было меньше, чем на одном «Седель-Бахри». Русские похоронили семьдесят семь сотоварищей; около двухсот приняли судовые госпитали. Триста сенявинских матросов удостоились «Знака отличия военного ордена», учрежденного в год Афонского сражения для «нижних чинов» и унтеров (с 1913 года этот знак получил название «Георгиевского креста»).

Сенявину пожаловали орден Александра Невского.

Девиз ордена гласил: «За Труды и Отечество». Надпись эта «мне особенно нравится», — признавался в частном письме Дмитрий Николаевич. И далее говорил: «Но еще более утешает мое сердце, если вправду нахожусь в хорошем мнении у добрых моих соотечественников. Вот, друг! Истинная-то награда паче всех украшений и сокровищ, и теперь не сожалею, что в горе и трудах провел я три года в разлуке с моим семейством».

4

Но в бочку меда плюхнулась ложка дегтя. Министр Чичагов, человек умный и достойный уважения, но победами не обремененный, признавая важность Афона, укорял Сенявина за то, что он не повторил Чесмы — не из-

\* Остальные моряки «Флоры» еще долго томились в каторжной тюрьме. Приятно отметить, что те самые турки, которых Сенявин после капитуляции гарнизона отпустил с острова Тенедос и которые обещали хоть как-то отблагодарить русского адмирала, ухитрились навещать заключенных моряков. «Они приходили к нам в тюрьму, — говорит один из пленных, — рассказывали, как хорошо обходились с ними русские, и изъявляли сожаление, что диван не так поступает с нами».

Моряков «Флоры» отпустили после окончания русско-турецкой войны. Из Константинополя в Одессу их доставило триестское торговое судно.



ничтожил османский флот до последнего корабля. Раздавались голоса: не надо было уходить к Тенедосу, а надо было добывать Сеида-Али.

С этим как будто бы согласен и историк А. Шапиро: русский командующий позволил противнику «сохранить значительную часть своего флота». Однако чуть выше автор интересной монографии о Сенявине замечает: «...Самая срочная помощь гарнизону была совершенно необходима».

Речь идет о единственной опорной базе Сенявина в Эгейском море — об острове Тенедос. Там остался полковник Падейский. Остался Федор Федорович с очень незначительными силами и терпел жестокие испытания. Некоторое представление о них дает послужной список полковника: «8 мая в отсутствие флота нашего отразил турецкий десант, покушавшийся на остров. 15 июня, также в отсутствие нашей эскадры, был атакован в крепости со стороны моря всем турецким флотом, а на берегу — неприятельскими силами. Не позволяя взять верх, 16 июня с небольшим количеством рот удерживал 7-тысячный турецкий десант. По 28 июня, будучи осаждаем в оной (крепости. — Ю. Д.) превосходным количеством неприятеля, не подал ни малейшего средства к приступу, хотя неважная сия крепость была в крайнем положении»\*.

Сенявин об этом знал. Что ж ему было делать? Добывать капудан-пашу или выручать своих армейцев? А может, черт побери, «разорваться пополам»?

В отходе к Тенедосу (после того, как Сеида-Али загнали в Дарданеллы) Броневский усматривает небрежение Сенявина к собственной славе: Дмитрий Николаевич предпочел спасти «братьев своих».

Автор цитированной выше монографии не только не согласен с мнением Броневского, но еще и тянет в союзники дипломата Поццо ди Борго, который будто бы резко порицал вице-адмирала «за отказ от преследования вражеской эскадры». Но вот что писал сам Поццо ди Борго русскому посланнику в Лондоне: «Необходимость спасти Тенедосскую крепость, подверженную нападению 6000 войска (Падейский указал на тысячу больше. — Ю. Д.), снабженного пушками большого калибра и мортирами, и в которой не только наш гарнизон, но и все

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 59 (об.). Армейцев поддерживал лишь «Богоявленск»: «С брига сделано столько выстрелов, что даже палуба под пушечными колесами протерлась».

греческое население острова искало защиты и подвергалось возможности быть перебитым, эта необходимость заставляла адмирала Сенявина возвратиться, чтобы предупредить такое несчастье»\*.

И Дмитрий Николаевич «предупредил несчастье», хотя, надо полагать, сознавал, что ему достанется на орехи от сторонников «повторной Чесмы», не предполагая, однако, что ему достанется и от историков.

В официальном документе сказано: «28 июня, по прибытии нашей эскадры, турки согласились на предложенную от господина вице-адмирала и кавалера капитуляцию и принуждены были оставить остров»\*\*.

Если османский флот и не был разгромлен, то он был сломлен. Афонский гром далеко раскатился. Англичане услышали его очень скоро. И тотчас заторопились в Эгейское море. В этой поспешности так и сквозит традиционная манера британской внешней политики: чужие руки вытащили каштаны из огня — торопись к трапезе. Самое время было очутиться на месте происшествия. На том самом, откуда столь недавно и столь скоропалительно они удалились (вспомните Дукворта!).

Тут следует оттенить одно обстоятельство, характерное для Сенявина: Дмитрий Николаевич не поддался учтивостям английских адмиралов. Впервые в истории англичане салютовали иностранцу без предварительных условий о числе выстрелов. И впервые предложили иностранцу общее командование соединенными эскадрами. Никому подобной чести англичане не оказывали ни до, ни после Сенявина. И если салют последовал от контр-адмирала Мартина, моряка не слишком-то прославленного, то предложение общего командования последовало от вице-адмирала Коллингвуда, моряка действительно выдающегося и знаменитого.

Но Сенявин не захмелел. Он будто прищурился: «Это недаром... Верно, англичане хотят нас обмануть...» Дмитрий Николаевич заподозрил намерение союзников сговориться с турками. И не ошибся.

Вот его предписание Грейгу, данное на борту «Твердого», близ острова Тенедоса, где уже покачивались британские линейные корабли и фрегаты; предписание за номером 776:

\* ОР ГБЛ, ф. 129, № 4, лл. 82 (об.), 83.

\*\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 59 (об.).

«Командир английского корабля «Кент» г. капитан Роджерс, прибыв сюда, уведомил меня при первом свидании, что он прислан ко мне из числа некоторого отделения английских кораблей, состоящих под начальством контр-адмирала Мартина, назначенного сюда для содействия со мною против общего неприятеля нашего.

На третий день он, г. Роджерс, испросил моего согласия, чтобы отправиться ему с одним бригам к острову Имбро и потом занять пост между оным и европейским берегом, обещав притом уведомлять меня по всем случаям, заслуживающим внимания моего.

Ныне дошло до сведения моего, что г. Роджерс имел с турками сношение, а сегодня я узнал, что турки учредили с ними сигнал для переговоров.

Уведомления же от него по предмету сему не имею я никакого. Рассуждая, что такое поведение английского капитана может быть предосудительно пользе службы всеавгустейшего государя нашего, предлагаю вашему превосходительству отправиться немедленно с кораблями «Ретвизан», «Селафаил», «Сильный» и шлюпом «Шницберген» к месту его пребывания, и при первом сношении с ним дайте ему выразить, что молчаливость, наблюдаемая им против меня относительно сношений его с турками, тем более меня удивляет, что она совсем несообразна с тою откровенностью, которая существовать должна между тесными союзниками, а равномерно и с собственными выражениями его на свидании со мною.

Можете приметить капитану Роджерсу, что я имею неоспоримое право требовать полного сведения в рассуждении сообщения его с турками, что потому желательно, чтобы при всяком свидании их находился один из офицеров наших, и, наконец, объявить ему, что мы, с нашей стороны, готовы оказывать ему полное доверие во всем том, что между нами и турками происходить будет.

Буде бы капитан Роджерс не показал бы вам нисколько склонности к удовлетворению справедливого нашего требования, в таком случае, ваше превосходительство, имеете объявить ему о данном вам приказании не пропускать в Дарданеллы никакого судна, под каким бы флагом ни было, без особого на то от меня позволения, и в случае слушания со стороны капитана Роджерса предписываю вам употребить силу против силы. Впрочем, при всяком случае, имеете, ваше превосходительство,

обходиться с ним сколько можно вежливее и снисходительнее».

Секретное предписание № 776 относится к числу тех документов, в которых ясно отражается военно-дипломатическое дарование Дмитрия Николаевича: проницательность и осмотрительность.

Не знаю, что отвечал шотландец господин Роджерс шотландцу господину Грейгу, но к Сенявину он поспешил с оправданиями. Сенявин их принял. И тотчас велел Грейгу: «иметь бдительный надзор за всеми подвигами капитана Роджерса и мне исправно доносить».

А вице-адмирал Коллингвуд, этот, по определению Нельсона, «любезнейший и превосходнейший человек», участник и герой Трафальгара, искренне желал союза с вице-адмиралом Сенявиным.

Броневский рассказывает: «После взаимных посещений и приветствий, Коллингвуд письмом просил помощь двух кораблей, дабы посмотреть, нельзя ли напасть на турецкий флот в самых Дарданеллах. Сенявин немедленно отвечал, что он охотно готов содействовать ему всеми силами, и 1 августа обе эскадры снялись, лавировали вместе и стали на якорь у острова Имбро... Соревнование на обоих флотах было столь велико и уверенность на мужество и решительность обоих адмиралов столь неограниченна, что не было сомнения в успехе всякого предприятия».

Сомневался, быть может, лишь один: сам Дмитрий Николаевич Сенявин. Он чувствовал перемену обстоятельств, как настоящий моряк загодя чувствует перемену погоды.

Смутные известия омрачали Сенявина. Одно известие касалось какого-то сражения на севере, чрезвычайно тяжелого и пагубного для русского войска. Другое — от австрийского посла в Константинополе — глухо упоминало о каком-то свидании Александра с Наполеоном.

Если неотчетливая (даже без указания географического пункта) весть о Фридрихланде могла вызвать в душе Дмитрия Николаевича, как говорится, отрицательные эмоции, то весть о свидании императоров (без указания на Тильзит) не могла не обратить его мысленный взор к острову Корфу, к Далмации и Черногории.

Нетрудно догадаться, о чем он догадывался. Сенявин не забыл, как Убри подписал в Париже пресловутую конвенцию. Правда, летом прошлого года Александр не

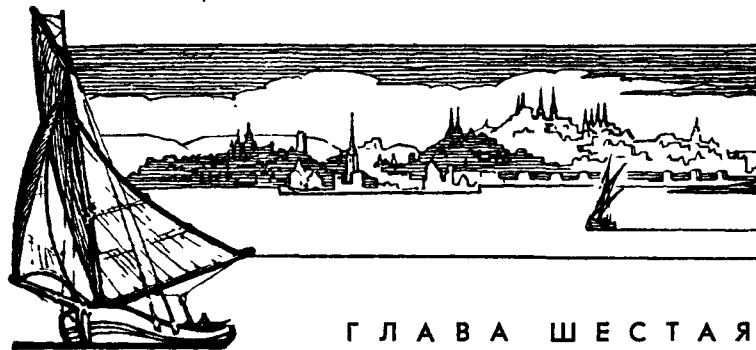
утвердил конвенцию, но Дмитрию Николаевичу не была тайной готовность царя сдать позиции в Адриатике и на Балканах, как не была тайной и готовность императора отделиться от бранного спора с Турцией.

Однако подобные соображения, хотя и донельзя огорчительные, оставались пока лишь предположениями. И русский вице-адмирал в сердечном согласии с английским вице-адмиралом готовился к желанному прорыву в Дарданеллы.

Карауля выгодный ветер, эскадры лавировали у пролива. Павел Свинын наблюдал лавировку и, сам того не зная, пылко опровергал... Наполеона. Последний, напоминая, утверждал, что руководство армией требует вдохновения, требует гения, а руководство флотом — лишь ремесленных навыков. Свинын утверждал обратное: «Управлять флотом гораздо важнее, величественнее, чем армию, ибо здесь повелеваешь в одно время не только людьми, но бесчувственными громадами, грозными стихиями. Мне кажется, плавание флота, раздирающего хребет моря, должно поразить душу более, сильнее, чем всякое движение стройного войска».

Сенявин дожидался перемены ветра в Эгейском море. Но уже переменился совсем иной ветер — генеральной европейской политики.

Дмитрий Николаевич узнал об этом в понедельник 12 августа 1807 года, когда на корвете «Херсон» явился к нему барон Шеппинг.



## Г Л А В А Ш Е С Т А Я

### 1

Недосуг листать камер-фурьерские журналы, выясняя, виделись ли в тот августовский понедельник император Александр и генерал Савари, как виделись адмирал Сенявин и барон Шеппинг. Довольно, пожалуй, и того, что летом восемьсот седьмого года русский царь и личный представитель императора французов встречались часто.

Рене Савари раньше служил директором бюро тайной полиции; теперь он имел чин дивизионного генерала. И раньше, и теперь, и всегда Рене Савари обладал чутьем прирожденного сыщика. Посылая дивизионного генерала в Петербург, Талейран и напутствовал его, как напутствуют соглядатаев: «Старайтесь, мало расспрашивая, много узнать».

Любовь двух императоров не обещала быть вечной. Не потому, что она началась слишком пылко, а это, как известно, чревато недалеким охлаждением. Нет, по той причине, что франко-русская связь при тогдашней ситуации неизбежно подрывала англо-русскую связь. А без нее ни дворянство русское, ни купечество русское жить не могли, не умели, не хотели. И пока грубые рычаги экономики не сокрушили хрупкую любовь политиков, Наполеону надо было все выжать из союза и успеть «сорвать банк» — тот, что в Лондоне, на Тред-Нидл-стрит.

Послетильзитская погода в России серьезно занимала Наполеона. Он боялся расстояния и боялся времени — как бы не развеялось его влияние на Александра. Особенности духовной организации русского царя Наполеон

принимал во внимание не меньше, чем, скажем, особенности организации русских вооруженных сил.

«Есть в нем что-то такое, что я затрудняюсь определить, — недоумевал Наполеон, непривычный к недоумениям. — Это что-то неуловимое, и я могу объяснить его, лишь сказав, что во всем и всегда ему чего-то не хватает. И самое замечательное то, что никогда нельзя предвидеть, чего ему будет не хватать в каждом данном случае, при каком-нибудь определенном обстоятельстве. Ибо то, что ему не хватает, меняется до бесконечности».

Вот эта переменчивость и волновала отнюдь не нежный ум императора французов. И посему соглядатай Рене Савари пристально надзирал за Александром.

Столичный шлагбаум Савари миновал июльским днем 1807 года и уже вечером вручил Александру письмо Наполеона. Царь прочел и сказал, внимательно взглянув на генерала:

— В Тильзите он дал мне доказательства своей привязанности, о которых я никогда не забуду. Я очень тронут уверениями в дружбе, полученными мною от него сегодня, и очень благодарен ему за то, что именно вас избрал для вручения их мне... Не слышали ли вы, кого император хочет избрать ко мне посланником? \*

Савари: Нет, государь. Многие добиваются этой чести, но император еще ничего не говорил об этом. Он наметил лицо, которое могло бы понравиться вашему величеству и которое было бы убежденным сторонником великого тильзитского события.

Царь: Отлично, я с удовольствием приму всякого, кто явится от него и будет говорить, как он, то есть который всегда будет держаться его точки зрения, которой держусь и я. Слышите? Которой держусь и я!

В последующие недели расточались подобные же любезности, хотя от времени до времени Александр затевал беседы о предметах вполне определенных.

Он принимал француза и в Зимнем дворце, и на Каменном острове, в летней резиденции. Савари на любезности отвечал любезностями, а предметы вполне определенные облакал в неопределенный полусвет, похожий на здешние сумерки. Но однажды он не скрыл своего неудовольствия «обществом».

\* Савари приехал как доверенное лицо Наполеона: «У меня нет никаких полномочий. Мне предписано только употребить все усилия, чтобы быть приятным вашему величеству».

Царь: Как находите вы Петербург, генерал?

Савари: Удивительным, государь, даже и в Италии нет ничего подобного.

Царь: Как проводите вы время? Я знаю, что вы не веселитесь, ведь вы мало бываете в обществе?

Савари: Государь, должен сознаться вашему величеству, что если бы не ваша доброта и доброта великого князя, я не вышел бы из своей квартиры.

Еще на пути из Тильзита в Петербург Савари испытывал молчаливую и мрачную неприязнь русских. Он ехал словно по вражеской территории; на него косились исподлобья или отворачивались. Да и понятно: еще вчера со всех амвонов, со всех крыш и на всех перекрестках веждали, талдычили, напоминали, что Наполеон есть изверг рода человеческого, антихрист, чудовище, разбойник. Ну как же это вдруг ни с того ни с сего осклабиться и кланяться в пояс?

Рене Савари пренебрегал «косной массой». Другое дело — «бояре». В Санкт-Петербурге он попал как в карантин. Избегали, в сущности, не его персону, бойкотировали сущность Тильзита. Хотя и была так называемая «французская» партия, но «бояре» — и Савари это понимал — страдали при звуке «Тильзит».

Многие современники отмечали отчуждение «общества» от монарха после его свидания с Наполеоном на Немане. Недовольство росло весьма быстро. Шведский посол сообщил в Стокгольм: об Александре «говорят такие вещи, что страшно слушать». А мемуарист Вигель засвидетельствовал «чувство омерзения» к императору. Больно ударил «позор Тильзита» и в души тех, кто отнюдь не разделял казенного патриотизма. Особенно вступились юные сердца; Петр Чаадаев, услышав про Тильзит, не захотел присутствовать на благодарственном молебне.

Указывая на оппозицию, Савари говорил Александру, что надобно «мечом рассечь гучу». Он даже напрямик высказался в том смысле, что предвидит печальный момент, когда его величество заколеблется в «выборе между Англией и нами».

— Генерал, — ответил Александр, дружески беря Савари за руку, — генерал, мой выбор сделан, ничто не может его изменить.

Савари верил и... не верил. Уж очень он ощущал влияние Англии. Лорда Говера, британского посланника,

Александр обозначал кратко: «Большой лентяй». А между тем большой лентяй пользовался большим весом в большом свете.

И все ж ничто уж не могло удержать джинна, выхрившегося из тильзитской бутылки. На Немане Александр был вынужден ступить не только на плот с павильоном, но и на «наклонную доску». Сделав один шаг, он делает и другой, и третий.

В кабинетной, уединенной беседе с представителем Наполеона Александр Павлович, подчеркивая свое расположение к императору французов, говорил, что всем жертвует дружбе, «оставляя в стороне свои собственные интересы». И привел пример:

— Я до сих пор не имею сведений о моем флоте!

Он разумел, как говорит французский историк, «лучший флот России под командованием адмирала Сенявина».

## 2

«Покорность судьбе! Какое жалкое прибежище! Но только это мне и остается».

Так написал однажды Бетховен.

Так было впору воскликнуть Сенявину.

Из рук барона Шеппинга получил он царский рескрипт, и че приходило на ум даже то утешение, какое позже, в Бухаресте, оваяло Михаила Илларионовича Кутузова: «Но ежели за всем тем выгоднее будет разорвать все мною сделанное, в таком случае приму без роптания все, что касательно меня последовать может; несчастье частного человека с пользою общею ни в какой расчет не входит».

Если затеять речь о «несчастье частного человека» по имени Дмитрий Николаевич Сенявин, то сразу вспомнишь полководца, который

...На полпути был должен наконец  
Безмолвно уступить и лавровый венец,  
И власть, и замысел, обдуманый глубоко.

Да в том-то и беда, крупная и непоправимая, что «несчастье частного человека» по имени Дмитрий Николаевич Сенявин не диктовалось, по его мнению и убеждению, «пользою общей». Как и Денис Давыдов, он твер-

до знал: раз на руку Наполеону, стало, во вред России. И тоже провидел двенадцатый год «со своим штыком в крови по дуло, со своим ножом в крови по локоть».

А теперь у него жалкое прибежище: покорность судьбе.

Вот они на столе адмиральской каюты флагманского корабля, эти «отдельные и секретные» статьи Тильзитского соглашения: «Русские войска передадут французским войскам область, известную под названием Каттаро. Ионические острова перейдут в полную собственность и державное обладание императора Наполеона».

«Передадут»... «Державное обладание»... Слова? Нет, пролитая понапрасну кровь. Нет, «замысел, обдуманый глубоко» и скошенный на полпути... «Передадут»... «Державное обладание»... Слова? Нет, греки, теряющие свои надежды... Покорность судьбе? Да будь она проклята, такая судьбина! Ни один человек во всей Адриатике не может, не смеет винить его, Дмитрия Сенявина. И ему самому не в чем винить себя. Но все же... но все же жгучее сознание причастности к пагубному и жестокому. Он был беспомощен. В этой беспомощности была трагедия честного воителя.

Следовало немедленно отдать приказ по эскадре. Следовало немедленно известить экипажи — офицеров, унтер-офицеров, матросов. Следовало немедленно известить полковых и ротных командиров, егерей, мушкетеров, гренадеров, морских пехотинцев. Следовало немедленно огласить бесповоротное решение.

Он берет перо. Гусиное перо сейчас тяжелее абордажного багра. Сенявин пишет ложь, ибо выводит слово «счастие»: «Я имел счастье получить высочайший его императорского величества рескрипт...» Потом он пишет правду, хотя дорого бы дал, чтоб она была ложью: «...После акта перемирия, заключенного между армиею нашею и французскою, вослед имели открыться переговоры к восстановлению окончательного между обоими государствами мира; оные действительно воспоследовали, и мирный трактат обоюдными полномочными подписан в Тильзите прошедшего июня 25-го дня, о чем по командам сим извещается».

Все. Точка.

Можно перевести дух?

Да, можно. Но лишь для того, чтобы собраться с мыслями. Невзгоды испытывают стойкость натуры, как бу-

ря — остойчивость корабля. Слишком много забот, чтоб никнуть в скорбях. Слишком много опасностей, чтобы никла воля.

Истина проста — англичане не олухи: кто с Наполеоном, тот против них. А балтийским кораблям, ядру сенявинского флота, велено воротиться на Балтику. Значит, надо идти через Гибралтар, а потом Атлантикой... Когда Сенявин направлялся из Кронштадта в Средиземное море, ему грозило столкновение с французским флотом. Но тогда подоспел Трафальгар. Теперь Сенявину возвращаться из Средиземного моря в Кронштадт. И у него противник (пока, правда, в потенции) куда грознее, чем французы: эскадры Британии, рыскающие во всех европейских морях. Не укрыться ли в случае чего в портах «заклятых друзей»? Ну нет, тысячу раз нет! Ничто в мире не принудит Сенявина плясать под дудку Наполеона. Он и прежде не плясал, и впредь не спляшет.

Надо спешить. Надо обогнать события. И обогнать зиму.

Английский историк объяснил поспешность Сенявина личными соображениями: русский адмирал хотел добраться до Кронштадта, прежде чем вспыхнет война с Англией, чтобы избежать конфликта с английским флотом, где он когда-то служил и где у него осталось много друзей.

Русские волонтеры иногда служили на британских кораблях. Служил и Сенявин. Да только не Дмитрий Николаевич, а его родственник Григорий Алексеевич. И это о нем, о Григории, сказано в «Записках» графа Комаровского: «Сенявин во всех отношениях был отличный морской офицер (фамильная черта! — Ю. Д.) и любим в английском флоте».

Но «конфликтовать» с английским флотом наш Сенявин и впрямь не хотел. Теперь, после Тильзита, он видел капитальную задачу в том, чтобы сохранить свой флот, сохранить флотских для России. «Вице-адмирал Сенявин, — писал подчиненный Дмитрия Николаевича, — имея главным предметом возвращение флота в Балтику и рассчитывая притом, чтобы, по причине наступающего позднего времени, успеть пройти Зундом прежде, нежели он замерзнет, старался о наипоспешнейшем приуготовлении к отплытию в море нашей эскадры».

Громадность «приуготовления» заключалась и в том, чтобы снарядить в плавание вокруг Европы эскадру, из-

мотанную долгими боевыми походами, и в том, чтобы отправить через Италию армейские части. И еще в том, чтобы, исполняя тильзитские условия, передать французам крепости и острова.

Совершенно по разным причинам, но торопились оба — и Сенявин и Наполеон. Последнему прямо-таки не терпелось обосноваться и утвердиться там, откуда русские уходили: он боялся, что «вакуум» заполнят англичане. Скорее, скорее!

Альберт Вандаль, французский академик, подчеркивает: уже при первых свиданиях на Немане Наполеон «присудил себе драгоценную частицу приморского Востока», и она тотчас становится предметом его «беспримерных забот»; в корреспонденции — рефрен: Корфу, Которо, Ионические острова. Пустяковые (в сравнении с заграбастанными на континенте) квадратные километры поглощают Наполеона «больше, чем все остальные части его империи», ибо тут — вехи грядущего великого движения в Египет, на Ближний Восток, к «вечному объекту наших вожделений».

Между тем «сдача-приемка» островов и крепостей тормозилась то скрытым, то открытым, не горячим, но леденящим сопротивлением русских.

Сенявинские офицеры испытывали те же чувства, какие недавно испытывали на Немане Денис Давыдов и его товарищи. Нет, пожалуй, более острые, более жгучие. Там, на севере, был Фридланд. Тут, на юге, был успех. Там, на севере, можно было согласиться, что французы взяли верх в честном бою. Тут, на юге, они срывали куш как маклеры.

Князь Вяземский, прослышав на Корфу о некоторых условиях Тильзита, занес в свой рукописный журнал: «Нам здесь, вдалеке, это было чрезвычайно больно, здесь все выгоды на стороне французов, но наших выгод мы еще не знаем, а потому сочли все себя побежденными, повесили головы».

Голову-то повесили, но изыскивали любую возможность досадить «заклятым друзьям». Один из неисчислимых примеров: майор, посланный очистить для французов остров Занте, не выпустил из рук 9-фунтовую пушку и погрузил ее на фрегат, благо тот подвернулся; на запрос французского коменданта, почему господин майор так поступил, господин майор отвечал, что пушечка, мол, трофейная, турецкая, а не местная и посему, пardon, «не

долженствует быть включена в число состоящих в городе орудий, назначенных к сдаче» \*.

Сенявинские корабли возвратились из Эгейского моря в сентябре. Над Корфу реял чужой флаг. Вот уж две недели, как его поднял дивизионный генерал Цезарь Бертье. «При молебствии, колокольном звоне, пушечной пальбе, огромной музыке и церемониальных шествиях скончалась Республика Семи соединенных островов», — с горечью записал Вяземский.

Сенявину этот Цезарь Бертье вовсе не был Цезарем, который пришел — увидел — победил. И Сенявин с ним не якшался. Генерал слезно жаловался Наполеону: Сенявин не салюует французскому флагу; Сенявин не отдает визитов вежливости; русские офицеры не отвечают на приветствия французских офицеров, не кланяются даже ему, Бертье, когда он появляется в полной генеральской форме; высказывания русских офицеров возмутительны: «Если император Александр наделал глупости, то пусть за них платит сам...» И резюмировал так: «Невозможно вести себя более вызывающе, чем г-н адмирал Сенявин и подавляющая часть русских моряков».

Донесение (вернее, донос) Наполеон получил в Фонтенбло, где царил сплошной фейерверк празднеств, где немецкие государи составляли его лакейскую свиту. Наполеон, хмурясь, тотчас отписал в Петербург Савари: «Посылаю вам доклад Цезаря Бертье с жалобой на русскую эскадру. Используйте этот доклад, если сочтете его интересным для императора Александра... Нахожу, что адмирал Сенявин просто невежлив и ведет себя как плохой политик. Это обычный характер моряков. Но дух его эскадры кажется мне очень скверным». (Еще бы не скверным, коли планируешь взять и эскадру, и «невежливого» адмирала для своих целей! \*\*)

Савари — еще до того, как использовал «этот доклад», — пытался выторговать у царя корабли, плененные Сенявиным на Адриатике. Александр ответил: «За сей трофей слишком дорого заплачено, чтобы я захотел его отдать. Ваш император на моем бы месте никогда не отдал бы его».

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 149.

\*\* Такой проект существовал, Александр был с ним согласен. Савари рапортовал Наполеону: «Сенявин поступит в ваше распоряжение, если вы захотите осуществить нападение на Англию».

Но донос Бертье, бережно донесенный Савари, Александр Павлович выслушал без возражений... Ах так, он, император, «наделал глупости»?! Нетрудно сообразить, что таково мнение и Сенявина, а не только его офицеров. Да-а, «дух очень скверный». И вот это-то Александр Павлович крепко запомнил.

Было бы лучше, если бы он запомнил, каково досталось Сенявину и его людям при эвакуации. Не хватало провизии, не хватало медикаментов, не хватало денег. А дорога предстояла длинная и трудная. К тому ж гуляла осенняя погодливость, изнуряя солдат и матросов, не чаявших, как добраться в родные пределы.

Прочтите рапорт высшего армейского офицера — возникает картина печальная: «Видя, что вояж до Анконы (итальянский порт. — Ю. Д.) продолжится гораздо более прежде предполагаемого времени, ибо противные и сильные ветры уже вторично принудили военные и транспортные суда возвратиться в Корфинский пролив и по пятнадцатидневном уже плавании суда еще в проливе, а посему поставлю особливейшим долгом представить вашему превосходительству, что во всем отряде войск, в команде моей находящемся, больные в крайне жалостном положении... Больные не имеют другой пищи, кроме гречневых круп и аржаных сухарей, каковая вообще для больных вредна. Из сего ваше превосходительство усмотреть изволите, что при таком содержании больных не могут они выздоравливать и большая часть из оных помрет» \*.

Вот над чем надо было бы пораскинуть мозгами и царю, и его сановникам в городе Санкт-Петербурге. А государь спустя месяц ограничился «гладкой бумагой» — в рескрипте на имя генерал-фельдмаршала Прозоровского обозначил маршрут для марша: «Князь Александр Александрович! Войска наши, в Ионических островах бывшие и соединившиеся в Падуе (Италия. — Ю. Д.), уповательно отправлены уже теперь оттуда... и следуют к соединению со вверенною вам армиею — чрез Австрийские владения, по соглашению с Венским двором, от Горниц на Лейбах, Пест, Кошау, Пршемысль, Лемберг, Залесчик и Чарновиц, что в Буковине» \*.

Эвакуация войсковых частей (одни уходили на военных, другие — на арендованных судах) еще не закон-

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, лл. 133—133 (об.).

чилась, а эскадра Сенявина уже вступала под паруса. В каюте флагманского корабля был написан прощальный приказ, адресованный генералу Назимову:

«С первым удобным ветром отправляюсь я в назначенный мне путь, оставляя ваше превосходительство старшим командующим сухопутных войск, как здесь еще остающихся, так и тех, которые уже отправлены... Прошу ваше превосходительство изъявить признательнейшую благодарность мою всем войскам 15-й дивизии за их ревностную службу и доброе поведение во время командования моего в сих краях. Сентября 18 дня 1807 года. Корабль «Твердый», при Корфу, вице-адмирал Сенявин»\*.

Он прощался не только с егерями и гренадерами. Он прощался с греками, с албанскими легионерами, с балканскими славянами. Со всеми, кто видел в нем и его сподвижниках побратимов. Со всеми, в ком он видел товарищей по оружию.

Несчастье было обоюдным. Но Дмитрий Николаевич сознавал, что несчастье местных жителей горше.

С первых же дней оккупации французские «орлы» показали когти. Конtribusiции следовали одна за другой: хлеб, вино, дрова, одеяла, белье, сукно, сапожный товар. К поборам «по разнарядке» присоединилось разухабистое мародерство. Людей, замечает очевидец, «били без пощады».

Насильники не чувствовали под собою прочной почвы. Тотчас процвели шпионство и провокация; шулеры, подонки, шлюхи — всегодились «контрразведчикам» Цезаря Бертье.

«Подслушивали везде, — продолжает тот же свидетель, — а дабы начать разговор и узнать мнение другого, нарочно начинали осуждать французов. Но как подобные сим хитрости заставляли каждого быть осторожным, то сии соглядатаи, дабы получить свое жалованье, по необходимости должны были клеветать». И далее гневно вопрошает: «Какую пользу могут принести доносчики?» Пожав плечами, приписывает: «Оставляю решить всякому благомыслящему...»

В ненастные дни местные жители провожали сенявинцев. Рокотал походный барабан. Звонил колокол в старинной церкви святого Спиридония. «Иногда печаль-

ное молчание прерывалось гласом признательности и благодарности, — рассказывает Броневский. — Каждый прощался со своим знакомым; просили не забывать друг друга, обнимались и плакали».

А Павел Свинын дорисовывает картину: «Не только улицы, но все окна, крыши домов покрыты были народом, кланяющимся и всеми образами приветствующим Сенявина. Толпа шла по следам нашим... Все хотели проститься с Сенявиным, обнять его... Сенявин не мог быть равнодушным, слезы покрыли гордые ланиты его».

Последние часы белели на сумрачном рейде паруса сенявинской эскадры. Совсем еще недавно их поджидали здесь, на берегу, где теперь бил барабан и звонил колокол, поджидали, как вестников надежд и радости.

Каждый день приходит корабль,  
Каждый корабль приносит весть;  
Как счастливы те, кто без страха  
Смотрит в морскую даль, испытывая уверенность,  
Что новость, которую несет корабль,  
Это новость, которую они хотят услышать.

Корабли не придут — они уходят. Не будет хороших вестей — корабли уходят. Не гляди в морскую даль — корабли уходят.

Умолк походный барабан. И колокол тоже умолк. Стал внятен гул моря. Паруса таяли в дожде, в сумерках...

3

День ангела был 26 октября.

Когда бы и где бы ни праздновал Сенявин именины, день этот не ликовал: «ноябрь уж у двора». Но никогда раньше и никогда позже Сенявин не знал таких именин, как в 1807 году.

А как все хорошо начиналось!

Миновав Гибралтар, эскадра выбежала в Атлантику. Ветры дули попутные. Корабельщина жила обыденно: в семь — трель побудки; в девять — барабан к молитве; богу отдав богово, отдавали Нептуну Нептуново; а до обеда господам офицерам полагались водочка и легкая закусочка, а в обед чарочка полагалась и нижним чинам; в половине шестого баловались чаем, в кают-компани уже поплясывал каминный огонь; два часа спустя ужинали, а там, глядишь, пора в койки. Ей-ей, славно! Но вахты? Но судовые работы? У каждого брали они

\* ЦГВИА, ВУА, д. 3168, л. 116.



ежесуточно десять-четырнадцать часов. Ну, да ведь в корабельной размеренности есть известная прелесть. Шутили: первые девяносто лет тяжеленько, а после обыкновень... Нет, поначалу хорошо шли. Уже дни считали, что до Ревеля-то оставались. На Кронштадт не уповали, потому что прежде ноября никак не прибыть в Балтику, а тогда уж кронштадтский рейд подо льдом. Ладно, Рига или Ревель: все едино — гавани свои, домашние.

В седьмой день октября атлантический рассвет убил надежду на скорое возвращение к дымам отечества. Попутный ветер сменился встречным. Он гнал аспидные тучи и клубы тумана. Закрутились смерчи. Началось сражение, за которое не жалуют орденами; сражение, за которое наградой — жизнь.

Десять лет назад у мыса Сан-Винцент суровый Джервис, имея правой рукою Нельсона, расколотил испанцев. Теперь у мыса Сан-Винцент адмирал Сенявин десять суток дрался с бурей. Его эскадра то подходила к берегу, то удалялась от берега, стараясь обмануть непогоду. Потом взяли далеко мористее — на сотни миль ушли в открытый океан. Но и там волна ломила стеной.

Несколько недель было нечто от мировых катастроф, хохот хаоса. Древние не ошибались, называя Атлантику «Морем Тьмы».

Битву с ураганом не ведут на равных. Битва, дошедшая до сенявинцам, была природным побоищем. Океан крушил старые корабли. Ветераны, они не знали капитальных ремонтов; усталые путники, они принимали чудовищные удары.

Сенявин не покидал шканцев «Твердого». Флагами, фальшфейерами, пушками Сенявин получал извещения одно хуже другого: на «Мощном» повреждена бизань-мачта; «Рафаил» едва «на ногах»; у «Ретвизана» заклинило руль; «Селафаил» принимает забортную воду; «Ярослав» просит разрешения укрыться в ближайшем порту; у фрегатов заливает жилые палубы... Нет горячей пищи, нет сухого платья, нет отдыха людям, костенеющим по пояс, по грудь в ледяной воде.

Но утром 26-го показалось солнце. Сенявину то был день именинный. Его ангел, великомученик храбрец Дмитрий Солунский, покровительствовал славянам. От славян он отступился минувшим летом. Что ж теперь? Поможет ли святой воин Дмитрий, поможет ли вѣдлу, нареченному в его честь?

Право слово, Дмитрий Солунский, должно быть, столковался с Николой Чудотворцем, заступником моряков, потому что до четырех часов дня тянул южный ветер и океан, казалось, смирился. Он обязан был наконец уступить, этот проклятый океан!

«Все предано было забвению, — говорит сенявинский моряк, — прошедшее казалось страшным сновидением, душа каждого возрадовалась...» И душа именинника, конечно, тоже. Хорошо, думал он, пусть потеряно время для возвращения в Кронштадт, даже в Ревель. Пусть так. Но есть еще время обойти Англию с северо-запада, чтоб не встречаться с англичанами в Ла-Манше, обойти Англию и зимовать в нейтральном норвежском порту.

Но к вечеру все переменялось.

«Море, — пишет Броневский, — от спорного волнения закипело, и белизна валов была единственным светом, освещавшим темноту. На всех кораблях изорвало паруса... Несмотря на темноту, вдруг увидели близ себя корабль; положили право руля, приблизились к другому, положили лево на борт и чуть не сошлись с адмиральским кораблем; на нем горело несколько фальшфейеров, видно было пламя, исходящее из жерл пушечных, но грома выстрелов слышно не было. Когда корабль сей спустился с высоты валов, то казался падающим прямо на нас — одно прикосновение, один миг, и оба на дне... Ужасное борение стихий привело нас в то положение, когда уже нет надежды».

И опять (как в августе, в грузном от зноя Эгейском море) — скрежет зубовой: «Покорность судьбе! Какое жалкое прибежище! Но только это мне и остается».

Прибежищем был Лиссабон. Хочешь спасти — спасайся: спасти эскадру — значит спастись в Лиссабоне. О-о, Сенявин отлично знает, что Португалия давно и прочно связана с Англией. В сущности, королевство на Пиренейском полуострове покорно диктату королевства на островах. Но все ж Португалия не воюет с Россией. Все это Сенявин знает. Он не знает только, что в день его имени Россия разорвала отношения с Британией.

4

Португалия, шутил историк дю Дезер, была крепко виновата перед Наполеоном: она дала превратить себя в британскую колонию.

А Испания была виновата перед Англией: она цеплялась за триумфаторскую колесницу Наполеона.

С точки зрения «пиренейского патриотизма» очень дельно изъяснялся один португальский герцог с одним испанским генералом:

— Мы — вьючные мулы. Нас толкает Англия, вас подгоняет Франция; будем скакать вместе и звенеть бубенчиками, но, ради бога, не будем причинять друг другу зла, чтобы не стать посмешищем.

«Вместе скакать» не пришлось.

Наполеон был последователен: континентальная блокада требует закупки пиренейских портов. Закупорить их Наполеон мог только с материка. Он начал Португалией. Испанскому королю просто-напросто объявили, что войска генерала Жюно проследуют испанской территорией.

В те безумные дни, когда сенявинскую эскадру заглатывала Атлантика, генерал Жюно (как и многие кондотьеры Наполеона, бывший его адъютант) шел испанскими дорогами к границам Португалии. Места были каменно-суровые. Продовольствие и фураж не ждали армию. Она, как всегда и везде, кормилась грабежом и без того нищих крестьян.

Вслед за этой ордою (двадцать семь тысяч прожорливых глоток!) катилось еще столько же пехотинцев и кавалеристов генерала Дюпона.

В ноябре 1807 года Жюно со здорово потрепанным, поредевшим и задыхающимся войском достиг старинного городка Абрантес; за сие достижение тароватый хозяин удостоил генерала титула герцога.

Городок теснился на крутизне. Внизу текла река. Она пробила через каменные степи Кастилии и гранитные отроги близ Толедо, миновала дубравы и, поменяв испанское имя Тахо на португальское Тежо, раздалась вширь, стала глубокой и судоходной.

Из городка Абрантес герцог Абрантес уведомил лиссабонцев, что он пожалует в столицу Португалии несколько дней спустя.

А несколькими неделями ранее из устья Тежо, где берегов не видать, вышли в океан странные баркасы: островосые, с выпуклыми палубами, с кормою как рыбий хвост и треугольными парусами, что зовутся латинскими: лоцманы Лиссабона встречали эскадру Сенявина.

Медленно, под зарифленными парусами, русские корабли прошли у мели Кошопо-до-Корто, прошли форт Торе-де-Бужио; медленно, как ощупью, тихо, как в пустыне, они тянулись вверх по широченной предутренней Тежо.

Медленно поднимался туман. На северной стороне реки вставал прекрасный Лиссабон: крепости и батареи, верфи, дома, монастыри, сады, а чуть дальше — «длинный амфитеатр великолепных зданий».

Страшусь бровей педантов, но все ж осмелюсь предположить, что в душе Дмитрия Николаевича шевельнулись чувства, чуждые политики, кораблей, службы.

Он бывал в Лиссабоне. Давным-давно бывал, ему в ту пору шел «осмнадцатый». Он был мичманом на корабле «Князь Владимир» и, по собственному признанию, «резв до беспамятности». Кронштадтцы зазимовали в столице Португальского королевства. И вот здесь-то и приключилось с «ребенком», как отечески называли тогдашние капитаны своих мичманов, здесь-то и приключилось нечто, по его словам, «сердечное и первоначальное».

В записках, писанных после окончания средиземноморской кампании, Дмитрий Николаевич рассказал о лиссабонских бальных увеселениях времен его юности. Разумеется, «ребенок» от них не бегал. А на тех «ассамблеях» блистали юные сестрицы-англичанки. «Меньшая называлась Нанси. Мы один другому очень нравились, я всегда просил ее танцевать, она ни с кем почти не танцевала, кроме как со мною, к столу идти — я к ней подхожу или она ко мне подбежит, и всегда вместе... И мы так свыклись, что в последний раз на прощании очень, очень скучали и чуть ли не плакали».

Воспоминание о первой любви Дмитрий Николаевич обрывает обещанием: «Это еще не все, а будет продолжение, а только не скоро, а ровно через 28 лет, под конец моей молодости и при начале ее старости». (Лихо, однако, сформулировано различие возрастов!)

Продолжения на бумаге нет, но продолжение не на бумаге было. Какое же? Как они встретились, Дмитрий Сенявин и Нанси Плиус? Посмеялись над детской любовью или погрустили о первой любви? А может, и посмеялись и погрустили? Не знаю, лишь скорблю, что не дано мне ни права, ни дара поэта.

Ну, а презренная проза принесла Сенявину и серьезные огорчения, и серьезные опасения. Наступали такие

дни, когда впору было добром помянуть осенние ужасы океана.

Нет, адмирал не мог пожаловаться на португальские власти. Осмотрев свои разнесчастные корабли, Дмитрий Николаевич отнесся к самому принцу-регенту с просьбой о снабжении эскадры. И Жоан распорядился отпустить все необходимое.

Между тем принцу-регенту, ей-богу, хватало забот. Жоан боялся Англии и боялся Франции. И присоединение к континентальной блокаде, и неприсоединение к ней были подобны самоубийству. Принц все ж объявил войну Англии: генерал Жюно надвигался тучей. Однако, объявив войну, Жоан собирался удрать из наследственной берлоги и от дедовских могил, ибо оккупация грозила свести в могилу самого принца раньше сроков, определенных промыслом. И принцу-регенту, его грандам, иезуитам и отцам-инквизиторам («священный» трибунал еще дышал) ничего иного не оставалось, как искать защиты у той самой страны, которая была объявлена врагом, то бишь у Англии.

Англия дала понять, что выпустит португальский флот из Тежо, а тем самым позволит королевской фамилии с ее охвостом убраться за океан, в Бразилию, тогдашнюю колонию Португалии.

Приход Сенявина обескуражил принца-регента. Оно и понятно: у стен Лиссабона нежданно-негаданно встала эскадра союзника Франции. Да еще эскадра адмирала, известного Европе своей решительностью.

(В связи с укрытием Сенявина в устье Тежо два историка высказались по-разному, но равномерно несправедливо. Английский историк утверждал, что Сенявин испугался «наличия британских сил в Бискайском заливе». Мы уже видели, что причиной сенявинского «испуга» были не британские силы, а силы стихии. Французский историк утверждал, что корабли «Сенявина, попав в руки Наполеона, по крайней мере, спаслись от британского захвата». Сенявина отдали в руки Наполеона, это так. Да он из тех рук выскользнул, как никому еще не удавалось. Но об этом позже.)

Так вот, Сенявин, придя к стенам Лиссабона, мог, конечно, не допустить — или попытаться не допустить — ухода португальских судов с королевским семейством и королевскими сокровищами.

Наполеона мало интересовали принц Жоан и его спятившая матушка, хотя он и решил покончить с династией, традиционно преданной Англии. Другое дело — португальские линейные корабли и фрегаты. Вкупе с русской эскадрой это было уже кое-что для борьбы с врагом там, где враг — англичанин — вечно одерживал верх.

А Сенявин и пальцем не шевельнул, чтобы помочь великому полководцу и великому императору. Сенявин и с места не двинулся, равнодушно наблюдая, как португальцы уплывают, если и не из-под носа самого Наполеона, то из-под носа его герцога. И конечно, у русского адмирала, как всегда, нашлась отговорка: дескать, Россия не находится в состоянии войны с Португалией. Черт бы подрал этого крючкотвора в морском мундире: сорвал план создания коалиционного флота...

Однако Россия уже формально враждовала с Англией. И если теперь в океане, на подходах к Тежо, на подступах к Лиссабону крейсировал отряд контр-адмирала Сиднея Смита, то он крейсировал вовсе не для того, чтобы «мужчина с пламенными глазами» продолжил увлекательные рассказы, начатые минувшим летом близ Тенедоса.

В конце ноября 1807 года генерал Жюно со своими отощавшими на испанской бескормие офицерами и солдатами вступил в Лиссабон; в тот день затмилось солнце и проревел ураган.

Отныне французская армия и русская эскадра оказывались по соседству; этого давно жаждал Наполеон.

Казалось, Сенявина прижали в угол. Куда было деться? Да и надо ли было «деваться», если и из Петербурга и из Парижа поступали совершенно недвусмысленные, определенные и четкие указания о боевом взаимодействии с генералом Жюно?

Суворов однажды саркастически высказался на тот счет, можно или не можно служить одновременно двум монархам, российскому и австрийскому: «Отчего нельзя? Ведь служим же мы трехипостасной троице!»

Сенявин троице служил, но не желал служить двум господам. Он хотел — и хотел страстно! — соблюсти интересы одной «Госпожи». А русские интересы — коренные, непреходящие — требовали сберечь, сохранить самое ценное из того, что было ему вверено. И если Наполеон по агентурным сведениям определил хроническую недо-

стажу опытных матросов в Российском флоте, то Сенявин о такой нехватке ведал не из шпионских цидулек. И потому не имел он ни малейшей охоты жертвовать хоть одним русским матросом ради «прекрасной Франции и ее доблестного императора». Как, впрочем, и ради «могущественной Англии и ее доброго короля».

И вот тут-то началось поразительное единоборство военачальника с двумя самодержцами, один из которых был ему государем «законным», а другой стоял выше всех и всяческих законов.

Могут возразить: видать, Дмитрий Николаевич догадывался о внутреннем нежелании Александра I скрепятив шпагу с Британией; а коли догадывался, невелика храбрость явить неисполнительность.

С первым согласен: догадывался, очень даже догадывался. Не согласен со вторым: нет документа, в котором царь хотя бы намекнул адмиралу о своем нежелании; напротив, есть документы с требованием подчиняться Наполеону.

Но, быть может, адмирал шел на сознательный риск, как, бывает, рискует шустрый подчиненный, сознавая, что начальство думает одно, а говорит другое. Допустим нечто подобное. Однако и тогда, надо признать, Сенявину ничего не стоило оскользнуться, оступиться, промахнуться да и оказаться тем хлопцем, у которого чуб трещит.

Наконец, Дмитрий Николаевич хорошо понимал, что его государь предпочитает терпеть урон от исполнительности подданных, нежели получать выгоды от их самостоятельности.

И еще одно: соображения карьерные, чувство самосохранения диктовали послушание официальным бумагам; иные чувства, чуждые личным выгодам, личному спокойствию и личной безопасности, диктовали непослушание.

А теперь и решайте, что сделали бы да как бы поступили бы на сенявинском месте несенявины...

Флот общеевропейский, антианглийский, флот коалиционный, союзный — Наполеон помышлял об этом не только как стратег и политик. Было что-то роковое в том невезении, которое преследовало его морские проекты и надежды. Взмахом перста определял он участь тронов и государств. А свободная стихия смеялась над «владыкой полумира». Оттуда, с океана, словно бы доносился гро-

мовой насмешливый голос: «Что такое суша в сравнении со мною?!» Он был далек и от романтических грез, и от постижения символов. Но в непокорстве морей таился грозный намек. И ведь в конце концов именно океан, пустынный и необозримый, окружил островок, на котором, «всему чужой, угас Наполеон».

После Тильзита казалось вполне возможным сколотить коалиционный флот: русский плюс датский плюс португальский плюс то, что оставалось от французского и испанского. Но уже вскоре англичане пиратским наскоком на Копенгаген захватили датские корабли. А теперь вот сбежали португальские. Оставался флот русский, эскадра боевая и, как говорят моряки, сплаванная, под командой вице-адмирала Сенявина.

Правда, Наполеон морщился: «дух на эскадре нехорош», а Сенявин «плохой политик» и грубиян. Однако, этот невежа недурно вершил свое дело в Адриатическом и Эгейском морях. А Наполеон полагал, что «англичане сильно присмирели, когда Франция будет иметь одного или двух адмиралов, желающих умереть». (Кроме этого желания, по мнению полководца, от флотоводца ничего иного не требовалось!) Но вот вопрос: желает ли вице-адмирал Сенявин умереть за Францию? Впрочем, он обязан желать умереть за тот союз, что родился на берегу Немана, — и тут уж никаких вопросов.

В декабре 1807 года Наполеон писал Александру: «Эскадра адмирала Сенявина прибыла в Лиссабон. К счастью, мои войска уже должны там теперь находиться. Было бы хорошо, если бы ваше величество уполномочили графа Толстого (русского посла в Париже. — Ю. Д.) иметь власть над этой эскадрой и ее войсками, чтобы в случае необходимости пустить ее в ход, не ожидая прямых указаний из Петербурга. Я думаю также, что эта непосредственная власть посла вашего величества имела бы хорошее воздействие в том отношении, что положила бы конец недоверию, которое иногда проявляют командиры к чувствам Франции».

И Александр отдал Сенявину Наполеону: «Признавая полезным для благоуспешности общего дела и для нанесения вящего вреда неприятелю предоставить находящиеся вне России морские силы наши его величеству императору французам, я повелеваю вам согласно сему учредить все действия и движения вверенной начальству ва-

шему эскадры, чиня неукоснительно точнейшие исполнения по всем предписаниям, какие от его величества императора Наполеона посылаемы вам будут».

Наполеон принял подарок без особых благодарностей — как брат от брата. И не замедлил снабдить вице-адмирала предписаниями: быть всегда в готовности сняться с якоря; пополнить экипажи матросами, которых пришлет генерал Жюно; принять боезапас в Лиссабоне; произвести некоторые перемены в судовом составе эскадры и т. д. и т. п.

Жюно, в свою очередь, не оставлял в покое Сенявина. В первое время герцог ограничивался разменом приемов и тостов, взаимными излияниями и возлияниями. Но по мере того как англичане усиливали прямой военный натиск на Португалию, генерал усиливал, повышая тон, словесный натиск на адмирала.

Герцог Абрантес был рупором Наполеона; последний совершенно основательно заявлял, что сенявинская «эскадра поставлена под мою власть русским императором»; стало быть, конкретные предложения Жюно звучали приказами: напасть на британцев, блокирующих Лиссабон с моря; занять левый берег Тежо, дабы прикрыть столицу королевства с юга...

Что ж Дмитрий Николаевич?

Человек действия, он бездействует. Натура активная. Он пассивен. У него дюжина отговорок и чертова дюжина уловок. И лейтмотив: рад бы помочь господину генералу Жюно, ей-богу, рад бы, но прежде всего и раньше всего, выше всего и важнее всего — сохранить эскадру «моего августейшего повелителя».

Альфред Мэхэн, американский военный историк прошлого века, писал, что Сенявин «упорно отказывался действовать совместно с Жюно; он (Сенявин. — Ю. Д.), вероятно, был выразителем сильного несочувствия высших слоев русского населения союзу с Францией...»

Наполеона не сочтешь воробьем, которого проводят на мякине. И все ж он не сразу взял в толк, что его-то как раз и проводят на этой самой мякине. Тут, очевидно, сказывался некий психологический барьер. Как! Вся европейская знать елзлит во прахе. Дипломаты из дипломатов не смеют хитрить. Любой генерал готов лизать сапоги... Как! Короны и скипетры не более чем шапки и палки. Огромные армии послушны карандашу на ланд-

карте... И что же? Какой-то вице-адмирал... Ну нет, что-нибудь да не так... Вероятно, милейший Жюно не умеет обращаться с этим скифом, с этим Сенявиным...

Однако уже к лету 1808-го император французов отчетливо уразумел: этот Сенявин упрямо, хитро и донельзя дерзко уклоняется от всего, что исходит из Парижа. Даже если исходящее из Парижа проштемцелевано Санкт-Петербургом.

Бездействуя, Сенявин, в сущности, действовал. Оставаясь безучастным, он участвовал. Уклоняясь, не уклонялся. Действовал так, чтобы занять положение «третьего смеющегося». Участвовал в том, чтобы не дать англичанам повода нарушить его, Сенявина, нейтралитет. Не уклонялся от заранее взятого главного курса — при всех обстоятельствах сохранить экипажи.

Нужна была не запальчивость, а выдержка. Не порывистая храбрость, а терпеливое мужество. Не эмоциональная шаткость, а величайшее равновесие. И неколебимое сознание своей правоты. Все это нашлось в душевном арсенале Дмитрия Николаевича.

Наступил август. Англичане высадились в Португалии и побили Жюно. Выгораживая своего «августейшего повелителя», Сенявин вроде бы извинился перед Наполеоном: дескать, лишь крайняя слабость эскадры «лишила его счастья» сражаться под знаменами Франции.

Отбоярившись от одного знамени, Сенявин попадал под сень другого — английского. И если раньше он был обязан подчиняться (хотя и не подчинился) определенным приказам и указаниям, то теперь ему нечему было подчиниться, даже пожелай он вдруг обратиться в пай-мальчика: никаких приказов, никаких указаний.

Единственная его надежда питалась тем, что между Англией и Россией, несмотря на формальный разрыв, фактических боевых столкновений не произошло.

Да и сами англичане, по-видимому, не стремились навязывать бой сенявинской эскадре. Им было на руку изобразить франко-русский союз эдаким воздушным поцелуем без последствий. (А Наполеону, помимо прочих соображений, действующий Сенявин, сражающийся Сенявин был необходим для демонстрации отнюдь не платонической любви с русским царем.)

Еще до битвы при Вемизейро, гибельной для Жюно, еще в июле 1808 года англичане окольными путями при-

глашали нашего адмирала к переговорам. Его извещали, что Наполеон задерживает русские суда в портах Франции и что Александр уже склоняется к некоторому сближению с Англией.

Сенявину было бы выгодно если и не вовсе заглотнуть крючок с этой наживкой, то хотя бы зацепиться губою. Выгодно, ибо корабли адмирала Чарльза Коттона могли нанести такой удар, на который ни Жюно, ни сам Наполеон не были способны при всем негодовании на Сенявина.

Жюно убрался во Францию. Он ретировался, а Сенявин остался. Остался один на один с британским флотом, превышавшим его эскадру вдвое. Но Сенявин увильнул от французского влияния не затем, чтобы пасть под влиянием британским. Отстав от навь Жюно, он не желал пристать к ворону Коттону.

Перво-наперво Дмитрий Николаевич объявил: вы, англичане, пришли в Португалию, дабы освободить ее от чужеземного ярма; мы, русские, пришли в Португалию, дабы укрыться в нейтральном порту от бури; ergo, мы находимся в пределах государства, не воюющего ни с Англией, ни с Россией, а посему будьте любезны уважать международные законы.

В те времена с юридическими нормами иногда считались; однако не настолько, чтобы пренебречь принципом: «Англия всегда права, права она или не права». Но в случае с Сенявиным для самой же Англии лучше было бы устоять на позициях международных трактатов.

К тому же Сенявин не скрывал, что живым не достанется. И расположил корабли так, чтобы оказать оглушительный отпор. А то, что он умел это делать, англичане знали не хуже французов и не хуже турок.

Пока адмиралы перекорялись, тучи сгустились. Уже не только британский флот маячил близ Лиссабона, но и британские войска квартировали в Лиссабоне. Сенявин был как в люке. Небо казалось с овчинку.

Впоследствии Дмитрий Николаевич нарисовал сумрачную картину: «Таким образом, будучи стесняем со всех сторон несоразмерно превосходнейшими неприятельскими силами и удобствами для них и быв уверен, что при малейшем со стороны моей упорствовании эскадра, высочайше мне вверенная, должна непременно истребиться или достаться во власть неприятеля, не сделав никакой чести и пользы для службы вашей, всеавгустейший мо-

нарх, с другой стороны, находил выгоду купно с честью поддаться на предложения неприятельские».

На что ж он «поддался»? На такие условия, за которые Коттон несколько позже получил здоровенную взбучку в парламенте; баронета даже судить хотели.

Пожалуй, поддался-то не Дмитрий Сенявин, но Чарльз Коттон, ибо первый потребовал, а второй согласился: русская эскадра не считается плененной; русская эскадра отстоится в английском порту до заключения мира; все экипажи со своими знаменами возвратятся на родину; никаких оскорблений флагу чиниться не будет.

«Итак, — записал русский офицер, — мы оставляем Лиссабон, идем вместе с английскими кораблями в Англию под своими флагами, точно как в мирное время. Не хвала ли Сенявину, умевшему вывести нас с такою славою из бедственного нашего положения?»

5

За века до сенявинской эпопеи был такой случай.

Генрих IV отправил послом в Англию герцога Сюлли. На грот-мачте французского корабля, понятное дело, развеялся французский флаг. В Ла-Манше посла встречал английский корабль. Командир его велел французам спустить флаг. Герцог Сюлли, «один из самых рыцарственных принцев из всех когда-либо живших», оскорбился и отказал. Англичанин, не тратя слов, трижды выпалил из пушки. «Выстрелы, — говорит современник, — пронизав корабль, пронизали сердца добрых французов». И пронзенные сердца спустили флаг. А удовлетворенный английский капитан процедил, что обязан «требовать оказания должных почестей его государю — господину моря».

Никаким «господином моря» Англия в ту пору не была. Какова, однако, надменность, самонадеянность!.. Позднее король Карл II, в сущности, повторил мысль английского капитана: «Обычай Англии — командовать в море!» И прибавил, что, если он, Карл, не будет держаться этого железного принципа, его подданные не будут ему повиноваться. А Британия и при Карле II еще не была «господином моря».

Но теперь, когда эскадра Сенявина шла в Портсмут, Англия действительно могла считаться господствующей

в морях и могла там командовать. «Английский флот, — свидетельствует историк, — находился в цветущем положении, хотя жизнь и служба на корабле была очень тяжела не только для матросов, но и для офицеров. В 1808 году было до 800 военных кораблей, между которыми — 144 линейных. Экипаж их состоял из 100 000 человек».

Вообразите-ка физиономии англичан: эскадра державы, находящейся в состоянии войны с Англией, входит в военный порт Англии, неся на всех своих кораблях флаг — вражеский флаг!!! А на «Твердом» — еще и адмиральский!!!

Да ведь это ж неслыханно, это ж невиданно. Позор! Проклятие! «Общее возмущение», «общее негодование» — писали газеты, восклицали парламентарии.

Не думаю, чтоб возмущением и негодованием пылали рудокоп или фермер, уличная торговка жареными гусями или почтальон с кожаной сумкой, украшенной металлической короной, мальчишка-трубочист с лесенкой или ночной сторож с трещоткой, кучер тяжелой фуры, запряженной восьмеркой цугом, или старая дева, осужденная, согласно поверью, прогуливать в аду чужих детей.

Готов, однако, допустить негодование и возмущение «морских волков», сидевших за чашей «Кусающего дракона» — горящего коньяка, из которого они пытались выхватить изюминки; маклеров, играющих на «понижении-повышении»; министров, играющих в баккара в клубе Брукса; франтов в кургузых фраках и сапогах с вырезом на икре, называемых «гессенскими»; красномундирных пехотинцев и синемундирных артиллеристов. А в первую очередь матерых высших офицеров, непреклонных патриотов и неуклонных взяточников.

Как все мздоимцы, они хорошо считали в чужом кармане. А конвенция Коттона — Сенявина предусматривала содержание русских на английский казенный счет. Месячный матросский порцион обходился в четыре с половиною фунта стерлингов, что по тогдашнему курсу равнялось ста восьми рублям. Беря скопом, не отличая матросов от офицеров, русских ртов было примерно четыре с половиною тысячи. Стало быть, эскадра, которая могла бы принести немалый доход, оказалась она призовой, принесет ежемесячный полумиллионный расход. До открытия навигации в восточной Балтике, куда (согласно Лиссабонской конвенции) следовало вернуться сенявинцам,

оставалось более полугодия. Вот и прикиньте-ка, джентльмены!

Правда, Англией в то время правили джентльмены, которым должно было импонировать антифранцузское поведение русского вице-адмирала. Эти люди поклялись никогда не протягивать руки Наполеону, разве лишь затем, чтобы ухватить корсиканца за кадык. В этом смысле и вице-адмирал, и его офицеры, и его матросы пришлось по сердцу английским лидерам.

Кроме того, русская «живая сила», закаленная в морях и боях, пришлось им по душе еще и потому, что британскому флоту по обыкновению недоставало матросов.

Историк, сообщивший нам численность флота восьмисот восьмого года, говорит, что укомплектование его производилось насильственно. Людей грабастали ночью в тавернах и на улицах и тотчас «отправляли на службу отечеству». «При такой системе набора матросов они нередко бунтовались, особенно в открытом море и в колониях, и овладевали кораблями, побросав офицеров за борт. Газеты сообщали судебные следствия о подобных случаях».

Сенявинские экипажи — обстрелянные и дисциплинированные — были поистине лакомым куском для лордов Адмиралтейства. Боевые качества этого человеческого материала афористично и точно определил покойный Нельсон: «Бери на бордаж француза, маневрируй с русскими. Другой англичанин (он ходил на нашем корабле пять лет спустя) так отозвался о балтийцах: «Вообще говоря, русские моряки обладают всеми данными для того, чтобы занять первое место среди моряков мира, — мужеством, стойкостью, терпением, выносливостью, энергией».

Да, кус был лакомый.

Сенявину и его командирам предложили поселиться на берегу. Трогательная заботливость! Как ни хороша каюта, а все ж «мокнешь и сыреешь», да еще в туманной, волглой Англии, да еще осенью и зимой... Трогательная заботливость? Полноте! Если и заботливость, то совсем особая. И сенявинцы сообразили: «Явное было намерение, разделяя начальников от команды, произвести в ней беспорядки и сим беспорядком пользоваться, переманив разными обещаниями наших людей на свои корабли. Они укомплектовали бы матросами опытными, знающими свое дело и бывшими не один раз в сражении. Не успев в оном, они продлили наше пребывание в Англии под пустыми предложениями».

«Манить обещаниями» было тем легче, чем труднее было русской корабельщине. Еще в Лиссабоне лихое безденежье понудило Дмитрия Николаевича расходовать личные деньги офицеров и матросов (обещая возратить в отечестве); пришлось даже распродать личное имущество убитых (обещая возместить стоимость наследникам). Теперь, в Портсмуте, жестоко экономя на возможном и почти невозможном, Сенявин терпел не только прижимистость британской казны, но и хищничество поставщиков.

Ко всему прибавился и тот подлый холод, какой, право, злее крепких морозов. «Зимовать на корабле в таком климате, как в Англии, было очень неприятно, — вспоминал офицер Панафидин. — По ночам недостаточно было шинели, а теплого белья ни у кого не было».

Но, думается, еще больше угнетало «положение вне игры». «Однообразие, бездеятельная жизнь может ли нравиться для тех, кто привык к трудам?» — грустно спрашивает Панафидин. Кручина закрадывалась в души. Изводило ожидание — ожидание отправки на родину. И разочарование — отправка откладывалась.

Однообразие и бездеятельность грозили почти невольным уклонением от распорядка службы и быта. Одно дело поддерживать дисциплину на походе, в страду, когда «сердца для чести живы», когда каждый в напряжении и душевном и физическом, когда с морем не заскучаешь; иное в муторных буднях якорной стоянки, когда и зябко, и голодно, и тоскливо, когда вроде бы только дышишь, но не живешь. Не всем, не каждому дано выстоять перед недугом принудительной праздности, схожей с тюремной.

Особенно побаивался Дмитрий Николаевич зеленого змия. В Портсмуте — и в городе, и в порту, и на рейде, на баркасах, осаждавших корабли, — торговали водкой подслащенной и водкой, настоящей на мяте и перце, можжевелевой водкой и портвейном, ромом и грогом, то есть разбавленным ромом, который вот уж несколько десятилетий выдавали английским морякам с легкой руки адмирала Вернона\*.

Сенявин не был ярым ненавистником Вакха. У гроба шутил: «Никогда не пил воды, а помираю от водянки».

\* Вернон носил грубый шерстяной плащ — грогрэм. Моряки прозвали Вернона «Старым грогом», а после адмиральскую кличку перенесли на горячительный напиток, им изобретенный.

Он был ненавистником тупых и тяжелых как чугун пропойц и приказывал офицерам «как можно чаще внушать служителям о воздержании себя от всякого рода дурных поступков, а паче от пьянства, которое опрочь частного несчастия соделывает часто вред службе и товарищам своим».

Недостачу хлеба пытался он хоть малость возместить зрелищами. «На некоторых кораблях, — рассказывает Свиньи, — заведены были во время бездейственного пребывания эскадры в Англии и Португалии театры. Палубы убирались для сего прилично и красиво флагами».

Это удивляло, нет, раздражало британских морских командиров. Свары и драки английских мичманов в их каютах, прозванных петушьими ямами, запой, повергающий офицера среди «мертвецов», то бишь среди опорожненных бутылок, находили они вполне приемлемым и естественным. Но сцена на военном корабле — какой разврат! И даже десять лет спустя Уильяму Парри, от важному полярнику, указывали, что не следовало лицедействовать на корабле его величества, хотя бы и зимуя во льдах Арктики.

Русские моряки смотрели на дело разумнее и проще. Когда на одном бриге сыграли пьесу «Крестьянская свадьба», сочиненную матросами, лейтенант записал: «Такие увеселения на корабле, находящемся в дальнем плавании, покажутся, может быть, кому-либо смешными, но, по моему мнению, надо использовать все средства, чтобы сохранить веселость у матросов и тем самым помочь им переносить тягости, неразлучные со столь продолжительным путешествием». Кто знает, не слышал ли этот лейтенант про «увеселения» на сенявинских кораблях?..

Но, конечно, ничто не могло «размыкать наше горе, развеять русскую печаль». К тому же Сенявину приходилось отбиваться и отгрызаться от наскоков британского Адмиралтейства.

Ох, больно язвила морских лордов конвенция, подписанная Коттоном. Они охотнее подписались бы (если бы не честь мундира) под тем распространенным мнением, которое гласило: русский вице-адмирал в Адриатике «обвел» австрийцев и французов, а в устье Тежо — и французов и англичан. Они охотно согласились бы (если бы не ведомственный престиж) с заявлением лорда-мэра Лондона: «Конвенция, заключенная в Лиссабоне, не приносит славы Англии».



Адмиралтейские «нептуны» трясли трезубцами. Никак не могли они простить Сенявину то, что он позволил Коттону совершить такой промах. Вот так же царь и его генерал-адъютанты не могли простить Кутузову, что он позволил им проиграть Аустерлиц.

Отметим в скобках оправдания Чарльза Коттона, делающие ему честь: я уважал Сенявина и его подчиненных; я знал, что они погибнут, но не сдадутся; я не хотел их гибели, ибо русские — давнишние друзья англичан, попавшие в трудные обстоятельства.

Однако эскадра, принадлежащая стране формально вражеской, находясь в английском порту, не находилась на положении формально пленной. И это все ж как-то пятнало Адмиралтейство.

Давно открылась навигация в восточной Балтике. Давно разгорелось лето, а лорды морские не отправляли в путь если и не русские корабли, то хотя бы русских корабельщиков.

Впрочем, кое-какие резоны у лордов были. И резоны серьезные, а не только «пустые предлоги», как угрюмо сетовал Панафидин, измученный, подобно всем сенявинцам, портсмутским прозябанием. Пустишь ли боевых балтийцев в Балтику, коли Россия воюет со Швецией, английской союзницей?

Лорды предложили: давайте-ка отправим вас в Архангельск. (Все-таки подальше от балтийского театра военных действий.) Сенявин «архангельский вариант» не принял. Но оставить корабли в «депозите», вернее в «срочном депозите», подлежащем возврату по замирению с Англией, Сенявин согласился. Ему, повторяю, важнее всего было сохранить матросов, солдат, офицеров. А люди голодали и хворали. Дмитрий Николаевич в отчаянии сообщил российскому министерству иностранных дел, что в Англии умирает русских больше, чем за все время боевых плаваний.

Долго Сенявин мучился в Портсмуте. Но вот двадцать один транспорт принял на борт его моряков и армейцев. Без малого за месяц добрались они до Риги. Уже накатил рыжая осень, осень 1809-го.

Броневский писал: «Сим кончилась сия достопамятная для Российского флота кампания. В продолжение четырехлетних трудов не одним бурям океана противоборствуя, не одним опасностям военным подверженные, но паче стечением политических обстоятельств не благоприят-

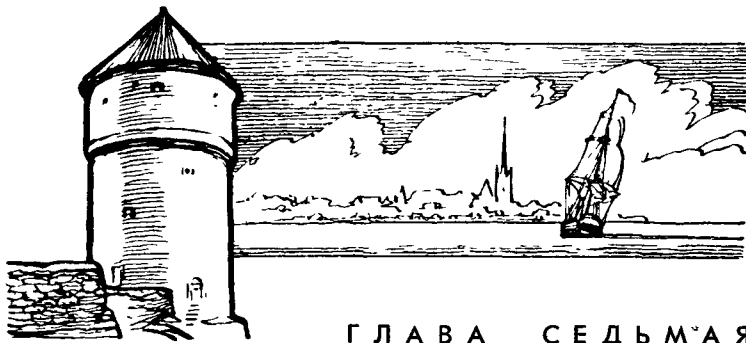
ствуемые, российские плователи наконец благополучно возвратились в свои гавани. Сохранение столь значительного числа храбрых опытных матросов, во всяком случае, для России весьма важно. Сенявин исхитил, так сказать, вверенные ему морские силы из среды неприятелей тайных и явных...»

Когда-то Нельсон утверждал, что потеря храброго офицера есть потеря национальная. Сенявин избавил нацию от потери многих офицеров и еще большего числа рядовых служителей морей и кораблей.

Он снова был в России.

Помните у Грибоедова: «Спешил!.. летел! дрожал! вот счастье, думал, близко!»

И что же?



## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Погожими летними вечерами генерал Мертваго и его крестник беседовали на балконе о разных разностях. Беседуя, поглядывали на неширокую набережную Фонтанки; на прохожих и извозчиков, на темные барки с дровами и на эти шаткие прибрежные мостки, где возились, брызгаясь и судача, раскоряки прачки.

Много лет спустя Сергей Тимофеевич Аксаков вспомнил крестного, вспомнил дом на Фонтанке, давние «балконные» дни.

«Один раз он (Мертваго. — Ю. Д.) сказал мне, указав пальцем: «Видишь ли ты этого господина, который тащится по набережной, так гадко одетый?» Я отвечал, что вижу. «Это великий человек! Это нищий, которому казна должна миллионы, истраченные им для чести и славы отечества. Это адмирал Сенявин!» Как он в это время поравнялся, то Дмитрий Борисович назвал его по имени и сказал ему: «Зайди ко мне». Адмирал зашел. Мы все трое прошли в кабинет. Я, разумеется, пошел по приглашению хозяина. Сенявин пробыл с час; просто и открыто говорил он о своем крайнем положении, об оскорблениях, им получаемых, о своих надеждах, что когда-нибудь заплатят же ему и всем офицерам призовые деньги, издержанные им на флот (этим делом занималась тогда особая комиссия). Адмирал ушел. Не утверждаю, но мне показалось, что Дмитрий Борисович достал деньги из ящика и тихонько отдал их своему гостю и давнему приятелю. Рассказ адмирала произвел на меня такое глубокое и горькое впечатление, которого никогда нельзя забыть.

Крестный отец досказал мне всю историю русского с ног до головы славного нашего адмирала; рассказал мне и положение, до которого он был доведен. «Сенявин, — прибавил он, — доведен до того, что умер бы с голоду, если б не занимал денег, покуда без отдачи, у всякого, кто только дает, не гнушаясь и синенькой; но у него есть книга, где он записывает каждую копейку своего долга, и, конечно, расплатится со всеми, если когда-нибудь получит свою законную собственность».

Не сразу после возвращения, а постепенно увязал Дмитрий Николаевич Сенявин в этом «крайнем положении».

2

Устремляясь на Балтику, Сенявин мог бы сказать о себе, как поэт сказал о Кавказском пленнике:

В Россию дальний путь ведет,  
В страну, где пламенную младость  
Он гордо начал без забот...

Заканчивая громадную одиссею, вице-адмирал заканчивал и «свою молодость». Так Сенявин определил собственный возрастной этап, пришедшийся на лиссабонские дни.

Дмитрий Николаевич вернулся сорокашестилетним. Тогдашнему Сенявину ровня годами пишущий эти строки. Но он живет «вечерне» и потому радуется, глядя на героя своей книжки. Столько испытать, столько изнемогать и столько одолевать — и вот, поди ж ты, экая бодрость, экая устойчивость мироощущения!

Когда постраствуешь, все хорошо на родине — и то, что хорошо, и то, что нехорошо. Была острая отрада свидания с женой, с Терезой Ивановной, встреча с детьми, которые поднялись, вытянулись, изменились, и это тоже сладко, но вместе и больно, потому что подвинулись, тянулись, изменялись без тебя, словно бы в сиротстве; была, наверное, и потаенная ревность жены к мужу и мужа к жене, ведь не месячная разлука легла меж ними; воскресло и многое призабытое, но незабытое, как ощущение первого снега с кровли бани, которым растираешь лицо, плечи, грудь.

Нехорошее поначалу не ударило молотом. И потому, что душу грело чувство возвращения, и потому, что сы-

пал мелкий дождичек, совсем не похожий на сумасшедшие ливни юга, а потом легла зима, здоровая и крепкая, пахнущая березовыми дровами, зима, несравнимая с английской мокрядью, воняющей угольным дымом.

И еще была встреча с Москвой. Он помнил ее с детства, он любил ее всегда. Да вот и увидел: такую русскую, такую милую, привольную, раскидистую, в мягко голубеющих сугробах. Увидел Москву рождественскую, Москву святочных гуляний... «Москва меня обворожила», — светло улыбнулся Дмитрий Николаевич и прибавил, что если б не служба, то, право, перебрался бы на жительство в первопрестольную... \*

А нехорошее-то началось с того, что Сенявину объявили: не ждите, ваше превосходительство, аудиенции у государя. Причина? Очередной поклон царя императору французов. Хорошо осведомленный мемуарист замечает: «Известно, что по требованию Наполеона вице-адмиралу Сенявину запрещен был вход во дворец».

Однако он числился в строю: принял ту же должность, которую оставил для Средиземного моря. Это еще не было отставкой, но это уже было понижением.

Ровно за пятилетие до того, как Дмитрий Николаевич со своими моряками и солдатами высадился в Риге, осенью 1804 года царь «высочайше повелеть соизволил поручить управление состоящих в каждом из главных портов флотских команд одному из флагманов». И тогда же последовало решение Адмиралтейств-коллегии: «Флотскими начальниками определяются: в С.-Петербурге — адмирал Ушаков, в Кронштадте — адмирал Тет, в Ревеле — контр-адмирал Сенявин...»

Тогда, в восемьсот четвертом, назначение в Ревель было нешуточным. Чичагов, глава морского ведомства, сообщал князю Воронцову, что Ревельский порт следует признать «наивыгоднейшим для содержания нашего флота, где также за вмещением всех кораблей и фрегатов довольно оставаться может места для купеческой гавани и для некоторой части гребного флота; почему и положено там устроить главный военный порт».

А если прибавить замечание сенявинского офицера Панафидина, что из Ревеля наш флот выйдет навстречу неприятелю раньше, чем из Кронштадта, забитого льдом,

\* ОР ГБЛ, ф. 41, картон 131, д. 5, л. 3.

то станет понятно: Дмитрию Николаевичу досталась задача почетная.

Дело было трудное, хлопотное, на большие тысячи. Низкие брустверы худо защищали гавань от северных ветров. Старую гавань отдали купеческим судам, а новую принялись сооружать с таким расчетом, чтобы она могла «вместить весь Балтийский флот».

Пока Сенявин отсутствовал, море и непогода поработали в гавани успешнее людей. Бури размывали стенки, волны намывали мели. Дело дышало на ладан: не хватало денег, не хватало рук. Так было и по возвращении Сенявина.

Жизнь у Дмитрия Николаевича потекла смурая, без вдохновения и напряжения. Современник Сенявина вздыхал: «Жить в отставке — не забавная проза. Беда нашей братии с нашим дворянским образованием: на то и дворянин, чтобы служить; а вытолкни тебя служба за порог, не знаешь, куда деваться. Одно прибежище — бумаги и книги».

Дмитрия Николаевича еще не вытолкнули за порог, но уже толкнули к порогу. И у него тоже осталось «одно прибежище — бумаги и книги».

Его записки, сделанные в Ревеле, жухли под спудом чуть не столетие. Они увидели свет накануне первой мировой войны — в морской периодике, адресованной специалистам. В конце второй мировой войны их напечатали приложением к брошюре. Словом, они и теперь почти библиографическая редкость.

Доктор военно-морских наук капитан 1-го ранга Н. В. Новиков, знаток истории флота и человек доброй, щедрой души, памятный многим, кто занимался боевым прошлым Родины, написал предисловие к сенявинским мемуарам. Николай Васильевич так определял особенности рукописного наследства выдающегося флотоводца: «одна из самых любопытных и интересных морских хроник»; «обширнейший материал как для истории флота, так, главным образом, для знакомства с бытом флота»; «удивительно бодрым настроением проникнуты страницы записок», несмотря «на обидное положение автора, еще так недавно бывшего на высоте своей боевой и политической славы»; вспоминая молодость, «автор как бы сам молодеет и с увлечением рассказывает о своих мичманских шалостях и веселом препровождении времени, совершенно сознательно подчеркивая, что веселость, бод-

рость, задор есть неотъемлемые свойства именно того духа, который в боевую минуту ведет воина к подвигу».

Читая сенявинские записки, будто слышишь голос Сенявина: очень явственна разговорная интонация. Чудится, будто он не писал, а диктовал.

Психологи, перечисляя источники для уяснения характера, называют материалы, писанные человеком вовсе не затем, чтобы по ним определяли его характер. Скажем, частная корреспонденция, интимные дневники. Записки Сенявина принадлежат именно к таким материалам, и в этом их невыцветшая прелесть.

Сквозь строки так и проглядывает умная, даже, пожалуй, лукавая физиономия; но это улыбка, это лукавство человека, много передумавшего. А кроме того, есть особенность, нечастая в мемуаристике: Сенявин изобразил (не намеренно, а так уж получилось) не только как жилось, но и как чувствовалось.

«Я родился в 1763 году августа 6-го в полдень, в селе Комлеве, Боровского уезда. Священник прихода сего учил меня грамоте, а на 8-м году я читал хорошо и писал изрядно. На 9-м году матушка ездила в Петербург: затем только, чтобы определить меня в сухопутный корпус. Матушка имела хорошую протекцию, но я принят не был, а по какой причине — не знаю; одно то справедливо, кому где определено, тому там и быть. Матушка в большом от сего огорчении тем же временем возвратилась со мною в Комлево. В это время не было еще у нас ни публичных училищ, ни наемных учителей, а чтобы мне не быть в деревне праздно, я отдан был для изучения арифметики в городскую школу, состоявшую из солдатских детей, под особым присмотром смотрителя той школы гарнизонного поручика Неследова».

Как большинство русских адмиралов, Сенявин в раннем мальчишестве не слышал ни гула прибоя, ни тяжелого прихлопывания парусов, ни хохота чаек, ни йодистого запаха водорослей, умирающих на берегу.

«Русский с ног до головы», он и родился, и крестился, и первые шаги сделал, «аз» и «буки» вывел, первые заповеди вы зубрил на земле русской из русских — на калужской земле. Места там такие, какие народ называет веселыми.

Вам в Боровск не приходилось заглядывать?

По мне, может, одна Верея из всех окрестных городков милее Боровска. Хотя многое в Боровске порушено временем, все ж есть на чем отдохнуть глазу в городке, в самом названии которого — слитный, целительный шум сосен.

Меня почему-то в особенности тронула старинная улица у тихой Протвы. На той улице белый в два этажа дом с металлической бляхой «Общества страхования от огня» начала прошлого века. А за изгибистой Протвой, высоко за ней, в разрыве лесов, как в раме, стоит, четко означаясь, шафранная церковь.

Да, кое-что все ж уцелело.

Однако не всегда верьте даже новейшим путеводителям. Вот и при упоминании о Комлеве — деревня, почти боровское предместье — упомянута церковь Иоанна Предтечи, где, думаю, и окунули младенца Дмитрия Сенявина в серебряную купель; про ту церковь один путеводитель сообщает: «Это безупречный памятник своего времени (начала XVIII века. — Ю. Д.), чуть-чуть суховатый, но очень величественный... Стоит церковь на холме и видна отовсюду. Пейзажу она необходима. Но церковь в таком запустении, что становится страшновато: уже нет ни трапезной, ни абсиды, ни приделов».

Теперь «безупречного памятника» уже нет. Зачем пугать путника отсутствием трапезной или приделов? Лучше «обрадовать» его грудью битого кирпича с бурями пятнами сонных овец.

В Боровске Сенявин постигал сложение и умножение не в ораве барчуков-митрофанушек, а вместе с солдатскими ребятами. Историки признают: «Немалую роль в развитии просвещения в России сыграли так называемые солдатские школы — общеобразовательные училища для солдатских детей, преемники и продолжатели цифирных школ петровского времени. Это наиболее рано возникшая, самая демократическая по составу начальная школа того времени».

Ровесник Сенявина мимоходом обронил в своем дневнике: «Лета ребяческие ничьи не интересны». Чудак! Как раз напротив — и очень интересны, и очень важны. Первые впечатления бытия сильны и знаменательны. Нет нужды изображать нашего адмирала эдаким народолюбом-семидесятником. Но, право, вглядываясь в его практику, вчитываясь в его приказы (особенно в приказ по

эскадре 1827 года, в тот приказ, о котором мы еще потолкуем), нельзя не увидеть отблески далекой боровской поры.

После провинциальной школы, «самой демократической по составу», на десятом году Сенявин попадет в другую школу, в закрытое сословное военное учебное заведение. Никак уж не применишь тут термин «демократия». Но не применишь и «аристократия». Титулованных дворян редко-редко встретишь в многотомном «Общем морском списке», обнимающем все (или почти все) русские флотские фамилии. Вельможных отпрысков, как правило, не обрекали кораблям и морю. В Морском корпусе учились недоросли небогатых и средних дворянских семей большей частью из центральных и северных губерний.

«Это было в 1773 году в начале февраля, батюшка сам отвез меня в корпус, прямо к майору Голостенову, они скоро познакомились и скоро подгуляли. Тогда было время такое; без хмельного ничего не делалось. Распростившись меж собою, батюшка сажился в сани, я целовал его руку, он, перекрестя меня, сказал: «Прости, Митюха, спущен корабль на воду, сдан богу на руки. Пошел!» — и миг из глаз сокрылся.

Корпус Морской находился тогда в Кронштадте весьма в плохом состоянии, директор жил в Петербурге и в корпусе бывал весьма редко; по нем старший был полковник, жил в Кронштадте, но вне корпуса... За ним управлял по всем частям майор Голостенов и жил в корпусе, человек средственных познаний, весьма крутого нрава и при том любил хорошо кутить, а больше выпить.

Кадет учили математическим и всем прочим касательно до мореплавания наукам очень хорошо и весьма достаточно, чтобы быть исправным морским офицером, но нравственности и присмотра за детьми не было никаких, а потому из 200 или 250 кадет ежегодно десятками выпускались в морские батальоны и артиллерию за леность и дурное поведение.

Вот и я, пользуясь таким благоприятным временем, в короткое время сделался ленивец и резвец чрезвычайный. За леность нас только стыдили, а за резвость секли розгами, о первом я и ухом не вел, а другое несколько удерживало меня, да как особого присмотра за мною не

было и напоминать было некому, то сегодня высекут, а завтра опять за то же.

Три года прошло, но я все в одних и тех же классах; наконец наскучило, я стал думать, как бы поскорее обратиться на свою волю. Притворился непонятным, дело пошло на лад, и я был почти признан таковым, но, к счастью моему, был тогда в Кронштадте дядя у меня, капитан 1-го ранга Сенявин.

Узнав о намерении моем, залучил меня к себе в гости, сперва рассказал мне все мои шалости, представил их в самом пагубном для меня виде, потом говорил мне наилучшие вещи, которых я убегаю по глупости моей, а потом в заключение кликнул людей с розгами, положил меня на скамейку и высек препорядочно, прямо как родной, право, и теперь то помню, вечная ему память и вечная моя ему за то благодарность. После обласкал меня по-прежнему, надарил конфектами, сам проводил меня в корпус и на прощанье подтвердил решительно, чтобы я выбирал себе любое, то есть или бы учился, или каждую неделю будут мне такие же секанцы.

Возвратясь в корпус, я призадумался, уже и резвость на ум не идет, пришел в классы, выучил скоро мои уроки, память я имел хорошую, и, прибавив к тому прилежание, дело пошло изрядно.

В самое это время возвратился из похода старший брат мой родной\*, часто рассказывал нам в шашбашное время красоты корабля и все прелести морской службы. Это сильно подействовало на меня, я принялся учиться вправду и не с большим в три года кончил науки и был готов в офицеры».

Кроме майора и еще одного капитана, тоже, видать, от чарки не пятывшегося, Сенявин, к сожалению, никого из наставников не упоминает. Оно и вправду, Голенищева-Кутузова, директора, воспитанники видели лишь мельком: солидно образованного Ивана Логиновича обременяли не только адмиралтейские заботы, но и гатчинские — находился он при наследнике Павле Петровиче, каковой числился генерал-адмиралом флота. Но за

\* Сергей Николаевич Сенявин прослужил во флоте двадцать с лишним лет; в 1791 году, после русско-шведской войны, из-за ранений был уволен в отставку капитаном 2-го ранга. Умер в 1818 году.

то все кадеты и гардемарины, поколения кадетов и гардемаринов знали и любили Николая Гавриловича Курганова.

Курганов учил самому важному — математике. Человек, что называется, семи пятей во лбу, он и учил, и сам писал, и переводил с иностранных языков. Созданный Кургановым «Письмовник» читали и в городах и в имениях, читали десятилетиями; Герцен назвал Курганова «блестящим предшественником нравственно-сатирической школы в нашей литературе». В годы учения Сенявина настольной у гардемарин была «Книга морской инженер». Между прочим, именно в этой книге Курганов теоретически обосновал положения об активной блокаде и обороне приморских крепостей. Те самые положения, которые, как подчеркнул историк В. А. Дивин, Сенявин мастерски осуществил в Адриатике и Эгейском море.

«Гардемарином я сделал на море две кампании. Первая в 1778 году на корабле «Преслава» от Кронштадта до Ревеля и обратно.

Будучи в Ревеле в ожидании корабля от города Архангельска, чтобы с ним соединиться и вместе следовать в Кронштадт, случилось в первых числах сентября время дождливое и холодное. После просушки парусов и прикрепления их упал у нас матрос в воду с грот-брам-рея. В тот самый миг офицеры и матросы бросились все на борт, кто кричит: «Давайте катер», другой кричит: «Посылайте барказ», иной кричит: «Бросайте, готовьте», а иной кричит: «Хватайся, хватайся», а человек еще и не вынырнул.

Суматоха сделалась превеликая, упавший матрос был из рекрут, тепло одет, в новом косматом полубубке, крепко за поясан, что и препятствовало ему углубиться далеко. Он скоро вынырнул, не робея нисколько, отдуваясь от воды и утираясь, кричал на салинг: «Добро, Петруха, дай только мне дойти на шканцы, я все расскажу; эку штуку нашел, дурак, откуда толкаться!»

Мы тогда почти все захотали. Вот что бывает с людьми. Несколько секунд назад все почти были от ужаса в беспамятстве, а потом — хохочут.

Матрос скоро взошел на корабль, повторяя те же слова на шканцах. Позвали Петруху с салинга, спрашивали, но Петруха божился, что не толкал его, а сказал ему

только: «Экой мешок, ступай на нок проворнее, а не то я тебя спихну». — «А он, дурак, взявши и полетел с рея». Тут мы больше еще смеялись и помирили их. Чудно, что, падая с грот-брам-рея, нигде он даже не зацепился и даже ни за что не дотронулся и после был совершенно здоров. Множество я видел подобных ему примеров...

В начале 1780 года нас экзаменовали, я удостоен был из первых и лучших. 1 мая произведен в мичмана и написан на корабль «Князь Владимир». Чины явлены нам в Адмиралтейств-коллегии в присутствии всех членов, вместе с тем дано нам каждому на экипировку жалованье вперед за полтрети, то есть 20 руб., да сукна на мундир с вычетом в год, да дядошка Алексей Наумович подарил мне тогда же 25 руб.

Итак, я при помощи мундира и 45 руб. оделся очень исправно; у меня были шелковые чулки (это парад наш), пряжки башмачные серебряные превеликие, темляк и эполеты золотые, шляпа с широким золотым галуном. Как теперь помню, шляпа стоила мне 7 руб., у меня осталось еще достаточно денег на прожиток...

Флот Балтийский имел тогда более 400 кораблей. Разом было на море 32 корабля, в том числе пять 100-пушечных, и некоторые из них имели всю артиллерию медную. Можно сказать, флот тогда был славный. Шведы и турки везде и всегда были побеждены и истреблены.

Старики в то время, конечно, мало знали; да иначе и быть нельзя — они знали одно только свое дело, а в дела посторонних служб не вмешивались. Румянцев, Потемкин, Суворов признавали себя чуждыми в познаниях морских, но зато прославили себя навек своим ремеслом, кажется, и довольно бы. Нет, нонича, не говоря о генералах, каждый армейский офицер анатомирует всякого рода службы и дело, хвалит, осуждает и все знает, о чем только речь пойдет.

Они рассуждают и решают важные вопросы, например: надобен ли России флот или нет, они отвечают — можно легко обойтись без флота, были бы только солдаты, к тому же прибавляют, что держание флота дорого стоит.

Петр Великий сказал, кто из государей имеет армию и флот, тот имеет две руки. В царствование Екатерины, можно сказать, при скудном положении государственных финансов, но о дороговизне содержания флота никогда и

никакой речи не было, да и не могло быть; распорядись только хорошо...

Эти говоруны ничего не знают и не понимают, они похожи, как кажется мне, на глупых тетеревов глухих, бормочут с ними одинаково, как говорится, ни складу ни ладу, с тою только разницей, что тетерева во время бормотания вредны для себя а наши глупцы вредят много государству, их, дураков, слушают и соглашаются иногда с ними.

Насчет тогдашних и нынешних распоряжений ясно можно видеть разницу и пользу оных, которые покажутся во всех отношениях, конечно, невероятны.

Беспрестанно нонича толкуют, что в Кронштадте жить матросам негде и тогда еще, когда весь флот имеет с небольшим 10 кораблей. Спрашиваю, где же помещались прежде люди, когда флот имел более 40 кораблей? Ответствую, и верно отвечаю, что помещались они в губернских домах, ныне еще существующих (то есть в домах, выстроенных на счет губерний. — Ю. Д.), в одной деревянной для артиллеристов казарме и по квартирам, ибо флигелей каменных и госпиталей (что теперь на канаве) тогда еще не было, они построены после шведской войны, и люди жили, и жили, как говорится, припеваючи. Больных было весьма мало, а о повальных болезнях никогда и слышно не было. Не теснота делает болезни, а угнетение человека в духе. (Здесь и ниже подчеркнута Сенявиным. — Ю. Д.)

В то время люди были веселы, румяны, и пахло от них свежестью и здоровьем, но нонича же посмотрите прилежно на фронт, что увидите — бледность, желчь, унылость в глазах и один шаг до госпиталей и на кладбище. Без духа ни пища, ни чистота, ни опрятство не делают человеку здоровье. Ему надобно дух, дух и дух.

Пока будут делать все для глаза, пока будут обманывать людей, разумеется, вместе с тем и себя, до тех пор не ожидай в существе ни добра, ничего хорошего и полезного».

Вспоминая, Дмитрий Николаевич забывал: свойственно памяти — «что пройдет, то будет мило». Но не только избирательность памяти окрашивала все розовым. На мемуариста (неприметно для него самого) влияли два об-

стоятельства. Сугубо личное. И неличное, а, так сказать, общефлотское; стало быть, отчасти и государственное.

Десятилетия его жизни пришлись на эпоху, которая в прежних курсах истории метилась екатерининской. Для Сенявина она озарена черноморским солнцем, солнцем большой страды, забиравшей все силы, все помыслы. А время ревельское выдалось для него мрачноватое. Оно, как тамошнее небо, затмевалось мглою и, как тамошняя морось, пробирало до костей. И Дмитрий Николаевич Сенявин, сидя за столом, за письменным своим занятием, тоже испытывал «угнетение в духе». Ибо, говоря красиво (хотя красиво говорить и не следует), Сенявин после Средиземного моря получил не лавровый венок, а терновый венец.

Рассуждая о екатерининском флоте, Сенявин был не совсем прав; рассуждая о флоте александровском, Сенявин был совсем прав.

Приводя известное изречение Петра, Дмитрий Николаевич допустил неточность, и, по-моему, нарочитую. Петр Великий говорил не о двух руках государя, нет, о двух руках «патентата», то есть государства. А Сенявин, повторяю, намеренно говорит о царе, об императоре. Почему? Да потому, что как раз Александр Павлович был отчимом «дорогостоящего» флота; детище Петра казалось ему и лишним, и чужим, и докучным; Александру Павловичу принадлежала ведущая роль в умалении русской «морской идеи».

Сенявин с умыслом клеймит не просто глупцов, а уточняет — «глухих тетеревов глухих», от которых беда державе. Фиговым листком множественного числа прикрыта нагота «числа единственного»: Александр I был туговат на ухо, непочтительные люди окрестили его «тетеревом».

Знаменательны и мысли Сенявина о том, что мы теперь называем фактором моральным: «надобно дух, дух и дух». Солдатчина никогда не была лубочной разлюбливаемой. Однако при Суворове и Румянцеве, которые «знали свое дело», — одно; и совсем другое — при Павле и Аракчееве, которые «анатомировали», но прежде того умерщвляли (конечно, из милосердия).

Заметьте, куда приглашает вас Сенявин, чтобы поглядеть на «нижних чинов»: не на палубу и не на рей, не в полевой лагерь и даже не в казарму — к фронту, на плац-парад, в «святая святых» аракчеевщины, где вы

и увидите «бледность, желчь, унылость», где никакого духа нет, кроме госпитального или кладбищенского.

И от всей этой подлости и пошлости Дмитрий Николаевич мысленно бежит в невозвратное — в причерноморские степи, на Черное море.

С удовольствием, охотно и бойко рассказывает он, как возникал Севастополь, как черноморцы бились с турками, как капитан 2-го ранга Сакен взорвал свой корабль, но не сдался...

Вот здесь-то, эпизодом 1788 года, и обрываются записки Дмитрия Николаевича. Во всяком случае, продолжение, если оно и существует, не обнаружено. И потому, ахнув, хватаешься за голову, когда Л. Г. Бескровный, автор содержательных очерков по источниковедению военной истории России, утверждает: «Большой интерес вызывают «Записки адмирала Д. Н. Сенявина», в которых описываются действия русского флота в Средиземном море». Что там «большой» — громадный: ведь основное сенявинское дело вершилось на Средиземном море! Да только где эти «описывающие записки»? Нету. А если они и ведомы автору «Очерков» (в чем позволите усомниться), то он ревниво не указал их местонахождение...

Аракчеев, отправляясь в лучший мир (хотя и в здешнем не пришлось ему солоно), завещал миллион историку царствования Александра Благословенного. Один из тогдашних писателей съязвил: лучше бы, мол, Аракчеев оставил вдесятеро меньше денег, а написал «какие-нибудь записки о своем благодетеле». И уже серьезно добавил, что записки очень и очень нужны, ибо «трудно будет историку находить правду в реляциях».

Думаю, от записок «без лести преданного» проку было бы чуть; в них обнаружилось бы правды не больше, чем в реляциях. Однако в замечании писателя — тоска по живым, неофициальным свидетельствам о миновавшем.

Ни полушки не перепало от Сенявина жрецам Клио. Но тоску и жажду их, хоть и малость, он утолил. Многие «зеркала» разной степени кривизны отобразили придворное, петербургское, парадное, фейерверочно-праздничное или альковно-екатерининское. Огорчительно мало тех, что отобразили будни «будничных» людей. И вовсе нет иных, кроме сенявинских, страничек, на которых бы так картинно запечатлелась флотская обыденность.

Почему ж он не продолжил? (Полагаю, не продолжил!) Отчего? Какая тому причина?

Писать мемуары, говорил Пушкин, заманчиво и приятно. Приятно, ибо никого так не любишь, как самого себя, иронизировал Пушкин. Писать мемуары трудно, уже не иронизируя, продолжал Пушкин, очень трудно: не лгать — можно; быть искренним — невозможность физическая.

Самовлюбленности в Сенявине не заметно. Самоанализа, свойственного другим поколениям, тоже. Очевидно, не страх суда над собственным «я» заставил Сенявина бросить перо. Что же?

Мемуары требуют досуга. А тут накатил такой вал, когда «заманчивое и приятное» откатилось.

3

Двенадцатый год, Отечественная война помнятся каждому словно бы какой-то иной, не школьной, что ль, памятью, а «священной памятью», и, войдя в сознание еще почти детское, никогда уж не отрываются от понятия «родина»...

«Есть точные указания, что впервые не только размышлять вслух о войне с Россией, но и серьезно изучать этот вопрос Наполеон начал с января 1811 года, — говорит академик Е. В. Тарле. И продолжает: — Военная и дипломатическая подготовка к концу весны 1812 года была Наполеоном в основном и отчасти в деталях закончена. Вся вассальная Европа покорно готова была выступить против России».

В России даже политические младенцы не видели в том ничего внезапного и вероломного. И Александр тоже. В этом он не был похож на Николая I. Николай принимал как личное оскорбление, как недоверие к его государственному разуму всякое упоминание о подготовке Англии и Франции к войне, названной впоследствии Крымской. Он и мысли не допускал, что кто-то может переиграть русского самодержца в политических или военных комбинациях. Александр, напротив, внимательно прислушивался к сообщениям о подготовке Франции; его дипломатическая служба (не в пример николаевской) не ежилась от страха огорчить повелителя «пренеприятными известиями».

Весною 1811 года, когда император французов «раз-



мышлял вслух о войне с Россией», было велено повысить боеспособность русского флота и главные командиры портов получили весьма подробные предписания.

Одно из них адресовалось в Ревель, вице-адмиралу Сенявину: «Государь император высочайше указать соизволил состоящие в Ревеле 15 канонерских лодок и один провиантский транспорт приготовить и вооружить для кампании к первому числу будущего апреля».

Сколачивая Великую армию, Наполеон не имел возможности сколотить Великую армаду, однако поначалу не отказывался от мысли двинуть на Россию и свои морские силы.

Об этом в Петербурге узнали не весною одиннадцатого года, а ровно годом позже — из депеши русского посла в Швеции. Смысл ее сводился к тому, что Наполеон намерен отправить на Балтийское море флотилию канонерских лодок для поддержки левого фланга своих армейских частей. И верно, Наполеон тогда планировал наступление на Петербург, а не на Москву.

Началось усиленное строительство канонерских лодок. Началось не менее спешное вооружение корабельного флота. К действительной службе срочно призвали опытейших офицеров, «повинных» в английском происхождении.

После Тильзита Александр исполнил пожелание Наполеона, похожее на приказание: удалить из флота людей с английскими фамилиями. В число изгнанных попали не только Тет и Кроун, очень дельные адмиралы, но и Белли с Грейгом, имевшие прочную боевую репутацию. Все они очутились в ссылке. Многие влачили жалкое существование, особенно Белли, сподвижник Ушакова и Сенявина.

Русские офицеры жаловались (и основательно) на предпочтение, которое правительство оказывало чужеземцам. Однако тех, что вернули из ссылки, радушно приняли на кораблях: эти служили честно, а их оскорбили в угоду Наполеону. Многим тогдашним флотским было свойственно чувство справедливости. Во всяком случае, по отношению к сослуживцам.

И как раз это же чувство, а вовсе не огульное отчуждение от людей с нерусскими фамилиями, выказалось и во флотском неудовольствии, когда Александр, воздав должное Тету, Кроуну, Грейгу и другим, «позабыл» Сенявина.

Ни у кого не возникало и минутного колебания: именно Дмитрий Николаевич, герой морей, победитель французов, именно Сенявин самым господом богом определен в командующие. Тут дело было не только в его флотоводческом даровании. Тета и Кроуна уважали, Сенявина и уважали и любили. Ничуть не обижая первых, флота лейтенант Н. Д. Каллистов отметил, что последний пользовался «восторженным обожанием подчиненных».

Однако Александр Павлович, как все самодержцы, полагал, что «восторженным обожанием» должен пользоваться лишь он, самодержец, и никто более. «Восторженное обожание», обращенное на кого-либо другого, всегда настораживало, всегда пугало верховных правителей. И этого «обожания» Александр не прощал Кутузову, не прощал и Сенявину. Русский царь говаривал, что все русские либо плуты, либо дураки. Однако плуты и дураки спокойно уживались подле трона. Не уживались те русские, которые позволяли непозволительное — мыслить самостоятельно...

Началась война. Наши армии откатывались на восток. Пал Витебск. Пал Смоленск.

Сенявин сидел в Ревеле. Над Олай-кирхой реяли ласточки. Ночные сторожа, медлительно ударяя колотушкой, выкрикивали, который час.

Армия Кутузова отходила.

Эскадра адмирала Кроуна следовала из Архангельска на Балтику. Кронштадтская эскадра адмирала Тета готовилась кграничному походу: действовать вместе с англичанами.

Сенявин сидел в Ревеле. Густела зелень Екатериненталя. Рейд отражал пухлые кучевые облака. Старики удрили рыбу.

Громадная война решала судьбу родины.

Сенявин сидел в Ревеле. Были страшные дни, страшные недели: очень тихие и очень спокойные. На свинцовых и черепичных крышах тлели отсветы нежаркого солнышка. На зорях стучала повозка молочника. Море простиралось чуть замглившееся.

Он сидел в Ревеле. О нем не вспоминали. Он послал «всеподданнейшее прошение» — назначьте в дело, дабы «служить противу неприятеля». Царь не ответил. Может, прошение не дошло до царя?

«Милостивый государь мой, Дмитрий Николаевич!

На всеподданнейшее прошение вашего превосходительства, представленное мною государю императору относительно желаний вашего служить противу неприятеля, его величество вопрошить изволил: «Где? В каком роде службы? И каким образом?» О чем уведомляя вас, милостивый государь мой, есмь с истинным почтением и преданностью вашего превосходительства покорнейший слуга, маркиз Иван Траверсе».

Сутки, как в беспамятстве, Сенявин не брался за перо. Потом написал морскому министру:

«Милостивый государь маркиз Иван Иванович! Вчера, с приездом курьера, я получил письмо вашего высокопревосходительства от 31 числа минувшего июля (1812 года. — Ю. Д.) за № 1570 и вследствие высочайшего его императорского величества вопроса, объявленного в оном письме, где? в каком роде службы? и каким образом? желаю я служить противу неприятеля, ответить вашему высокопревосходительству честь имею.

Намерение мое есть, по увольнении отсюда, заехать в Петербург и, повидавшись с женою и детьми, ехать потом к маленькому моему имению... Там отберу людей, годных на службу, возвращусь с ними в Москву, явлюсь к Главному предводителю второй огады, подкрепляющую первую, и вступлю в тот род службы и таким званием, как удостоены будут способности мои. Наконец, буду служить таким точно образом, как служил я всегда и как обыкновенно служат верные и приверженные русские офицеры государю императору своему и отечеству».

Шла война национальная, отечественная. Сенявин, нарочито повторив издевательские вопросы царя, предложил себя народной войне. Он хотел вступить в ополчение, хотел защищать Москву вместе с крестьянами. Он не оговаривал себе никаких чинов, никаких должностей: «как удостоены будут способности мои».

Маркиз Иван Иванович де Траверсе мог занимать кресло морского министра, не выиграв ни единого морского сражения. Дмитрий Николаевич Сенявин не мог служить так, «как служил всегда». Ему отказали даже в праве на боевую, солдатскую смерть.

Он подал в отставку.

Император, не сказав ни слова, уволил его.

Прибавить к тому нечего.

Строки послужного списка:

«По прошению уволен от службы...» — апрель 1813-го.

«Вне службы находился 12 лет, 8 месяцев и 3 дни — декабрь 1825-го.

Какая точность, какое бесстрашие! Впрочем, чего ж требовать от формуляра? Но в формуляре, как в футляре, упрятаны годы и годы сенявинской жизни.

Отставка Сенявина — это не только години, когда Аксаков видел «господина, так гадко одетого», когда «великий человек» почти христарадничал. Отставка Дмитрия Николаевича — это пора, когда он ждал, «чтоб с сумрачной зарей погас печальной жизни пламень».

Некий автор «Воспоминаний и впечатлений» оставил «впечатление», сжимающее сердце: «Дмитрий Николаевич Сенявин, этот знаменитый адмирал и политик, находился в полнейшем забвении», он жил в домишке «на пустыре, вблизи казарм Измайловского полка. Летом, во всякое время, можно было его видеть задумчиво сидящим на деревянной лавочке у ворот своего дома».

Пустырь под бледным питерским небом. Рядом, в слободе, — барабан, отбивающий такт аракеевщины: десять убей, одного выучи. И не в такт с барабаном — черные думы.

Еще весною десятого года Дмитрий Николаевич представил «по команде» длинный, обстоятельный рапорт; вот этот рапорт в отрывках:

«Отправленные из Кронштадта в 1804, 1805 и 1806 годах три дивизии (то есть эскадры. — Ю. Д.) и особо бывшая до того еще в Корфу дивизия из Черноморского флота составили эскадру из 15 кораблей, 6 фрегатов и до 20 других военных судов, которая состояла на Адриатическом море и в Архипелаге и которою я имел честь командовать.

Самое время, в которое дивизии сии вышли из портов, показывает, что сколь избыточно ни были они снабжены в России, но в продолжение пребывания их за границей, считая до прибытия моего в Англию, то есть по октябрь месяц 1808 года, все запасы не могли быть достаточны к содержанию всех судов в должной исправности.

В бывшую войну с Францией я должен был, во исполнение данных мне высочайших е.и.в. повелений, иметь

все суда в движении и, следственно, во всегдашней готовности к действиям; и сколь чувствительные на то требовались издержки, столь затруднительные были способы к получению наличных денег.

Не распространяясь описанием предстоявших затруднений, я приведу токмо на вид, что от переводов денег, которые доходили ко мне через третьи и четвертые руки и по низкому курсу, казна имела великий убыток. К сему я присоединить должен, что доставленный от правительства еще до прибытия моего в Адриатическое море к контр-адмиралу Грейгу кредитив на 100 000 руб. не мог быть употреблен в дело и мною возвращен государственному казначею.

Оба сии обстоятельства я привожу для того, чтобы показать, сколь убыточно, затруднительно и даже вовсе невозможно было получение наличных денег. Впрочем, сие правительству совершенно известно.

В 1807 году настала война с турками. С оною представилась надобность привести эскадру в явщую исправность соответственно новым данным мне высочайшим повелением, но с тем вместе прекратилось сообщение с черноморскими портами, откуда невозможно уже было получить ни припасов на вооружение судов, ни провизий для продовольствия морских служителей и сухопутных команд, кои для десантов были необходимы.

Итак, все доставать должно было за наличные деньги, но получение оных тогда еще более затруднилось. Находясь в таковом положении, я должен был обратить попечение к различным предметам, то есть к неотложному удовлетворению предстоящих надобностей, к сбережению, по возможности, казенной пользы и к соответственным тому хозяйственным оборотам. Потому старался я заимствоваться деньгами сколько возможно меньше, и счета мои показывают, сколь ограниченны чинимые мною издержки.

К уменьшению займа денег я нашел себя в необходимости обратиться на казенные надобности всю сумму, какая состояла в моем ведомстве, принадлежавшая морским командам, и для того не только не выдал им заслуженного жалованья и следующих им по закону от казны призовых денег, но, сверх того, удержал 106 507 голландских червонцев, которые выручены были за проданные призы, которые состояли налицо и которые я обязан был тогда же им раздать...

По прибытии моем в Россию я представил о сем, куда следовало, счеты; но команды не только следующих им от казны вышеписанных призовых российской монетою денег, но и собственных их, употребленных мною на казенные надобности, равно как и заслуженного ими жалования, еще не получили...

Выше приведено, что казна осталась должною командам 281 917 голл. червонцев и 635 367 рублей... показанная сумма составляет на ассигнации  $4\frac{1}{2}$  миллиона рублей... К тому я смею присоединить еще, что если бы сию сумму раздал я служителям, а на место оной, по позволению министра морских сил, занял бы такое же число, то сколько казна через то понесла бы убытку от заплаты процентов, за комиссию, по упадку курса и на другие издержки?

Но, употребляя деньги, принадлежащие командам, в противность моего звания, которое я имел честь носить, главнокомандующего эскадрой, я уверил команды, что по прибытию в Россию долг мой будет пецись о возвращении собственности их, мною самовластно удержанной для пользы службы и казны. Они мне верили и не только не роптали за то во все время бытности за границую, но и по возвращению в Россию уже около 8 месяцев удерживаются просить им принадлежащего, конечно, оставаясь в уповании на мое ходатайство».

Вот в чем была его жгучая мука. Не мог он, не в силах он был всем и каждому из прежних своих подчиненных разобьяснять, что Государственный совет решил так, а государственный контролер «встретил затруднения», что департамент экономии определил так-то, а другой департамент так-то.

Лишь в ноябре 1817 года, спустя восемь лет по сдаче отчетных документов, назначили возместить морякам Сенявина три миллиона четыреста тридцать пять тысяч двести семьдесят шесть рублей и восемь копеек. Эти восемь копеек, должно быть, свидетельствовали о тщательности восьмилетних подсчетов?

Восемь лет ходил Сенявин, опуская глаза при встречах с сослуживцами. Восемь лет обивал казенные пороги, ощущая на себе косящий взгляд любой торжествующей свиньи, никогда не нюхавшей пороха, и ловил насмешки столоначальников, никогда не слышавших свиста ядер. Восемь лет старел и горбился на мостовых Петербурга,

занимая прожиточные рубрики и недоумеая, отчего это господь не призвет его к себе...

Да, восемь лет убито. Однако и теперь, осенью семнадцатого года, хотя и вышло определение об уплате, но еще долго-долго дожидаться «высочайшего утверждения».

А тот, кто «высочайше утверждал», давно прочел письмо, похожее на вопль: примером достойнейших людей, умиравших в нищете, оставляя жен и детей «в самом горьком положении», этим примером я, Сенявин, еще могу жить; «но от стороны чести, государь, чувствительность уязвляет меня до глубины души»; «я соделываюсь виновником лишения собственности даже служителей вашего императорского величества, сих верных и мужественных воинов...»

Из Зимнего ни звука.

Сенявиц, несомненно, понимал, откуда дует ветер.

Жалкий Греч назвал морского министра де Траверсе «жалким». Но дело было не в маркизе-царедворце. И не в директорах департаментов или членах комиссий, не в контролерах и казначеях, хотя все они приложили холодную руку к сенявинскому «вопросу».

Не со своим временем конфликтовал Сенявин и не со своей средой. Сенявин конфликтовал с личностью, которая была недостаточно личностью, чтобы быть выше личного, но вместе с тем была достаточно личностью, чтобы одним поджатием губ диктовать свои желания машине державного делопроизводства.

«Характер императора Александра мало выяснен», — задумчиво молвил Герцен. Кажется, он не совсем прав. Конечно, в любом человеке есть что-то «мало выясненное». Однако множество высказываний о «Благословенном», и притом высказываний отнюдь не противников монархии, слагаются в весьма ясный портрет этого монарха.

Вот тот же Греч: «Злопамятен; не казнил людей, а преследовал их медленно... О нем говорили, что он употреблял кнут на вате».

Шведский дипломат: «Фальшив, как пена морская».

Прусский канцлер: «Властолюбие и коварство под плащом любви к людям и благородного либерального настроения».

Голландская королева: «Кокетка».

Русский генерал: «Дух неограниченного самовластья, мщениия, злопамятности, недоверчивости, непостоянства

в обещаниях, обманов и желания наказывать выше законов. Но таковые его поступки оказывал он наиболее против одних военных людей... А также нужно упомянуть и об особой его склонности и внутреннем удовольствии продолжать, сколько можно, несчастья человека».

В последней характеристике примечательно отношение к военным. Марсово поприще манило Александра Павловича. Там он намеревался блистать, но именно там выказал унылую тусклость. И потому блестящие военные таланты ему хотелось ущемлять и унижать в первую голову.

Александр не терпел Кутузова. Однако гроза двенадцатого года не позволила обойтись без Кутузова. Без Ушакова и Сенявина обойтись удалось: помог континентальный оборот антинаполеоновской войны.

Кутузов умер еще до окончания войны, хотя исход ее уже был предрешен. Но Михаил Илларионович умер и тем избавил Александра от «дележки» лавров. С Ушаковым делить было нечего. К тому же Ушаков канул в тамбовской глухомани, где и кончился.

Но вот с Сенявиным! Как ни держи его в небрежении, с Сенявиным приходилось считаться, хотя бы потому, что этот вице-адмирал был «ходячим» укором, несносным напоминанием о том, о чем лучше было бы позабыть. Этот вице-адмирал поступал в Адриатике вопреки августейшей воле (и за сие еще получал монаршие похвалы); на сенявинской эскадре после Тильзита был «дух нехорош»...

Как все слабые люди, Александр не прощал тех, кто видел его слабость: Кутузову — свое аустерлицкое унижение, Сенявину — послетильзитское. Особенно выигранную Сенявиным тяжбу с Наполеоном за судьбу эскадры и моряков, тяжбу, в которой он, Александр, уступил. Теперь, когда Наполеон был сокрушен, Александр Павлович очень хотел, чтобы все думали о том, как русский император всегда и везде, при любых обстоятельствах был, что называется, на высоте. Но в том-то, видимо, и штука, что Александр сознавал: этот вице-адмирал так думать не станет; не то чтобы не может так думать, а не хочет, не станет, и баста.

Как все некрупные фигуры, Александр подозревал фигуры крупные в тайном уменьшении его, Александра, значимости. Он был ревнив. Старые психологи остроумно определяли манию величия: повышенное самочувствие.

Повышенное самочувствие в душах, подобных душе Александра, перемежается с самочувствием пониженным, но воображение терзает самолюбие в обоих случаях.

Наконец, этот вице-адмирал, словно назло ему, Александру, сберег и людей и деньги. Старика Прозоровского однажды попрекнули затратами на лечение нижних чинов; фельдмаршал ответил: «Русский солдат дороже серебряного рубля!» А этот вице-адмирал и людей сэкономил, и серебряные рубли сэкономил. Да еще во времена острой нехватки матросов и недостатка звонкой монеты.

Казалось бы, самое отношение Сенявина к коронным нуждам, к финансам государства должно было бы радовать тогдашнего «хозяина земли русской». Но в том-то и суть, «хозяину» втайне претило все, что выдавалось из общедворянской нормы нравственности, или, вернее, безнравственности.

И Екатерина, столь нарумяненная Сенявиным, и Павел, столь ему неприятный, доили казну своею собственной рукой. «Государственное имущество», «государственное добро» представлялись категориями почти заумными. И если, например, адмирал Мордвинов толковал о таких отвлеченностях, «тузы» усмешливо или злобно пожимали плечами: Николай Семеныч «больно затейлив».

В то самое время, когда Сенявин изворачивался, страшась обременять бюджет, генерал Савари видел толпу петербургских вельмож, «алчущих роскоши» и прибегающих к «непозволительным средствам», проще сказать, к размашистому грабежу казенного сундука.

А тут, извольте радоваться, этот вице-адмирал тычет в нос свою бережливость, да еще в придачу выставляет бескорыстие офицеров и матросов, которые «удерживаются просить им принадлежащее».

Александр душил Сенявина, но в бархатных перчатках; он его стегал, но кнутом на вате. И все же унижение Сенявина не сравнишь с долей Барклая-де-Толли:

Как часто мимо вас проходит человек,  
Над кем ругается слепой и буйный век,  
Но чей высокий лик в грядущем поколеньи  
Поэта приведет в восторг и умиленье!

«Век» не ругался над Сенявиным. Его понимали, ему сочувствовали. И не только те, кто был с ним в морях и сражениях. В одном письме к императору (в списках оно ходило по рукам) прямо заявлялось: несправедно го- ним Сенявин, заслуживший своими достохвальными по-

ступками уважение нации. Иван Федорович Крузенштерн, первый русский кругосветный плаватель, составляя атлас Тихого океана, нарекает именем Сенявина южно-сахалинский мыс. Генерал Мертваго, друг Державина, указывает на Сенявина: «Это великий человек!» А Булгаков, сын екатерининского посла в Турции и брат молодого дипломата, посетившего эскадру Сенявина в Эгейском море, москвич Булгаков даже через край хватил: «Далеко Ушакову до Сенявина!» Многие, очень многие при виде Сенявина вспоминали ломоносовское: «Почтен и в рубище герой».

В 1818—1819 годах издаются книги, посвященные сенявинской эпопее: «Записки морского офицера» (в четырех частях) капитан-лейтенанта Владимира Броневского; «Воспоминания на флоте» (в трех частях) дипломатического чиновника Павла Свинына.

И Броневский и Свинын прибежали за советами и справками к своему главному герою. Но Броневский сверх того имел доступ в Адмиралтейский архив. Последнее обстоятельство плюс специальные знания придали его «Запискам» больший вес. Впрочем, Броневский взял верх не только этим.

Свинын — он занялся литературой, приступил к изданию «Отечественных записок», — Свинын, пожалуй, слишком витийствовал. А Броневский... Мы располагаем двумя отзывами. Между ними огромный разрыв во времени: один появился почти тотчас, а другой спустя чуть ли не полтора века.

Рецензент петербургского журнала писал: «...Сочинения мореходцев наших имеют отличительный характер: какую-то особенную твердость и правильность мыслей, точность, подробность и ясность в описаниях, благородную свободу в суждениях, пламенные чувства дружбы и бескорыстия, слог простой, не у всех и не всегда совершенно правильный, но всегда ясный, твердый и чистый... Сочинение г. капитан-лейтенанта Броневского может быть поставлено наряду с лучшими произведениями наших мореходцев-литераторов. Один предмет одного уже достоин всего внимания отечественной публики: кампания вице-адмирала Сенявина составляет блистательнейший период в летописях Российского флота, и чем более время удаляет ее из памяти и воображения современников, тем важнее, тем драгоценнее должны быть известия, сообщаемые о ней очевидцами отечеству и свету».

Спустя много-много десятилетий Константин Паустовский говорил студентам Литературного института:

— Недавно мне попала книга «Записки морского офицера», о кампании Сенявина. Там потрясающее языковое богатство, хочется взять и выписывать целыми страницами — так великолепно построена фраза и так много свежих, забытых, очень точных слов, которые весьма пригодятся в нашу эпоху\*.

На сочинение Броневского подписывались у книгопродавцев и — по тогдашнему обыкновению — у сочинителя, в доме на углу Невского и Литейного. Среди подписчиков встречаешь имена Батюшкова и Кюхельбекера, Василия Львовича Пушкина, историка Малиновского... Имена подписчиков свидетельствуют о «внимании отечественной публики» к сенявинской одиссее, к опальному «одиссею». Встречаешь, конечно, и моряков. Большею частью офицеров Гвардейского флотского экипажа, квартировавшего в столице. А среди них и лейтенанта Николая Дмитриевича Сенявина.

Своего первенца адмирал отдал в Морской корпус. В 1814 году Николай стал мичманом; плавал он на линейном корабле «Орел», на фрегате «Россия»; в 1816-м Сенявина-младшего определили в Гвардейский экипаж.

Один литератор говорил, что мысль о Гвардейском экипаже возникла на Немане, когда гребцами на шлюпке Наполеона были матросы-гвардейцы в синих куртках с красными шнурами. Так иль не так, но русские матросы-гвардейцы сражались с французами на суше и дошагали до Парижа. Много лет спустя около сотни из них (в составе всего Гвардейского экипажа) дошагали до Сенатской площади. Офицеры Гвардейского экипажа чуть не поголовно принадлежали к оппозиционному слою офицества.

Николай Сенявин служил в Гвардейском экипаже до весны 1820-го. С ним вместе, стало быть, служили и будущие декабристы. Понятно, людей такого умонастрое-

\* Кстати сказать, Владимир Броневский в 1822 году был избран почетным членом Вольного общества любителей российской словесности. Кроме ценнейших «Записок», он опубликовал «Путешествие от Триеста до Петербурга» — рассказ о возвращении в Россию части сенявинцев, «Письма морского офицера» — литературную обработку бумаг участника сенявинского похода Н. Коробко, «Обозрение южного берега Тавриды», «Историю Донского войска» в 4 книгах, перевел один из романов Вальтера Скотта.

ния тянуло к Дмитрию Николаевичу, и нет ничего удивительного в том, что Сенявин-младший познакомил товарищей-моряков со своим отцом.

Однако и тот из будущих декабристов, кто не знал Сенявина лично, о Сенявине слышал, о Сенявине читал. Его патриотизм неказенного цвета не мог не imponировать; его отношения как с подчиненными в прошлом, так и со «сферами» в настоящем не могли не вызывать симпатии, а его опала не могла не волновать и не возмущать. И отсюда с легкостью заключалось: Дмитрий Николаевич Сенявин враждебен режиму.

Как Мордвинова и Сперанского, так и Сенявина, не привлекая в тайное общество, прочили в состав будущего правительства будущей России. Об этом есть в следственных бумагах «о происшествии 14 декабря» показания Николая Бестужева, Пестеля, Сергея Муравьева-Апостола, Давыдова... Сколь ошибочным и наивным было мнение дворянских революционеров, мы еще увидим.

Но вот первенец адмирала окутывался тем дымом, что без огня не бывает. Об его участии в нелегальном обществе в годы экипажной службы, кажется, ничего не слышать. Однако едва он меняет флотский мундир на лейб-гвардейский (причина перемены мне неясна), едва идет поручиком в Финляндский полк, едва поселяется в казарме на 19-й линии Васильевского острова, как тотчас оказывается в кружке, где «занимаются конституцией». И весьма скоро попадает впросак. Лейбгвардейца тянут в канцелярию петербургского генерал-губернатора. К счастью, Милорадович, не лишенный прекраснотушия и лишенный полицейского нюха, поверил — или сделал вид, что поверил, — в непричастность к крамолу Сенявина-младшего.

Примерно в то же время (ноябрь 1820 года) Сенявин-старший явился на Литейный, 109 и велел дежурному чиновнику доложить о себе графу Виктору Павловичу.

Управляющий министерством внутренних дел граф Кочубей был некогда в «Негласном комитете» молодых друзей молодого императора; об этой компании нам уж случалось упоминать в связи с Чарторижским. За годы, протекшие после тихой кончины «Комитета», Виктор Павлович не утратил прекрасных манер и по-прежнему выглядел «европейцем». Не утратил он и ту жажду, которую его знакомый определял как «жажду назначений, отличий и в особенности богатства». Тот же мемуарист

говорит, что на заре Александрова царствования Виктор Павлович хоть и «высказывал либеральные взгляды, но всегда с какой-то недомолвкой, так как эти взгляды не могли совпадать с его собственными убеждениями». Эти убеждения он тоже сохранил, а либеральные взгляды утратил вчистую...

Дежурный чиновник вернулся в приемную и пригласил его превосходительство к его сиятельству. Их диалог восстановим: весьма подробная запись сохранилась в бумагах одного советника, а эту запись опубликовал в 1875 году московский журнал «Русский архив».

С е н я в и н: Я долгом своим счел тотчас обратиться к вам, как к министру полиции, а потом и к здешнему всеенному генерал-губернатору, по одному обстоятельству, о котором вчера уведомился и которое поразило меня самым чувствительным образом. Мне сказано было, будто существует здесь какое-то тайное общество, имеющее вредные замыслы против правительства, и что меня почтичают начальником или головою этого общества. Всякому легко понять, сколько подобное заключение должно быть оскорбительно. Служив всегда с честью, приобрев и чины и почести, имея большое семейство и от роду 60 лет, я с прискорбием вижу себя подобным образом очерненным, тогда как, вышед в отставку, живу почти в уединении и мало куда езжу.

К о ч у б е й: Я должен прежде всего объяснить вам заблуждение ваше, что я есть министр полиции. Министрство это его величеством уничтожено: с минованием трудных военных обстоятельств государь император не признал существование его нужным в спокойное время... Я тем не менее не скрою, что слышал о существовании какого-то тайного общества, но не слышал, чтобы вы были главным оружием общества. Не имея чести вас знать и имея честь в первый раз видеть вас у себя, никак бы этому не поверил: всегда слышал о вас как о человеке благородном и благомыслящем... Но вы, ваше превосходительство, конечно, об обществах вредных слышали так же, как и я?

С е н я в и н: Никогда. Вчера только в первый раз об этом услышал, когда было сказано мне, что я принадлежу к какому-то обществу и есть оно начальником.

К о ч у б е й: Кто вашему превосходительству это сказал?

С е н я в и н: Позвольте, ваше сиятельство, чтобы я этого, по крайней мере до времени, не открывал. Честь моя требует не компрометировать приятеля, который со слезами открыл это гнусное обвинение. Об обществе, я повторяю вашему сиятельству, мне ничего не известно; я никуда почти не езжу... Но чтобы мне войти в какие заговоры! Как можно было выдумать подобную гнусную клевету! Я уверен в доброте государя, и самодержавное правление есть для нас самое лучшее... Я теперь же обращаюсь к военному генерал-губернатору. Мне сказывали, он уже будто бы доносил государю о заговоре, в коем я должен быть начальником. Объяснясь с графом Милорадовичем, я намерен писать его величеству и, представя оправдание свое, просить об исследовании и удовлетворении по обстоятельству, оскорбляющему мою честь.

К о ч у б е й: От вас зависит объясниться с генерал-губернатором. А намерение ваше оправдаться перед государем не может не быть одобрено. И это, конечно, соответствовать будет и имени вашему, и степени, до которой вы в службе достигнули...

В диалоге адмирала и министра мною опущены подробности частной жизни Дмитрия Николаевича. А он этих подробностей наскзал много: когда и кого навещает (названы, между прочим, адмирал Мордвинов и Василий Степанович Попов, бывший некогда правой рукою Потемкина, а теперь слепой старец); когда и каких дам навещает супруга Тереза Ивановна; упомянуты «очень хорошие молодые люди», музицирующие с его дочерьми; сообщены даже размеры ставок в карточной игре.

Человеку, убежденному в своей чистоте пред властями, следовало ограничиться «благородным негодованием». Но Сенявин, видать, не был убежден в подобной убежденности самих властей. У властей могла быть та же логика, что и у недругов властей: опальный, оскорбленный адмирал — естественный противник если не монархии, то царствующего монарха. А власти, известно, ревностнее защищают носителей принципа, нежели сам принцип.

Да, Сенявин опасался подозрений правительства. В кабинете министра, не отвлекаясь и не сбиваясь, он развивает две темы. Во-первых, выпячивает личную аполитичность: смотрите, мол, весь как на ладони, «мало куда езжу». Во-вторых, высказывает личные политические взгляды, хотя об этом его не спрашивают.

Дмитрий Николаевич старательно подчеркивает свою «необязанность» («приобрел чины и почести»), свою признательность Александру Павловичу («доброта государя»). Тут он кривит душой. Какие, к черту, достались «почести»? И какая «доброта» у государя, ежели годами не платил по законным счетам и годами держал в пыльном забвении? Но вот когда Сенявин говорит Кочубею о своем отношении к революции как к резне, когда говорит о самодержавии как наилучшем правлении «для нас», вот тогда он душой не кривит.

В сенявинском посещении министра слышится не только «благородное негодование», но и весьма неблагородный страх, свойственный российскому обывателю, в каких бы чинах ни был. Даже если он храбрец на поле брани. Одно дело не страшиться ядер, а совсем иное — «всевидящих очей».

Кажется, граф Кочубей разделял не высказанную собеседником мысль о возможности подозревать в чем-то крамольном адмирала, не пользующегося благоволением свыше. А иначе зачем бы, для чего бы поощрил Сенявина: ваше, мол, желание «оправдаться перед государем не может не быть одобрено»?

Академик Тарле так комментирует диалог Кочубей и Сенявина: «лукавый министр», очевидно, сам «вздурожил» через подосланных лиц» вице-адмирала; «этот прием был в большом ходу в подобных случаях».

Осмелюсь доложить — ошибка двойная. Первая вот в чем: провокация как «прием» действительно была в «большом ходу», но позднее; тайная полиция времен де Санглена и Кочубея не чета тайной полиции Плеве и Судейкина; политический сыск при Александре I еще не изощрился так, как при Александре III. Другая ошибка из-за того, что историку остался неизвестен некий корнет.

Уланский офицерик Ронов подрядился поставлять сведения «по части полиции». Подвизаясь на поприще «чтения в сердцах» и, кажется, пользуясь каким-то дальним родством, он втерся в дом вице-адмирала. Познакомился с его сыном-поручиком и что-то такое вынюхал о «занимающихся конституцией».

Нужно признать, Ронов верно взял след: Сенявин-младший состоял в тайном обществе «Хейрут». Общество это, как бы дочернее Союзу благоденствия, организовал литератор Федор Глинка,

Корнет Ронов наваял донос. Донос, как все подобные бумаги, поступил в канцелярию генерал-губернатора Милорадовича. А при Милорадовиче состоял чиновником по особым поручениям для сбора сведений о подпольных кружках... Федор Глинка. (Таким образом, Глинка предвосхитил Клеточникова, знаменитого в героической истории «Народной воли».)

Милорадович и Глинка были не только сослуживцами; они коротко сошлись на войне. Милорадович доверял Глинке, не проверяя Глинку. Но все же последнему в связи с делом поручика Сенявина грозило изобличение. И Глинка, понятно, не пожалел сил, чтобы «изобличить мальчишку Ронова».

Милорадович вымыл сукиному сыну голову. А вскоре Ронova вышибли из гвардии за поступки, несвойственные офицерскому званию: якшание с политической полицией и тогда, и много позже претило морали военных. «Подготавливая» Милорадовича к объяснению с Роновым, Глинка, конечно, подготовил и Сенявина-младшего к очной ставке с корнетом. Поручик держался осанисто, все начисто отверг, и Милорадович счел его невиновным.

О доносе на сына узнал Сенявин-старший скорее всего от своего же сына. Ну а от кого же узнал адмирал о том, что он сам, дескать, «возглавляет тайное общество»? Если и не от сына, если и не от Глинки, то от их друзей. Вот они-то, а вовсе не мифические, подосланные Кочубеем провокаторы «вздурожили» Дмитрия Николаевича. Однако чего ради, с какой целью? Неясно. Не ради ли вынужденного самоприкрытия?

## 5

Если Кочубей не до конца верил Сенявину, то Кочубей ошибался. Если декабристы верили в Сенявина, то и они ошибались.

Один наблюдательный человек отметил: в преклонных летах даже философ невосприимчив к новым идеям. Сенявин философом никогда не был.

Один проницательный историк отметил: молодые дворяне декабристского толка ставили честь выше присяги. Сенявин никогда не разграничивал эти понятия.

С отрочества до гроба он не менял политических воззрений. Тех, что высказал графу Виктору Павловичу.



Восстание 14 декабря 1825 года было для него военным бунтом. Военный бунт карался смертью. Сенявин мог и не оказаться в числе официальных судей, судивших декабристов. Сенявин не мог не оказаться в числе тех, кто сурово осуждал декабристов.

Он осудил бы восставших, случись «происшествие» 14 декабря и при жизни Александра I, к нему, Сенявину, недоброго. «Происшествие» случилось в начале царствования Николая I. И потому к общим мотивам, определившим позицию Сенявина, прибавился частный.

Отставного вице-адмирала извлекли из забвения вскоре после вооруженного выступления на Сенатской площади. Не знаю, сам ли Николай вспомнил его или нашелся какой-то ходатай. Как бы там ни было, Сенявина не только призвали на службу, но и пожаловали в генерал-адъютанты, то есть сделали особой важной, исполняющей личные поручения государя.

В июне 1826 года шестерых генерал-адъютантов «прикомандировали» к Верховному уголовному суду. Среди них и Сенявина.

А в середине марта двадцать шестого года его первенец, избежавший решетки в двадцатом, очутился под замком. Капитана лейб-гвардии Финляндского полка отвезли не в Петропавловскую крепость, а на гауптвахту Главного штаба. Стало быть, Сенявина-младшего винили не в прямой принадлежности, а в некой «прикосновенности» к тайному обществу.

Новейший биограф, упомянув о назначении флотоводца членом Верховного суда, ужаснулся: Николай I заставил-де отца судить сына: «легко можно представить себе, каким кошмарным было для старого адмирала лето 1826 года».

Нет, отнюдь не «легко». И вот почему.

Николай I расправлялся с детьми, сынами, сыновьями: детьми Двенадцатого года, сынами молодой России, сыновьями старых отцов. Но отцов не заставил он судить родных сыновей.

У сенатора Муравьева-Апостола трое сыновей оказались «злодеями». Как раз по сей причине сенатора избавили от участия в судилище. Что ж до Сенявина-старшего, то ему... ему вернули сына.

Уже в июньских записях «Журнала входящим бумагам» лейб-гвардии Финляндского полка зарегистрирован как ни в чем не бывало очередной, самый обыкно-

венный рапорт Сенявина-младшего о выдаче «из казенного ящика» денег на ротные нужды\*.

Оказывается, Николай I «вменил в наказание» отсидку на гауптвахте да и отправил капитана в казармы на Васильевском острове.

Тогда-то, думаю, и возникло в душе Сенявина-старшего чувство признательности, чувство благодарности. Однако, повторяю, не этими эмоциями определялась сущность его судейской позиции.

Кроме Сенявина, в составе Верховного суда находились еще двое из декабристских кандидатов в состав будущего правительства: Сперанский и Мордвинов. Сперанского не трону; о Мордвинове, пусть вкратце, сказать надобно.

Не оттого, что Мордвинов был давним, еще с черноморской поры, доброжелателем и покровителем Сенявина, и не потому, что они и стариками дружили. Важнее сейчас оценки Мордвинова такими людьми, как Рылеев, Пушкин, Герцен.

«Уже полвека он Россию гражданским мужеством дивит» (Рылеев); «новый Долгорукой», то есть нелюбимый спорщик с царями (Пушкин); «умнейший государственный человек», «дерзкий старец, приводивший Николая в ярость» (Герцен).

И вот этот человек вместе с Сенявиным приезжал на заседания Верховного суда, рядом с Сенявиным сидел в кресле малинового бархата, в «зале общего Сената собрания». И вместе с Сенявиным определял участь героев 14 декабря.

Правда, решали они по-разному: Мордвинов требовал смягчения; Сенявин, что называется, полной меры. Это, понятно, существенно. Но факт есть факт. Привожу его единственно затем, чтоб еще раз подчеркнуть: биограф не вправе держаться правила — о мертвых либо хорошо, либо ничего. Это «хорошо» — хорошо на поминках, а это «ничего» — ничего не дает...

Итак, судоговорение кончилось. Но последнее слово — слово царское. И в Царское Село везут не приговор, а «всеподданнейший доклад».

Николай произнес последнее слово.

Под сводом сумрачных Иоанновских ворот прокатился долгий гул: в крепость, «одетую камнем», вступил ба-

\* ЦГВИА, ф. 2586, оп. 2, д. 448, запись № 889.

тальон Павловского полка. Батальон должен был удвоить караулы, и батальон удвоил караулы.

Засим в крепость, где куранты вызванивали «Коль славен», прибыли господа члены Верховного суда: сенаторы, генерал-адъютанты, действительные тайные советники — лысины и седины, геморрой и подагры, шарфы и ленты, эполеты и шпаги.

«Секретарь Сената, стоя у апалоя, называл по имени каждого преступника и к чему он приговорен с высочайшего утверждения». Приговоренные, спокойно повествует мемуарист, «имели на себе те же платья, в которых были взяты, только, натурально, без шпаг. Многие из них были даже в полных мундирах».

И многие из них принадлежали к флотскому «сословию», Сенявину дорогому и близкому. Быть может, адмирал узнал и тех, что приходили к нему в дом вместе с Николенькой.

Решать чью-либо участь на бумаге — это одно; смотреть в глаза человеку, чью участь ты решил, — совсем другое. Пусть закон есть закон, пусть военный бунт есть военный бунт, пусть и без него, Сенявина, дело решилось бы так, как оно решилось, и все ж, полагаю, тяжелое, муторное, угнетенное чувство завладело Дмитрием Николаевичем при виде обреченных молодых людей...

6

Если говорить о главном, то Сенявина извлекли из забвения вовсе не затем, чтоб он заседал в «зале общего Сената собрания».

Другая, не Сенатская площадь была в Санкт-Петербурге: Адмиралтейская. Было в Санкт-Петербурге другое, не сенатское здание: блистательное захаровское Адмиралтейство. Вот куда Дмитрий Николаевич езживал охотно и часто. Там он чувствовал себя у себя и среди своих.

Возвращенный на флот, он получил назначение членом Комитета образования флота. Не краснобаи сходились на заседания этого комитета: моряки боевые и моряки-ученые. Даже в отдаленном родстве не состоял этот комитет с теми, кои на Руси окрестили комитетами по утаптыванию мостовых.

Зимой двадцать шестого года Сенявин работал над «Запиской», рассуждая о «предметах, которые составляли главнейшее занятие» всей его жизни. Мысли свои

излагал он «со свойственной старому служителю открытостью»: наилучший способ возродить морскую мощь — это возродить воинский дух минувших времен, то есть, в сущности, традиции и обыкновения Ушакова, когда «флот наш был страшен соседственным державам», когда он был «предметом ревности и беспокойства» даже англичан\*.

Уж не отрицал ли Сенявин новизну? Нет, отметил «новшества» вроде памятного ему комического повеления императора Павла именовать яхту... фрегатом. Повелеть-то можно все, что угодно, но яхта останется яхтой, а фрегатов не прибавится. Сенявин противился простой перемене вывесок.

Забот ему привалило, не перечтешь. Комитет вникал и в кораблестроение, и в устройство портов, занимался и артиллерией, и штатными расписаниями... И Сенявин жил, наверстывая упущенное в годы опалы, отставки, бездействия. Не чувствовал убыли сил. Напротив, чувствовал прибыль.

Его закат был светел. Производство в полные адмиралы. Знаки «монаршего благоволения». Избрание в академики. Назначение в сенаторы. Сын, получивший егерский полк... Долги? Медленно, постепенно, но долги он гасит. Худо с сердцем, оцухают ноги? Он отмахивается от докторов, не отказываясь от «низкой кучерской забавы» — пыхтит трубкой. Правда, он все-таки едет в Москву: в Петербурге нет «заведения искусственных минеральных вод», а в первопрестольной есть. Он едет в Москву, зная, что минеральные воды помогают живому, как мертвому помогают припарки. Он возвращается в Питер, чует вкрадчивый шорох смерти — и пошучивает: «Отродясь не пил воды, а помираю от водянки».

В пятый день апреля 1831 года, когда звенела капель, но еще дул студеный ветер, его грудь поднялась и опустилась, чтоб уж больше не подняться.

Санкт-Петербург взволнован похоронами адмирала, потому что покойному оказаны не просто воинские почести, нет, честь неслыханная: сам государь император Николай Павлович командует взводом, провожая адмирала в Александро-Невскую лавру...

Да, вечер был светел. Но, правду сказать, не производством в полные адмиралы, хотя и заслуженным; не

\* ЦГВИА, ВУА, д 18003, лл. 2(об.), 3, 3 (об.).

избрали в Академию наук, хотя и лестным; не определением в сенат, хотя он и не напрашивался в сенаторы; не знаками монаршего внимания, хотя они и радовали... И даже не тем, что корабль Федора Литке пронес имя Сенявина по всем океанам, ибо шлюп «Сенявин» свершил кругосветное плавание. И наконец, не тем даже, что имя Сенявина означилось на картах: остров Сенявина в Тихом океане, в восточной группе Каролинского архипелага; пролив Сенявина у берегов Чукотки...

Свет, озаривший его вечер, исходил от моря. Пусть не Черного и не Средиземного, куда он так стремился, но моря, моря, и этим определилось все, в этом было счастье перед заходом солнца.

«Человеческая мысль, жадно ищущая в наши дни неприкрашенной действительности, — писал Мопассан, — не верит этим красивым сказкам о море, хотя они и пленяют ее».

Море было Сенявину и «неприкрашенной действительностью», суровой, подчас жестокой, было и «красивой сказкой», пленившей однажды и навсегда.

Море и Сенявин встретились, что называется, в открытую летом двадцать седьмого. Два каторжных десятилетия адмирал не водил эскадру.

Надо было скрыть волнение, похожее на всхлип, и удерживать слезу, закипевшую на глазах, нет, не стариковскую, а какую-то... черт ее знает какую... Надо было не задохнуться от этой громады воздуха и пространства, от этого ни с чем не сравнимого ощущения, когда ты не разумом, но будто всей своей сутью осознаешь: жить — значит быть в пути.

«Завтра чем свет я под парусами», — говорит Сенявин в одной записочке. Деловой? По содержанию — да. По звучанию первой строчки, первых слов — праздничной. И эта праздничность, почти жреческая торжественность, владеет стариком. «Я под парусами» — на мой слух перекиляется с пушкинским: «Завидую тебе, питомец моря смелый, под сенью парусов и в бурях поседелый...»

Когда знаменитый полярник Джон Франклин просился в опасную экспедицию, лорды Адмиралтейства возражали: «Отлично, но вам по справкам уже шестьдесят». «Нет, нет, — горячо воскликнул сэр Джон, — только пятьдесят девять!»

Вот так-то: «только». Всегда «только». Разве счет на годы, на отжитые годы? К дьяволу, счет на мили, на

пройденные мили, что пеняется за кормую твоих кораблей.

Он вел девять линейных кораблей и семь фрегатов, четыре брига и корвет. На 74-пушечном «Азове» был его флаг. Некогда, вице-адмиралом, командуя флотом, он посыл свой флаг на форстенгге. Теперь, полным адмиралом, поднял его выше к небу — на гротстенгге.

Между тем «неприкрашенная действительность» громко и настойчиво заявила о себе с первых же походных часов.

Сенявин знал то, что еще оставалось тайной офицерам и матросам: в тех самых широтах, где ему, адмиралу, довелось отведать и восторг победы, и горечь беды, вот этим кораблям предстоит испытания огнем и железом.

Он это знал и поэтому, как сказано в документе, «занимался на эскадре различными практическими и тактическими учениями и для подкрепления здоровья экипажей оной приказал производить (выдавать) свежее мясо и зелень и брать с берега свежую воду — достойное попечение достойного начальника».

Попечение, Сенявину привычное, свойственное, быстро и благотворно отзывалось на подопечных. В том же документе, ныне хранящемся в архиве нашего Военно-Морского Флота, читаем: «...Все корабли и фрегаты соблюдали во всей точности места свои в ордерах (походных порядках. — Ю. Д.), столь же верно ночью, как и днем, и все движения и управления производились быстро и правильно, ордер или колонна никогда и ни в каком случае не нарушались... Старейшие и опытнейшие моряки Дании и Англии, посещавшие эскадру в Копенгагене и Портсмуте и видевшие ее в действиях, единодушно отзывались, что столь примерной и отличной эскадры они никогда видеть не ожидали».

Надо полагать, подобные оценки из уст «старейших и опытнейших», не склонных льстить, а скорее склонных хулить, были Сенявину не меньшей, если не большей, отрадой, чем двадцать пять тысяч серебром, пожалованное ему в канун кампании.

На подходах к Портсмуту русских встречали лодманы. Дмитрий Николаевич от услуг лодманов отказался:

— Наши корабли слишком хорошо знакомы с портами Англии.

(Это замечание слышал и запомнил Норов. Авраамий Сергеевич, потерявший в Бородинском сражении ногу,

впервые стучал своей деревяшкой по корабельной палубе. Четыре года назад он был уволен «за раную», уволен полковником и определен к «статским делам». А за неделю до отправления эскадры из Кронштадта Норов «прикомандировали к генерал-адъютанту адмиралу Сенявину для исполнения особых его поручений»\*. Норов находился подле Дмитрия Николаевича несколько лет и оставил заметки о последних годах жизни флотоводца.)

В словах Сенявина был двойной смысл: явный и тайный, серьезный и проницательный. Да, конечно, русские капитаны хорошо изучили навигационные условия прибрежных английских вод. Но хорошее знакомство с ними Сенявина объяснялось и нехорошим гостеванием в восемьсот восьмом и девятом годах, уж очень памятным Дмитрию Николаевичу.

Впрочем, теперь в июле 1827 года, как и два с лишним десятилетия назад, адмирал Сенявин вошел в Портсмут дружественный. И опять, как и тогда, его приход предварили дипломатические переговоры. Однако на сей раз неприятелем Англии и России не была Франция. Она, напротив, была в приятелях. Врагом были турки, Османская империя.

Сенявин еще нес все паруса, направляясь в Англию, когда уполномоченные трех великих держав (России, Франции, Англии) подписали конвенцию, предлагая Турции посредничество в решении «греческого вопроса».

Казалось бы, похороненный после Тильзита, он воскрес в 1821 году: греки, изнывавшие в турецком рабстве, восстали. Началась война, очень упорная, очень кровавая, отмеченная поистине античными подвигами повстанцев и поистине варварской жестокостью султанских нашей.

Первые же выстрелы вызвали в России эхо. Эхо дробилось как в горах, потому что Греции сочувствовали люди разные и по-разному.

Одни видели в «греческом вопросе» часть «турецкого вопроса»; в необходимости русского вмешательства усматривали возможность (подогретую симпатиями к единоверцам) нанести очередной удар Стамбулу.

Еще доживали долгий век вельможные старцы, сторонники екатерининской политики. Доживали, кто в сто-

лицах, кто под родными липами, и встрепнулись, едва расслышали глухнущими ушами о греках.

Вот один из таких старцев, граф Кушелев, моряк, в своих письмах к сыну — письма тиснули тоненькой книжицей в Чернигове в прошлом веке, не указав года издания, — говорил: «С нами в архипелаге был некто Миловский, при гр. Орлове. Человек с большими познаниями. Он был по иностранной части. Когда из архипелага флот возвратился и Орлов на набережной встретил Миловского и спросил его, что он прогуливается, на что он отвечал: «Так, ваше сиятельство: хожу по солнцу, высушиваю греческие слезы, которыми мы облиты, оставляя их на жертву туркам без всякой защиты за все их к нам услуги». Чуть полно, и теперь не то же ли бы сказать должно. Тогда поздно уже им помогать, когда их всех перережут. Бude им бог и поможет, то все они уже будут не преданы России, которая их так оставила, и мысль покойной Екатерины уже не может исполниться... Итак, у вас говорят про войну. Но должно ковать железо, как горит, а не тогда, как простывает».

Другие русские, в особенности молодежь, видели в греках борцов за независимость и сочувствовали им, не думая о планах Екатерины. Пушкин, например, называл усилия греков «благородными»; «ничто еще не было так н а р о д н о, — подчеркивал он, — как дело греков».

Ну а Сенявин?

Вот уж кто и сражался за греков, и поддерживал, пока сил доставало, Республику Семи соединенных островов, учрежденную Ушаковым, до последней возможности поддерживал эту республику, в которой, по замечанию греческого историка, «все греки той эпохи видели зарю их независимости».

Сенявин, уже опальный, униженный и оскорбленный, вряд ли знал о некоторых русских офицерах, ввязавшихся в греческое восстание, едва оно возгорелось. Вряд ли знал он о штабс-капитанах Куликовском и Костине или о поручике Султанове-Рытвинском. Но прямое и боевое участие в борьбе греков Дмитрий Николаевич, конечно, принял близко к сердцу.

А греки прекрасно помнили Сенявина. И не одни лишь жители Корфу и других Ионических островов, а и многие храбрецы архипелага, что на свой страх и риск дрались с турками в одно время с Сенявиным. Так, например, капитан Николаос Царос виделся с Сенявиным на острове

\* ЦГАЛИ, ф. 349, оп. 1, д. 3, л. 10.

Тенедос (в июле 1807-го), держал с вице-адмиралом совет, а потом во главе полутысячного отряда высадился на побережье Македонии...

Память о русском флотоводце не заглохла. Она была живой, а не «мемориальной», и потому в начале восстания греки обратились к Петербургу с просьбой — письменной, скрепленной многими именами, — прислать Дмитрия Николаевича для командования греческим флотом.

Император Александр на прошение самого Сенявина о действительной службе «противу неприятеля» ответил по-свински: «Где? в каком роде службы? и каким образом?» Греки предложили, «где», «в каком роде службы», «и каким образом», — царь вовсе не ответил.

Не потому только, что при одном имени Сенявина у государя сводило скулы. Нет, еще и потому, что всякое восстание царь называл «позорной и преступной акцией». Ведь Александр был коноводом Священного союза, а идеология и практика этого союза противоречила выступлениям против любого «законного» монарха, будь им и турецкий султан, хотя уж его-то Александр поколотил бы с удовольствием.

Николай Павлович ничуть не меньше старшего брата стоял за нерушимость «прав наследственных монархов». Однако принципы уже не мешали ему воевать с султаном. Николай российский, по словам Энгельса, был интересен той прямой и беззащитной откровенностью, с которой он стремился к деспотизму.

Вот эту-то «интересную прямоту» явил он, посылая эскадру в Средиземное море. Впрочем, не только он, но и Англия с Францией. Все они вовсе не убивались из-за того, что турки убивали греков, а греки турок. Нет, стремились обеспечить собственные позиции и плацдармы на Средиземном море, на Ближнем Востоке. Но опять, как и в прошлом, вмешательство европейских держав в «греческий вопрос» объективно играло на руку освободительному движению.

Да, Николай послал эскадру. И командование вручил Сенявину. Однако Сенявин «пламенно желал при открывшейся войне вновь состязаться с турками», а царь не пожелал отпустить его на это «состязание». Сенявину было приказано за время перехода из Кронштадта в Портсмут «довести эскадру до должного совершенства по всем частям морской службы», а потом с частью кораблей воро-

титься из Портсмута в Кронштадт, другую ж часть отправить к берегам Греции.

Отчего ж все-таки Николай не пустил Сенявина в южные широты, адмиралу знакомые и желанные? Один из биографов флотоводца как бы мимоходом замечает: несмотря, мол, на «высочайшее благоволение», «постоянно чувствовалась скрытая недоброжелательность Николая I к Дмитрию Николаевичу».

Пишущий эти строки, не будучи оригиналом, питает открытое недоброжелательство к Николаю I, однако, хоть умри, не чувствует недоброжелательства царя к Сенявину. Да и вообще «чувствовать» историкѹ показано с осторожностью, хоть и справедливо, что история не дело внухов.

Но может, Николай, так сказать, по-человечески пожалел старика, не захотел подвергать его боевым опасностям?

Причина, пожалуй, иная. Многоопытный флотоводец участвовал в возрождении военно-морских сил, захиревших при «благословенном» Александре и «жалком» Траверсе, а ведь не только те корабли и те экипажи, которые отправились в Средиземное море, следовало «довести до должного совершенства». Кроме того, вновь завязавшаяся война с Турцией требовала присутствия в столице столь знающего советника, как Сенявин.

И Сенявин действительно был деятелем и двигателем флотского возрождения, как был и советником при составлении военных планов борьбы с Османской империей. Но в одном — существенном, капитальном! — его деятельность и его советы не только не совпадали с воззрениями и убеждениями Николая, нет, решительно, в рост противостояли им.

Нет нужды распространяться, какова была «система» обучения солдат и матросов, «система» царя, прозванного Палкиным. Именно ей, системе палкинской и палочной, именно ей Сенявин явился врагом яростным, бесстрашным, непреклонным, беспощадным, неумолимым.

Прощаясь с офицерами, уходившими на войну, прощаясь в Портсмуте с будущими героями Наварина, Синопя, Севастополя, прощаясь с Лазаревым и Нахимовым, Корниловым и Бутеневым, прощаясь, в сущности, с флотом, Дмитрий Николаевич издал инструкцию... Нет, то было его завещание. Его «символ веры», его максимы.

Формально Сенявин обращался к командующему Сре-

диземноморским отрядом, фактически — ко всем, кто распоряжался «нижними чинами»:

«Весьма важным считаю обратить особенное внимание вашего сиятельства на обхождение гг. командиров и офицеров с нижними чинами и служителями. Сделанные мною замечания на сей предмет показывают мне, что гг. офицеры имеют ложные правила в рассуждении соблюдения дисциплины в своих подчиненных.

Нет сомнения, что строгость необходима в службе, но прежде всего должно научить людей, что им делать, а потом взыскивать на них и наказывать за упущения.

Надлежит различать упущение невольное от умышленного или пренебрежительного. 1-е требует иногда снисхождения, 2-е немедленного взыскания без послабления.

Никакие общие непослушания или беспорядки не могут произойти, если офицеры будут заниматься каждый своей командою.

Посему должно требовать с гг. офицеров, чтобы они чаще обращались с своими подчиненными; знали бы каждого из них и знали бы, что служба их состоит не только в том, чтобы командовать людьми во время работ, но что они должны входить и в частную жизнь их.

Сим средством приобретут они к себе их любовь и даже доверенность, будут известны о их нуждах и отвлекут от них всякий ропот, донося о их надобностях капитану.

Начальники и офицеры должны уметь возбудить соревнование к усердной службе в своих подчиненных одобрением отличнейших. Они должны знать дух русского матроса, которому иногда спасибо дороже всего...»

Матросы за все это сказали б спасибо старому адмиралу. А старому адмиралу это спасибо было тоже дороже всего.

## 7

Как в песне о «Варяге»: «Последний парад наступает...»

Последний парад Сенявина наступил не тогда, когда погребальная колесница везла его тело в Александроневскую лавру, а почетным караулом командовал сам император.

Последний парад флотоводца Сенявина был на Балтике. Там, где был и первый парад гардемарина Сенявина. В двадцать восьмом и в двадцать девятом годах

Дмитрий Николаевич водил эскадры, но чувствовал, что завершает все свои походы.

Для тех, кто жил на море и жил морем, для тех, пользуясь выражением древнего римского поэта, «не все кончается смертью», ибо море принимает их душу.

В час пополудни был сигнал сняться с якоря.

Горизонт, небо, все вокруг злобно темнело. Потом хлынул дождь. Прямой, тяжелый, холодный дождь осеннего балтийского ненастья. Теперь уж нельзя было различить флажных сигналов, и все думали, что адмирал отменит поход.

Послышались пушечные выстрелы. Они означали:

— Следовать за адмиралом.

В море был шторм. Дождь не прекращался. Тьма стояла как ночью. А ночью было темно, как минувшим днем. Палила пушка с флагманского, требуя от каждого ответа: где ты? цел ты?

«Расположась возле рулевого, — рассказывает очевидец, — адмирал поставил подле себя компас, разложил лакированную карту и сам направлял ход корабля, и только лишь тогда, когда эскадра миновала опасный риф Девиль-зей, Сенявин, не сходя в каюту, спросил чаю. Во всю бурную и мрачную ночь, при сильном дожде он продолжал вести корабль. Только на другой день, в час пополудни, когда эскадра при продолжавшемся бурном ветре и дожде стала на якорь на кронштадтском рейде, Сенявин, промокший до костей, сошел в каюту».

Не спускайтесь следом в каюту, не нужно.

Запомните Сенявина на палубе, запомните его в море.

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Д. Н. СЕНЯВИНА

- 1763, 6 августа — Родился в селе Комлеве Боровского уезда Калужской губернии.
- 1773, февраль — Поступил в Морской корпус кадетом.
- 1777, ноябрь — Пропазведен в гардемарины.
- 1778, лето — В плавании по Балтийскому морю на корабле «Преслава».
- 1779, лето — На том же корабле в плавании из Кронштадта к Нордкапу и обратно.
- 1780, май — Произведен в мичманы.
- 1780—1781 — На корабле «Князь Владимир» в плавании из Кронштадта до Лиссабона и обратно.
- 1782 — Командирован в Таганрог.
- 1782—1785 — В ежегодных плаваниях по Черному морю.
- 1783, январь — Произведен в лейтенанты.
- 1786, лето — Командуя пакетботом «Карабут», ходил из Севастополя в Константинополь и обратно.
- 1787, май — Произведен в капитан-лейтенанты и назначен флаг-капитаном контр-адмирала Войновича. На корабле «Преображение господне» в крейсерстве по Черному морю.
- 1788, июль — Назначен генеральс-адъютантом Г. А. Потемкина. Участвует в сражении с турецким флотом при острове Фидониси. Послан в Петербург с известием о победе.
- 1788, сентябрь — октябрь — Находился в крейсерстве у берегов Турции. Командовал отрядом из 4 судов. Уничтожил 13 вражеских транспортов. Награжден орденом св. Георгия 4-го класса.
- 1789 — Провел в Севастополь корабль «Владимир», стоявший во льдах между Очаковым и Кинбурном. Награжден орденом св. Владимира 4-й степени с бантом. Командирован в Херсон, где принял новопостроенный корабль «Иосиф Второй». Привел корабль в Севастополь.
- 1790 — Командует кораблем «Навархия». Находился в плавании Херсон — Севастополь — устье Дуная — Севастополь.
- 1791, июль — Командуя кораблем «Навархия», участвует в сражении у мыса Калиакрия. Командирован из Севастополя в Яссы и Галац; состоял при гребном флоте.
- 1792 — Возвратился в Севастополь. Принял командование кораблем «Александр Невский».
- 1793—1794 — В черноморских крейсерствах на «Александре Невском».

- 1796, январь — Произведен в капитаны 1-го ранга. Принимает в Херсоне новопостроенный корабль «Св. Петр» и приводит его в Севастополь.
- 1797, лето — В плавании на корабле «Св. Петр».
- 1798, август — Командуя кораблем «Св. Петр», уходит в составе эскадры Ф. Ф. Ушакова в Средиземное море.
- 1798, октябрь — ноябрь — Командуя соединенным русско-турецким корабельным отрядом, овладел островом св. Мавры.
- 1798, ноябрь — Награжден орденом св. Анны 2-й степени. Произведен в капитаны генерал-майорского ранга.
- 1799—1800 — Командуя кораблем «Св. Петр», совершил плавание из Корфу к Мессине, Палермо и Неаполю.
- 1800, октябрь — Возвратился в составе эскадры Ф. Ф. Ушакова в Севастополь. Назначен капитаном Херсонского порта.
- 1803, сентябрь — Произведен в контр-адмиралы. Переведен из Херсона в Севастополь.
- 1804, сентябрь — Назначен флотским начальником в Ревель.
- 1805, август — Произведен в вице-адмиралы, назначен главнокомандующим русских вооруженных сил на Средиземном море.
- 1805, сентябрь — Во главе эскадры отправляется в плавание из Кронштадта к острову Корфу.
- 1806 — Боевые действия в Адриатическом море и на Балканском полуострове.
- 1807, февраль — Во главе эскадры отправляется в Эгейское море и начинает боевые действия против Турции.
- 1807, март — Овладение островом Тенедос.
- 1807, март — май — Блокада Дарданелл.
- 1807, май — Дарданелльское сражение.
- 1807, июнь — Афонское сражение.
- 1807 — Награжден орденом св. Александра Невского.
- 1809, сентябрь — Возвращение в Россию.
- 1810—1813 — Состоял главным командиром Ревельского порта.
- 1813, апрель — Уволен в отставку.
- 1825, декабрь — Принят на службу.
- 1826, август — Произведен в адмиралы.
- 1827 — Командуя эскадрой, плавал из Кронштадта в Портсмут и обратно.
- 1828—1829 — Командуя эскадрой, плавал в Балтийском море.
- 1830 — Уволен по болезни в отпуск.
- 1831, апрель, 5 — Скончался. Похоронен в Петербурге, в Духовской церкви Александро-Невской лавры.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Г. Л. Арш, Албания и Эпир в конце XVIII — начале XIX вев. М., 1963.
- В. Броневский. Записки морского офицера в продолжении кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год, ч. I—IV. Спб., 1818—1819.
- В. Гончаров, Адмирал Сенявин. М., 1945.
- В. Дивин, К. Фокеев, Адмирал Д. Н. Сенявин. М., 1952.
- В. Дивин, Некоторые аспекты военно-морской теоретической мысли второй половины 18 — первой половины 19 вв. В кн.: «Вопросы военной истории России». М., 1969.
- «История военно-морского искусства», т. 2. М., 1954.
- А. Д. Новичев, История Турции, т. 2. Л., 1968.
- «Общественно-политические и культурные связи народов СССР и Югославии». М., 1957.
- П. И. Панафидин, Письма морского офицера. Пг., 1916.
- П. Свиныин, Воспоминания на флоте, ч. I—III. Спб., 1818—1819.
- А. М. Станиславская, Русско-английские отношения и проблемы Средиземноморья, М., 1962.
- Е. В. Тарле, Адмирал Ушаков на Средиземном море. М., 1948.
- Е. В. Тарле, Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземном море. М., 1954.
- А. Л. Шапиро, Адмирал Д. Н. Сенявин. М., 1958.
- Г. Шторм, Страницы морской славы. М., 1954.
- О. Щербачев, Афонское сражение. М., 1945.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая . . . . .	5
Глава вторая . . . . .	22
Глава третья . . . . .	63
Глава четвертая . . . . .	118
Глава пятая . . . . .	150
Глава шестая . . . . .	179
Глава седьмая . . . . .	208
Основные даты жизни и деятельности Д. Н. Сенявина . . . . .	250
Краткая библиография . . . . .	252